

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив сотрудников Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова с вековым служением поэту и Отечеству; Николая Васильевича Маркелова – главного хранителя музея с очередной победой – Всероссийской историко-литературной премией «Александр Невский» за книгу «Кавказские силуэты» – вклад в дело сохранения исторического наследия России, памяти о её героях, высокую духовную и гражданскую позицию.

Владимира Ивановича Скорика, писателя и поэта, автора поэтического сборника, четырёх книг для детей, кавалера ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды и многих медалей, в том числе «За оборону Кавказа», с 70-летием освобождения Кавказа от фашистских захватчиков и славным 90-летием со дня рождения.

Олега Темирболатовича Басаева, доцента кафедры изобразительного искусства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова с присвоением почётного звания «Заслуженный художник Российской Федерации».

ПОЗДРАВЛЯЕМ



Голос Кавказа

Литература
Искусство
Публицистика



6'2013



Пушкин у моря. И. Айвазовский, И. Репин. 1887 г.

На первой странице обложки — Н. Ге «Пушкин в Михайловском».

*На третьей странице обложки — памятник А.С. Пушкину
в г. Пятигорске (фото К. Леоновой).*

*На четвёртой странице обложки — худ. О. Басаев
«Каменная ваза», «Каменное колесо»*

Знакомьтесь: учредитель альманаха «Голос Кавказа»

ОАО «СЕВКАВГИПРОВОДХОЗ»



открытое акционерное общество
Северо-Кавказский институт
по проектированию водохозяйственного
и мелиоративного строительства



Генеральный директор — кандидат технических наук
Алексей Константинович Носов

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78.
Тел.: (8793) 39-34-08, 39-30-07, факс (8793) 97-38-62, 33-90-64.
E-mail: skgvh@skgvh.ru www.skgvh.ru

С
К
Г
В
Х

Более, чем 85-летний опыт коллектива ведущего в России института по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства – надёжная гарантия высокого качества работы по всем направлениям:

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, гидрогеологические, инженерно-экологические изыскания
- комплексные лабораторные исследования грунтов, почвы, воды, строительных материалов, качества строительно-монтажных работ
- проектирование водохозяйственных, мелиоративных и других объектов, водо- и газоснабжения, сельскохозяйственного, промышленно-гражданского и коммунального назначения, здравоохранения, торговли и пищевой промышленности, хранения нефтепродуктов, АЗС, полигонов ТБО, аэродромов, объектов энергоснабжения и связи, разработки и рекультивации карьеров, землеустройства, защиты территории и объектов от эрозии, затопления, подтопления, камнепадов и оползней, снежных лавин и селей
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности с функцией генерального подрядчика



Голос Кавказа

Северо-Кавказский
некоммерческий
литературно-
публицистический
и художественный
альманах

№ 6/2013

ЛИТЕРАТУРА
ИСКУССТВО
ПУБЛИЦИСТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

175 лет без Пушкина и с Пушкиным «Утешен буду я любовью...»	
Андрей ЧЕРКАШИН, Лариса ЧЕРКАШИНА «...Явиться через двести лет»	3
Арсений ЛАРИОНОВ. Уроки в Михайловском	4
Семён ГЕЙЧЕНКО. «Пушкиногорье»	6
Умар ЯРИЧЕВ. «Вот речи мёд! Вкуси!» Стихи	9
Максуд ЗАЙНУЛАБИДОВ. Пушкин в... Дагестане	10
Владимир ВОРОКОВ. Сатаней. Продолжение романа «Прощающие да простят»	11
Марина АХМЕДОВА. А журавли летят над ними, над всеми войнами летят. Стихи	32
Владимир ПЕТРОВ. «Усмешка Катулла», «Боль и надежда». Рассказы	39
Магомед ГАМЗАЕВ. Цветы нашей страсти завяли в стихах	63
Муса АХМАДОВ. «И надпись о любви исчезла...» Рассказ	70
Светлана КЛИМЕНКО. Зимой не бойся холодов	80
Арбен КАРДАШ. Полевой цветок. Рассказ	88
Лариса ШЕБЗУХОВА. Чибищ – моя звонкая горная речка	98
Шахвелед ШАХМАРДАНОВ. Мать солдата. Новелла	105

НАСЛЕДИЕ

К 90-летию Андрея Тристана-Губина	
Александр МОСИЕНКО. «Остаюсь в траншее...»	111
Владимир ГНЕУШЕВ. «Углы Андрея Губина»	115
Владимир ВАРДУГИН. Родник любви	119
Геннадий КОЛЕСНИКОВ. Неиздававшиеся новеллы и стихи	124

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА	139
Анатолий ТРИЛИСОВ, Александр ГОЛОВКО, Сергей РЫБАЛКО, Мурсал АЛПАН, Лула КУНИ, Григорий КУКАРЕКА, Наталья ОКЕНЧИЦ, Шарип ЦУРУЕВ, Владислав БУДАРИН, Людмила СТУКАЛОВА, Теона БЕКИШВИЛИ, Ирена КЕСКЮЛЛЬ, Сергей АЛИХАНОВ, Мария ФАРГИ, Елена КАУЛИНА, Анна ЦИЛОСАНИ, Лали ЭЛИЗАРАШВИЛИ, Алина ТАЛЫБОВА, Сусанна АРМЕНЯН, Ада ДЖИЛАВДАРОВА, Бату ДАНЕЛИЯ, Баху-Меседу РАСУЛОВА, Николай БОНДАРЕНКО, Ирина КУДРЯВЦЕВА, Светлана КЛИМЕНКО	
ПУБЛИЦИСТИКА	
Георгий ПРЯХИН. «Марыся, или «Размова контролювана...» Элегия	154
Тамара КУЛИКОВА. Восемь подвигов казачки. Очерк	179
Будем знакомы: меня зовут Владимир ВОРОКОВ. Эссе	192
Надежда ТАТАРЕНКО. Плоды её души – добро	197
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА	
Наталья САРАНА́. «Ты хоть иногда, но вспоминай...» Стихи	199
Ксения КОРОТЕНКО. «Я учусь пока что в школе...» Стихи	202
Ангелина ПАВЛОВА. Не бистро́, а бы́стро!	205
ИСКУССТВО	
Ольга РЕЗНИК. И Будапешт Кавказом покорён	206
Марина ПЕРОВА. Аланские параллели	208
ЗАДОРИНКИ	
Александр БУРОВ. LES TROIS MARRONS DE LA FONTAINE, или Три каштана от Лафонтена. Эссе	211
СТРАНИЧКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ	
Аркадий АЙРАПЕТОВ. Витя и трамвайчик Дзинь. Как Дианочка ходила в театр. Папины рассказы	216
Анвар-Бек КУЛТАЕВ. Мой сын. Стихи	219
ЭПИСТОЛЯР	
К 70-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков Владимир СКОРИК. Будь трижды проклята война	220
Аделаида ЛИТВИНЕНКО. Я не хочу судьбы иной	224
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Николай МАРКЕЛОВ. Зачинщик русской повести	226
Ирина КРАЙНЮЧЕНКО. «Ното sariens: преходящий феномен»	237

«... УТЕШЕН БУДУ Я ЛЮБОВЬЮ...»



*А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упыюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью...*
А.С. Пушкин

АНДРЕЙ ЧЕРКАШИН

ЛАРИСА ЧЕРКАШИНА

... Явится через двести лет

Минуло более двух столетий со дня рождения поэта. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, – утверждал Николай Васильевич Гоголь, – это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

И как созвучно откровение писателя с пушкинским мироощущением. Когда-то друг поэта Владимир Иванович Даль записал слова, сказанные Пушкиным о Петре Великом: «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко – надо отодвинуться на два века, – но постигаю его чувством».

Вот мы и отодвинулись на два века. И произошло подлинное чудо – временные границы исчезли. Пушкин давно уже не принадлежит собственному веку. Он неподвластен времени, а значит – и забвению.

*... И я смеюсь над могилой,
Ушед навек от смертных уз.*

ЧЕРКАШИНЫ Андрей Андреевич и его дочь **Лариса Андреевна**, известные пушкиноведы, создатели полного генеалогического древа пушкинского рода. Публикуются выдержки из их вступления к книге «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина. Корни и Крона». Издательство Либерия, Москва, 1998 год.

«Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно...» – веровала Марина Цветаева. Пытались убить и саму память о нем – фашисты задумали сравнять с землей Михайловское, взорвать могилу поэта. Но мыслимо ли разрушить памятник, сотворенный из самого прочного в мире материала – народной любви? И таким же вечным нерукотворным памятником поэту стало его полное родословие, созданное на исходе XX столетия.

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

*Уроки в Михайловском**

Три раза в году – в феврале, июне и августе – аккуратно и заблаговременно получаю я из Пушкинского заповедника приглашения на Михайловские праздники. Два праздника, вполне скромные, отмечаются нелюдно: это августовский – день приезда поэта в ссылку в псковский край и февральский – день светлой печали. В приглашении ежегодно так и указывается: 10 февраля 1837 года в 14 часов 45 минут в бывшем Святогорском монастыре возложение венков на могилу великого поэта. Это час смерти Пушкина...

Много лет назад, когда Семен Степанович Гейченко вводил эти праздники в обиход, мысль его сама по себе была простой: привлечь как можно более широкий круг деятелей культуры, литературы и искусства к жизни заповедника, привлечь настолько тесно, чтобы они приросли к нему душой. И теперь сотни две приглашений он пишет сам и зовет людей известных, уважаемых, с которыми связан многолетними профессиональными отношениями.

А дело-то оказалось и впрямь полезным, традиция – живучей и весьма восприимчивой. Не только знаменитости, но и ученые-пушкинисты, литературоведы, критики, писатели, художники-иллюстраторы, фотомастера из Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Таллина едут на эти праздники охотно, участвуют в научных конференциях, выступают с докладами, дискутируют, показывают новые фотоработы, графику, живопись. А с годами действительно привязываются к пушкинским местам, становясь неистовыми ревнителями, друзьями заповедника, искренними и преданными. И все работающие в Михайловском постоянно ощущают освежающую струю новых мыслей и веяний, связанных с пушкинской лирикой, жизнью, творчеством. Оттого и сама научная работа здесь имеет уровень высокий, в ней нет и налета провинциализма. Во всем видны осведомленность, широта знаний, смелость мысли, глубина и трепетное отношение к поэзии Пушкина.

Михайловские праздники – февральский, июньский, августовский – у всех на виду. Они самая что ни на есть живая жизнь, открытая телекамерами для миллионов людей. Известных поэтов, писателей, приезжающих на Пушкинские торжества, смотрит и слушает вся страна. Только вот зачинщика-то всего этого

* «Роман-газета» №1'1987 «Пушкиногорье», об авторе с сокр. Госкомиздат, Москва.

почти никогда в кадре телекамер не видно... Он держится в сторонке. Ему бы катился праздник, яркий, вдохновенный, и шумела бы празднично, ярмарочно, как мечтал когда-то Пушкин, народная толпа, возбужденная словом пиитов...

Однако все, что увидит и услышит пушкинский доброхот, прошло через руки, сердце, ум Семена Степановича, все, вплоть до того, в каком месте, с какими поэтическими строчками поставлена доска (а их, кстати, сотни на территории заповедника), где какая скамейка, где какой камень положен как добрый знак нескучной дороги.

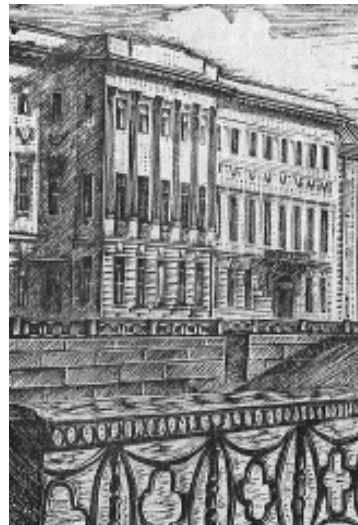
...Семен Степанович приехал в Михайловское ранней весной сорок пятого года, еще до Победы, приехал по просьбе тогдашнего президента Академии наук СССР С.И. Вавилова, который был намерен возложить на его плечи восстановление пушкинской обители. Фашисты разорили усадьбу поэта, сожгли и повывернули Михайловские леса, оставив после себя мертвую, обезображенную землю, черную от огня и копоты.

Эти первые дни и месяцы работы в Михайловском Семен Степанович вспоминает часто и охотно. И в наших разговорах с ним не бывает, чтобы мы не помянули весну сорок пятого. Может, оттого, что время это было для него нелегкое, тяжелое, опасное, а может, оттого, что именно тогда, весной сорок пятого года, в имени Пушкина открылось перед ним что-то такое, что перевернуло всю его жизнь. Он еще не создавал четко, что это было. Но именно тогда он заболел душой...

Фашисты, отступая, оставили заповедник заминированным. Почти пять лет освобождали саперы от мин уже освобожденную землю, только в Святогорском монастыре было извлечено около четырех тысяч вражеских мин. И работать в заповеднике приходилось зачастую на свой страх и риск. Бывало, что и люди гибли...

«Но как только саперы расчистили первые дорожки, – вспоминает Семен Степанович, – неожиданно в Михайловское хлынули жители окрестных деревень. Они предлагали свои услуги, готовы были помочь в любой работе. Это люди, у которых чаще всего не было даже собственного крова, многие деревни в округе фашисты сожгли... Такая любовь к Пушкину меня обрадовала, и я, сказать по правде, с легкой душой подумал о будущем».

В Пушкинском заповеднике за год бывает свыше миллиона посетителей, столько жителей не насчитаешь во всей Псковской области. А на июньские праздники поэзии в Михайловское приезжает людей раз в пять-шесть больше, чем составляет все население Пушкиногорского района. Хотя по сей день в этих местах не проходит железная дорога (и уже теперь никогда проходить не будет, что еще более утвердит заповедность этого края), люди едут и едут... Едут к Пушкину.



*Последняя квартира
Пушкина.*

Гравюра Л.С. Хижинского

Пушкиногорье

Выбор по душе

Есть такие вечные понятия, как долг и память. Это категории нравственные, духовные, напрямую связанные между собой, и на их взаимосвязи основано высшее самосознание человека, его гражданская гордость и преданность родной земле, Александр Сергеевич Пушкин так выразил эту мысль:

*Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

Наш святой долг – сберечь и передать нашим потомкам память не только о том, что создано и завоевано нами, но и о том, что происходило задолго до нашего рождения. Память о великих преобразованиях и страшных войнах, о людях, что принесли Отчизне славу, о поэтах, эту славу воспевших.

В отечественном поэтическом наследии пушкинская нота – самая чистая и звонкая. В ней – душа народа, в ней «русский дух», в ней «животворящая святыня» памяти. Множество людей именно через Пушкина ощутили, прочувствовали свои «корни», осознали свой долг перед землей, их взрастившей. Пушкинский гений стал фундаментом понятия «великая русская поэзия», и сегодня русское поэтическое слово волнует все человечество, интерес и почтение к нему огромны, книги русских классиков изданы на всех языках мира. И во многих странах мира есть памятники Пушкину, нашему великому земляку.

Пушкин давно вошел в жизнь и сердца людей всех возрастов. Едва малыш начинает понимать человеческую речь, в его сознание, как волшебное заклинание, входит: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...» Подрастая, он присоединяется к союзу «друзей Людмилы и Руслана», добрым его «приятелем» становится Онегин. Приходит срок – и его пронзает непреходящая точность строк: «Я знаю: век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я...» А сколько отважных сердец сподвигнула на большие дела твердая пушкинская уверенность, что «есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане».

Но особенно ясно становится, какая великая духовная сила сокрыта

ГЕЙЧЕНКО Семён Степанович (1903-1993), заслуженный работник культуры РСФСР, с апреля 1945 года был директором музея-заповедника А.С. Пушкина на Псковщине, в 1983 году ему, первому из сотрудников музеев, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он автор книги новелл «У Лукоморья» (1971), сборника «Приют, сияньем муз одетый» (1979), член Союза писателей СССР.

в истинном поэтическом слове, в те дни, когда на страну и народ обрушивается большая беда. В моем архиве есть папка: «Пушкин и Великая Отечественная война». Казалось бы, какая здесь связь?

В своей звериной ненависти к России, к советскому народу гитлеровцы пытались стереть с лица земли русскую культуру и самое имя Пушкина. В огромное пепелище превратили они воспетый поэтом псковский край, пушкинский «приют, сияньем муз одетый». Жители деревень, расположенных близ Михайловского, Тригорского, Петровского, почти три года прятались по лесам, ютились в землянках. И, покидая горящие дома, наскоро собирая самое необходимое, многие из них клали в тощие узелки книги Пушкина...

Как величайшую драгоценность передавали томики поэта из рук в руки солдаты, освобождавшие весной 1944 года псковскую землю. Политруки перед атаками читали бойцам пушкинские стихи. Многие из тех солдат приехали после войны поклониться этим местам и приезжают до сих пор, уже со взрослыми детьми и внуками. Они вспоминают, что в те весенние дни сорок четвертого разговор среди солдат был только один, про Александра Сергеевича, говорят, что именно тогда поняли по-настоящему, какой святыней и гордостью является для нашей Родины Пушкин.

Это лишь одно из многих достоверных подтверждений того, чем явилось для людей пушкинское слово в годину испытаний. Сознаюсь, в первые годы и даже десятилетия после войны было как-то не до изучения и осмысления подобных фактов... Прежде всего требовалось возродить жизнь на пепелищах, восстановить разрушенное. И вот сейчас наконец мы занялись сбором рассказов, легенд, песен о том, как великий поэт своими стихами помог людям выжить и победить, как даже в тех невыносимо тяжелых условиях земляки отмечали пушкинские даты. Мы спешим: военное поколение уже уходит, а для тех, кто приходит на его место, поучительно знать не только само по себе пушкинское наследие, но и то, какой поддержкой и силой способно стать оно в экстремальной ситуации.

А сколько я встречаю у нас в Пушкиногорье вдохновенных гениев поэта доморощенных художников (слово «доморощенные» теперь почему-то не в чести, видимо, ему придается неверное толкование; на самом деле ничего унижительного в нем нет, оно синоним понятию «самостоятельно, собственными руками и умом содеянное»). Впрочем, и слова «самодельный», «самодельность» некоторые люди склонны произносить с иронией: мол, у нас сейчас эпоха профессионалов. В каких-то случаях ярые сторонники профессионализма правы – я еще вернусь к этому вопросу. Но сам факт существования многочисленной армии самодельных поэтов, живописцев, артистов – отраден. Ведь он означает пробуждение в миллионах душ чувств добрых и высоких, о чем так мечтал Александр Сергеевич Пушкин. А если у человека в душе проснулся художник, он почти наверняка будет его в себе беречь и лелеять, творчество свое углублять и совершенствовать. И это куда полезнее, чем удовлетворять свои духовные запросы, желание, трепет таким путем: включил «ящик» и уплыл на телеволнах. Этот способ утоления духовного голода слишком уж удобен и прост. Истинное же духовное насыщение – процесс постепенный, напряженный, мучительный даже – ведь в нем должны участвовать мозг и сердце. Но только то, что далось нелегко, и дорого человеку по-настоящему.

Я – за самое широкое самодеятельное творчество и даже горжусь, что для многих тысяч людей побудительным моментом их творческих исканий стало посещение нашего заповедника.

Только человеку, духовные потребности которого сведены к минимуму, кажется, будто Пушкин ему совершенно ясен. А чем более развит человек, чем он культурнее и эрудированнее, тем несчерпаемое представляется ему наследие великого русского поэта.

Пушкин действительно неисчерпаем и непознаваем до конца. И каждый человек воспринимает его по-своему. И никогда не будет найден общий эталон понимания. То же относится к творчеству любого большого художника. И эта прекрасная несчерпаемость – лучший для человека стимул проникать в суть бессмертных произведений искусства, познавать их историзм, их национальные истоки.

С минувшей войны я вернулся инвалидом. Не знал, с чего начинать. Тогда мне и предложили: поезжай в Михайловское и приложи старание и умение в восстановлении этого пушкинского уголка, ведь ты опытный музейный работник!

Приехали мы с женой в Михайловское. Жили в траншее, потом в бункере, в окопе. Кругом разорены были все деревни. Все жилое разбито. Я не говорю уже о музее Пушкина, он был уничтожен. Все было разрушено. И монастырь, где он был похоронен, и его дом, и домик няни, и деревья – его современники. Фронт находился от пушкинского сердца в одном километре.

Сначала я себе сказал: «Слушай, старик, брось ты это дело». Но остался. Можно ли было, с другой стороны, видя, как мучился этот край – старый, псковский, защитник русских рубежей, можно ли было не возродить его к жизни. Ведь подумайте, «Бориса Годунова» Пушкин писал, беседуя с теми людьми, деды которых когда-то жили здесь!

И все-таки мы стали музей создавать. Сообща начали свою очень трудную работу. Пять лет разминировался Пушкинский заповедник. Вспоминается Пушкинский праздник 1949 года. К нему готовились долго. А после юбилея, когда стали убирать мусор, нашли саперы в заповеднике трехметровую кучу невзорванного тола.

Надо, чтобы все было возможно ближе к пушкинскому пейзажу, без которого трудно правильно уразуметь истоки народности Пушкина. Ведь Пушкин родился на свет дважды. Один раз в Москве. Здесь он стал поэтом, его все любили, все о нем говорили. Но народным поэтом, провидцем души русского человека он стал в Михайловском. Здесь он увидел труд человека, его каторгу, его хлеб, его корову, его могилы, его дух, улышал его песню, его сказания, увидел древние границы своего государства. Это все на него обрушилось.

Пушкин жил втрое быстрее, чем все мы живем. Он к тридцати годам прошел такой огромный коридор жизненного пространства и он столько всего накопил, что, уехав из Михайловского, он продолжал писать и в Болдино, и в Петербурге, и в Твери, опираясь на накопленный материал.

Все написанное мной – это продолжение моих дум о Пушкине, Пушкиногорье, Отечестве нашем.

«Вот речн мёд! Вкуси!»

Глагол от рода древнерусским был...
 И в кои веки стал старославянским,
 Корявым (пусть!) и грубовато-вязким,
 Пропахшим степью, молоком кобыл,
 Разгульным, словно скифская орда,
 Свирепая готовностью к набегам,
 Ни в чём не уступая печенегам!..
 ...Добрее стал он самого добра.
 И бился в гусях песнями Садко,
 Сказал «О полку Игореве слово»,
 Былинным став на поле Куликовом,
 Он соколом взметнулся высоко
 К заветам величайшего Петра:
 «Царевичам, боярам и холопам
 Через окно (что он пробил в Европу),
 Весь мир впустить на грозные ветра...»
 Первейший из «пророков языков»,
 Был он носат и посветлее саж,и,
 Губасто-кучерявый мальчик Саша,
 Родившийся на грани двух веков.
 В пятнадцать лет он начал крестный ход
 По русскому... для удаления скверны
 И вычистил бы весь язык, наверно,
 Не застрели его «мсье-урод».
 Из слова высекал он фразы свет
 Поэзии величественной плетью,
 Жить помогает миру два столетья,
 Что сделал он всего за двадцать лет.
 Надежды сокровённые гроши,
 Храня в душе языческие узы,
 С чеченским вместе ты – язык урусов,
 Навеки стал звездой моей души!
 В его плену мы все уже давно
 Живём, его волшебностью влекомы,
 И знаю точно, как хозяин дома:
 Нам вместе быть навеки суждено.
 Он стал святой находкой для Руси:
 Кудрявый искроносец, данный Богом,
 Законодатель царственного слога,
 Сказавший нам: «Вот речи мёд! Вкуси!»

Ах, этот светлый пушкинский глагол!

Пушкин в... Дагестане

После статей Расула Гамзатова о Пушкине сказать что-нибудь знакомое о нём невозможно. Но кто не хочет хоть «что-нибудь» сказать о великом и любимом поэте? Разве что легенду о его путях в Дагестан.

Первый путь – он, как бы, космический. В 1837 году, когда умер поэт, в небесах состоялся большой сход ангелов, богов и богинь.

– Умер самый великий человек в мироздании. Надо поставить ему памятник на планете Земля, – заметил Всевышний.

Богиня красоты сказала:

– Памятник Пушкину надо поставить в Дагестане!

– Как в Дагестане, он даже не был там? – возразили ей.

Богиня ответила:

– У Пушкина было две Родины – Россия и Кавказ. Первая убила его, вторая – подняла до небес. А Дагестан – самое красивое место на Кавказе. Я сама была влюблена в него и, будь на Земле, стала бы одной из прелестниц, которых он указал в своём донжуанском списке.

С ней согласились. Так появился памятник Пушкину на горе у города Изберг. Строили его боги ветров, дождей, красоты, солнца и луны вместе со своими ангелами много лет. Открыть его Аллах дал честь французскому писателю Дюма (отцу). Он первым обнаружил профиль Пушкина по пути в Изберг, будучи в Дагестане.

Второй путь сами писатели и поэты Дагестана проложили Пушкину в Дагестан – Сулейман Стальский, Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов, Магомед Сулейманов и другие. Они переводили Пушкина на дагестанские языки, сочиняли произведения о нём, водили Пушкина в дагестанские селения.

Третий путь. Умирая, Пушкин сделал телепатическое завещание своим потомкам продолжать свой род и в Дагестане. И вот Тарланов Замир Курбанович женится на продолжательнице объединённого рода Пушкина и Гоголя – Савельевой Лидии Владимировне, когда учится в аспирантуре в Ленинграде. У профессора Карельского педагогического института З. Тарланова и Л. Савельевой появился сын – уже законный дагестанец – кандидат филологических наук Евгений Замирович Тарланов.

Четвёртый путь – исламский. Пушкин вошёл в Коран и вышел оттуда, написав девять классических стихотворений (скажем «аятов») в цикле «Подражания Корану». А через два года написал «Пророка». Здесь удивительнейшим образом показано, как поэт становится пророком, вернее, кто сотворяет его в соответствии с Кораном. Аллах даёт ему глаза всё видеть, но он ещё не поэт. Аллах заменяет ему сердце, но он ещё «труп в пустыне». Аллах даёт ему способность понять Всевышнего, – тогда он становится поэтом. Точно так же Аллах подготовил и пророка Мухаммеда. Так мог написать только Пушкин. Так пришёл Пушкин в Дагестан!



ВЛАДИМИР ВОРОКОВ

САТАНЕЙ*

ГЛАВА ИЗ РОМАНА

Китайские записки адыга, побывавшего в Поднебесной

Я решил не звонить таинственному старичку, который так любезно предоставил мне столь ценные материалы, не прочитав следующие записки. Вторая пачка бумаг была не столь внушительна. Где-то вдвое меньше, она так же была перевязана шелковой ленточкой.

«Посмотрим, – думал я, – что же таится за этим шелком». Бумага, на которой сделаны записки, была плотной. Ранее она, видимо, была совершенно белой, а вот теперь слегка пожелтела.

«Сатаней» – значилось на заглавном листе тех записок. А внизу, более мелким почерком: «Китайские записки адыга, побывавшего в Поднебесной».

«Почерк красивый», – думал я, переворачивая первый лист и углубляясь в чтение повествования, которое обещало быть не менее интересным, чем первое.

Я, кабардинский князь Уазермес Амышев, в крещении Дмитрий Васильевич Отто, являюсь автором этих, на мой взгляд, совершенно необычных записей.

В чем их необычность? Во-первых, в моем двойном имени. Вот от чего оно происходит. Родился я в терской казачьей станице. Первые годы жизни отца своего не знал. Воспитывала меня родная матушка Устя. Отроком забрал меня в Амышев аул мой родной отец Арыкшу Амышев. На этом родословная моя, вернее, ее тропинка не заканчивается. Гостивший у деда моего, князя Паго, русский генерал Отто уговорил родных отпустить меня в Москву «для получения знаний, дабы затем служить плодотворно родному народу».

Помню, по такому случаю в аул приехала моя родная матушка – Устя. Паго испросил у нее разрешения на мою поездку. Матушка плакала, но благословила сей разумный шаг.

Надо ли говорить, что в Москве мне были предоставлены идеальные условия для получения знаний и необходимых навыков?

ВОРОКОВ Владимир Халидович. Кинорежиссер, публицист, создатель более 160 телефильмов, писатель, автор шестнадцати книг, заслуженный работник культуры России, трижды лауреат Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики, академик, профессор.

*Продолжение романа «Прощающие да простят». ООО «Тетраграф». Нальчик, 2012 г.

Что я включаю в понятие «навыки»? Многое. Познание военного искусства, вольтижировка, изучение правил хорошего тона и многое другое.

Мой отчим Василий Отто долгие годы провел на Кавказе, а потому очень серьезно относился к тому, чтобы я хорошо знал родной кабардинский язык, адыге хабзэ, адыге намыс...

Не буду утруждать читателя рассказом о годах своей учебы. Скажу лишь, что Московский университет окончил весьма успешно и был направлен на службу в Московскую уголовную палату, что считалось большим успехом для начала восхождения по служебной лестнице. Однако родитель, генерал Отто, был иного мнения по сему поводу. Он выхлопотал место в Петербурге, в одном из самых влиятельных департаментов. Отсюда-то и началась моя таинственная история, о которой не могу умолчать, хотя и всей правды поведать не имею права по причинам государственным.

Тот самый департамент направил меня в Китай «по делам научным», а на самом деле «совершенно секретным».

Словом, в Поднебесную я был послан в качестве разведчика, шпиона или агента...

— Как желаете, так и считайте, — сказали чиновники, направлявшие меня в Тибет.

Надо сказать, что в Китае меня официально принимали родственники известного в Поднебесной купца Лу Синя. Дело в том, что купец этот близко дружил с Амышем, прадедом моим, Паго, дедом, и Арыкшу, родным отцом моим. Были ли его родственники в курсе истинных целей моей поездки в Китай? Затрудняюсь ответить на сей вопрос. Но принимали они «сына Арыкшу» великолепно.

Вначале я окунулся в круговорот путешествий: Китай, Монголия, Непал, Друк-Келе...

— Но я же приехал познавать тайны Тибета, — говорил хозяевам.

— Всему свое время, — следовал ответ. — Постигай непостигнутое. Развивай и утверждай в себе истинное и прекрасное.

— Но прекрасное я мог развивать и дома, — возражал им.

— То, о чем говорим мы, — отвечали отпрыски рода Лу Синя, — едино и неделимо для всего человечества. Не имеет значения, кто ты: китаец, индус или русский. Сперва бессознательно ты будешь осознавать окружающий мир. Но затем все лишнее уйдет, и ты очистишь свое сознание.

Окружающие, а это были люди умные и ученые, говорили о вещах пока совершенно непонятных для меня — о космическом величии.

Здесь знали и ценили учение Николая Рериха. Тогда оно только зарождалось, но уже утверждалось. «Любовь, Красота и Действие» — это его девиз.

Потомки Лу Синя уверяли, что Красота победит любое Зло. Это врата в будущее.

Меня вовлекали в обсуждение самых различных тем и пристально наблюдали, как я барахтался в незнании. Но интеллект «этого русского» в то же время поражал хозяев.

— Что нужно строителю прежде всего? — спросили меня.

— Клочок земли, на котором будет воздвигнуто здание.

— Что еще?

— Свет, — отвечал я.

– Это отчего же?

– Только при ярком свете можно найти применение ярким, красивым и прочным строительным материалам.

Говоря о любом труде, я заметил:

– Труд всегда прекрасен.

Первая запоминающаяся экскурсия – поездка в деревеньку Лумбини. Я бродил среди развалин дворца королевской династии Шакья и думал: «Боже! Зачем мне все это?»

Но вот хозяева поведали историю принца Сиддхартхи, и мои мысли приняли иной оборот.

Выйдя из райского дворца своих коронованных родителей, принц прошел тысячи дорог. Он видел, как живут простые люди, изучал философию жизни, но ту главную дорогу, которая вела к раю, так и не нашел. Однако со временем он стал Пробужденным, стал Буддой.

Здесь, в заброшенной и в то же время столь обитаемой деревеньке Лумбини, я познал, что самая короткая дорога на жизненном пути – дорога, ведущая к Богу. Бог в каждом уголке земли, в каждом человеческом сердце, в разуме людском.

– Если Будда столь велик и всесилен, то отчего не уберег дворец, где провел свое детство? – спросил я хозяев.

– Он сумел обменять материальное на духовное, – отвечали мне. – Будда объяснил принцип причины и следствия, который теперь принято называть кармой.

Сказать, что я сразу все понял, во все проник и, познав, принял, было бы заблуждением. Да от меня этого и не требовали.

Одним сизым непальским утром ко мне явилась Маличипх, родная бабка моя, древняя старуха – самая большая тайна нашего рода.

– Мальчик мой, – сказала бабка, – я покажу тебе страну, в которую ты явился. Сейчас мы взлетим в просыпающееся небо, облетим здешнюю землю, и ты поймешь истинное величие, ибо здесь, в этой стране, находится крыша всего мира. Только не отставай от меня и не удаляйся дальше двух локтей. Если отстанешь, затеряешься, я не сумею тебя отыскать, и тогда ты будешь парить во Вселенной вечно.

И мы взлетели. И увидел я мир, чарующий и прекрасный. Увидел величавые горы, закованные во льды, покрытые голубыми снегами. Какие-то из них были выше, иные чуть ниже, а случилось, я видел грандиозные вершины... И почувствовал, что эти грандиозные знают о своем особом величии.

– Джомолунгма! – кричала Маличипх. – Самая высокая гора на земле.

– Даже выше Ошхамахо? – удивился я словам бабки.

– Намного выше. Здесь живут свои боги, на Ошхамахо – свои. Люди на этой великой горе еще не побывали. Да и осмелятся ли когда-нибудь ступить на такую гордыню?

– Хочу на Джомолунгму, – попросил я. Но бабка испуганно запричитала:

– Не смей, не смей такое говорить! Боги горы рассердятся на нас. Они скуют наш полет холодом. Мы рухнем на землю и разобьемся.

Пролетали мы над садами и полями. Люди уже вышли на работу и вершили ее в силу своих потребностей и умения.

Проснулся я от резкого приземления. Толчок был настолько сильным, что я вскрикнул.

– Будь всегда внимателен при переходе от великого к земному, – сказала на то Маличипх и исчезла, растаяла.

Здесь, в Непале, я узнал о девочке – богине Кумари. Эта маленькая живая богиня высоко чтима в стране высоких гор.

Как уж это удалось сделать потомкам Лу Синя, но я был удостоен великой чести прикоснуться лбом к ногам Кумари.

– Даже взглянуть на нее – великая удача, – уверяли меня гостеприимные хозяева, – а прикоснуться!..

Мне рассказали, что Кумари – символ чистоты и непорочности.

– И так до старости? – спрашивал я. Потомки Лу Синя смеялись.

– Только до первых «девичьих дней». Затем она уже не богиня.

– И как же затем она живет в образе простого человека?

– У нее огромное приданное. Она богата, но женихи не жалуют бывших богинь.

– Отчего?

– Плохая примета – жениться на них. Такой муж обречен на раннюю смерть.

Кроме Джомолунгмы мне показали еще две святыне вершины, которые, по преданию непальцев, охраняются Эверестом: Канченджангу, где древние расположили Шамбалу, и Аннапурну – уснувшую богиню.

– Когда родился принц Сиддхартха династии Шакья, будущий Будда? – спросил я своих проводников.

– В VI веке до новой эры, – последовал ответ.

Я начал понимать, что Будда – не только историческая личность, посвятившая свою жизнь благу человечества. Не так уж и мало было на земле людей, сделавших такое посвящение. Будда – высшее отвлеченное бытие, «не имеющее начала и определений, существующее от вечности и могущее по желанию облекаться в те или другие формы».

Я постиг, что тремя злейшими врагами человека являются его собственные агрессия, жадность и невежество – змея, петух и свинья.

Потомки Лу Синя перемещали меня по селам, городам и странам, а вместе с тем – по местам таинственным в совершенно немыслимых для гостя ритме и последовательности.

В Индии, в Махенджо-Даро, что на островке реки Инд, меня познакомили с самой древней на земле цивилизацией. Кто знает, была ли она действительно самой древней? Но гиды из местных жителей утверждали, что это именно так.

– О наших местах еще не знают в Европе, – заверили меня.

– Отчего?

– Так случилось. А затем, это тайна страны.

Я был поражен увиденным. Нет, не роскошью или изысканностью архитектуры, а расчетом, поразительным удобством. Улицы, выстроившиеся словно по линейке. Ни тупиков, ни переулков. Причем улицы были не узкими, а таковыми, что по ним могли свободно разъехаться две упряжки. Арыки были устроены таким образом, что вода по ним поднималась на вторые этажи домов, где под воздействием солнца нагревалась и использовалась людьми для своих надобностей. Система канализации, проложенная под землей в трубах, поражала. Ведь

городу, по утверждению местных индусов, было не менее трех с половиной тысячелетий. При каждом доме был свой внутренний дворик, здесь же колодец с чистой водой. Специальные светильники, каких во многих городах Европы нет до сей поры.

— Здесь был цирк, — говорили гиды, — а здесь театр. Это развалины огромной библиотеки. Бани с отделениями для мужчин, женщин, детей...

По остаткам былой цивилизации гиды сделали вывод, что женщины Махенджо-Даро были модницами и кокетками. Носили короткие юбки, любили украшения, парфюм. Сохранились от древнего времени налобные повязки, серебряные пояса, кольца, серьги, жемчужные ожерелья.

Я был потрясен увиденным.

— Куда же подевались такие умные и, думаю, красивые люди? — интересовался я у хозяев.

— Никто точно не ответит на этот вопрос. Одни говорят, что они погибли от мощного взрыва. Иные утверждают, что от эпидемии. Но, скорее всего, махенджодаранцы погибли от рук пришельцев с иной планеты. Одно время они жили на острове вместе с местными островитянами в мире и ладу, но затем рассорились с ними и взорвали остров, а сами поднялись в свой корабль и улетели.

«Сказка, — думал я, — но ведь красивая».

Хозяева не задавали никаких вопросов. Больше отвечали на то, что интересовало меня. Но вот пришло время, и кто-то из них сказал:

— А в России есть буддисты?

Я во время своей трехмесячной подготовки в России побывал в Бурятии и Калмыкии. Изучил документы по буддизму среди тунгусов.

— Это тебе может пригодиться, — уверяли учителя из Петербурга. И вот, видимо, пригодилось.

Я понял, еще находясь в России, что царское правительство и православие не поощряли распространения ламаизма в своей стране. Тем не менее, учение это имело большое количество сторонников. Ламаизм делится на три степени: гэлун, гэцул и банди.

— У калмыков есть степень манчжи, — сообщил я хозяевам, чем немало удивил их.

— Наше правительство выделяет средства на содержание ламаистов, — говорил далее я, продолжая поражать хозяев. — У калмыков лама — это верховный жрец. Он руководит всеми монастырями, всеми духовными лицами в степи.

Вопросов было много. Что? Как? Сколько? «Кто из нас разведчик?» — думал я. И сам отвечал на этот вопрос: «Мы».

Китайцы дивились, что лама избирается в России народными представителями, но утверждается министром внутренних дел страны, а затем государем.

— Чем занимается лама? — спрашивали меня.

— Многими делами.

— И все же?

— Наблюдает за благоустройством монастырей, нравственностью не только народа, но и духовенства.

— Это все?

– Отчего же? Лама следит, на какие средства живут монастыри. Он строг в этих вопросах, следит, чтобы духовенство не вымогало у людей что-либо, чтобы не притесняло народ.

– Кто присваивает звания духовенству?

– Только лама. Он же рассматривает дела о несогласии супругов, ведет разбор степеней родства, ведаёт бракоразводными делами.

В маленьком королевстве Друк-Юл, расположенном в Гималаях в бассейне реки Брахмапутра, мы решили отдохнуть. Маленьким это королевство можно было назвать лишь в сравнении с соседними с ним Индией и Китаем.

Мы расположились в уютной восточной гостинице столицы Тхимпху.

Здесь все было похоже на Непал и все было совсем иначе. В чем состояло это «иначе», я не смог бы ответить. Буддизм, но чуточку не такой; природа скорее отличная, чем схожая; речь, язык совершенно другие. И пища, и манера носить одежду, и движения...

Нас угощали отбивными из мяса яка, приготовленными по особому рецепту, с подливой из местных овощей, ягод и специй. Очень понравилось это угощение.

Не побывать на берегах Цангпо было бы просто непростительно. Чтобы попасть к великой реке, мы проехали много километров вдоль буйных лесов, среди великолепных фруктовых садов, посевов риса, хлопчатника, обильных плантаций овощей. И вот, наконец, Цангпо, Брахмапутра, Брахмапутра.

– Какое величие! Какая мощь! – восторгался я.

– Ее еще называют Мацанг, Диханг, Джамуна... В каждой стране по-своему. Но она все равно великая Брахмапутра. Поилица и кормилица миллионов людей.

Мы плыли по реке на пароходе. Матрос, а вернее кок, приготовил гостям суп из местной рыбы.

«Уха? – думал я. – Нет. Что-то совершенно новое, не знакомое ранее».

Но я не стал расспрашивать о рецепте данного супа. Попросил добавки, чем вызвал удовольствие у капитана парохода.

Экскурсии, путешествия, изучение языков и обычаев, письменности Брахмы заняли у меня около года. И вот я в Лхасе, столице Тибета, где расположена резиденция духовного и светского главы страны – далай-ламы.

Я давно перестал ощущать высоту. Три с половиной тысячи метров, на высоте которых находилась Лхаса, не доставляли мне неудобств. Город был расположен в долине реки Джичу, что в бассейне Брахмапутры. Вокруг горы, да и сам он расположен в центре этих гор.

Поражало обилие желтоплатевых лам, храмов, монастырей и, прежде всего, религиозный центр ламаизма – дворец-монастырь Потала.

– Здесь живет далай-лама, – поведали мне великую истину.

Я узнал, что эта резиденция известна с седьмого века, но современный вид приобрела лишь в XVI-XVII веках. Поинтересовался:

– Сколько лет городу?

– Много, – ответили мне. Я улыбнулся:

– Уже по виду дворца понятно, что не очень-то мало.

– Он основан в седьмом веке царем Сронцангамбо.

Эта информация мало что давала. Даже первый ответ: «Много», – вполне мог удовлетворить меня.

Лхаса – небольшой город. И жителей в нем немного, вместе с туристами

и путешественниками не более ста тысяч. Маленькие магазинчики, лавочки, базары и базарчики. Торговали вареным рисом: сладким, острым, горячим, холодным. А к нему – всевозможные приправы, подливы. Продавалось много овощей и фруктов, дешевых до удивления. Всюду стоял какой-то пряный запах, словно от горящих благовоний. А может, так оно и было. В одном месте хозяева, принимавшие меня, остановились у большого котла, в котором кипело масло. Рядом в плетеных корзинах кишели змеи. Сопровождающие меня китайцы, потомки Лу Синя, выбрали для себя по вкусу пресмыкающихся.

Тибетец виртуозно выхватывал деревянными щипцами из корзины змей, вспарывал им кожу возле головы, а затем вдоль всего туловища и отправлял трепещущих обескоженных пресмыкающихся в кипящий котел.

После нескольких минут жарки они теми же деревянными щипцами доставали из котла. Деликатесное блюдо заворачивали в пресную тонкую лепешку и подавали покупателям.

– Хотите попробовать? – спросили меня. Комок тошноты подступил к горлу.

– Нет, нет! – ответил я и спешно отошел от своих сопровождающих. Однако через какое-то время любопытство победило отвращение, и я вновь подошел к котлу. Китайцы с удовольствием поедали экзотическое блюдо. От этого комок тошноты вновь подступил к горлу, и я спешно отошел от того места, чтобы больше не возвращаться.

Вечером в гостинице мне сказали:

– Завтра Вас ждет сюрприз.

– Не хотите ли Вы сказать, что отведете меня во дворец далай-ламы?

– Нет, к сожалению. Но ожидаемый сюрприз должен порадовать Вас не меньше.

Мой гостиничный номер был скромн, если не сказать суров. Маленькое окно, светильник-фонарик, небольшой стол, грубо сколоченный стул, кувшин с водой, фарфоровая пиала, на столе сложенный веер...

«А веер-то к чему? – подумал я. – Не сказал бы, что здесь жарко».

Кровать была жесткой, без ножек, и оттого совсем низкой. На ней циновка, пуфик под голову и грубоотканое покрывало.

«Приучают к монашеской жизни», – подумал я. И ошибся. По сравнению с условиями жизни тибетских лам, которая мне предстояла в течение долгих двух лет, этот номер можно было бы сравнить с апартаментами в гранд-отеле Европы.

Ночью ко мне пришла Маличипх.

– Не пугайся трудностей, – сказала она. – Разбуди в себе колокол надежды. Пусть твои небесные звезды падают на землю разноцветными градинками. Если надо, побудь немного голубем, а понадобится – волком. Твои цветочные поляны будут усеяны колючками. Не уколоться об их шипы будет невозможно. Надо терпеть, и, победив невзгоды, ты всю жизнь будешь собирать с этих полян яркие и ароматные цветы.

– Далеко отсюда эти поляны? – спросил я бабу.

– Ближе близкого, – отвечала старуха.

– Куда мне идти?

– Из ниоткуда в никуда. У тебя будет много врагов. Знай об этом.

– Мне надо опередить их и поразить?

– Попробуй объявить им любовь. Вот если они не сдадутся, делай то, что твои предки делали с врагами.

Потом мы шли по розовому саду. Цветы были белые-белые.

– У каждого свое время в жизни, – учила Маличипх. А еще сказала:

– В жизни и так все проходит быстро. Незачем спешить. Ты будешь учиться тому, что причиной человеческих страданий является не зло, а недомыслие. Научишься понимать, что поступки твои должны вести к счастью. Учение, которое ты приехал познавать, – путеводитель.

– Справлюсь ли я, нана?

– Сейчас я вновь проведу тебя по цветущему саду. И если белые цветы изменят цвет, ты справишься.

– А если нет?

– Тогда уезжай немедленно.

Мы возвращались по тому же розовому саду. Но теперь все его цветы были окрашены в красный и алый цвета.

– Видишь, – сказала старуха, – они покраснели.

На нежных лепестках покачивались бриллиантовые капельки росинок.

«Как это красиво!» – подумал я.

– Утром тебя ждет приятная неожиданность.

– Меня предупредили об этом.

– Но тебе не сказали, что человеку, который тебя обрадует и удивит, можно доверять.

Сказала и, как обычно, исчезла, растворилась.

Утро для меня наступило поздно. Никто не тревожил, не торопил. Я еще долго нежился на лежанке, которая, к великому удивлению, оказалась весьма удобной.

После утреннего чая мы долго гуляли по улицам Лхасы. Вроде бы, бесцельно, беспричинно. Понакупили всякой всячины, ели фрукты, пили какой-то приторный, но в то же время утоляющий жажду напиток.

В гостинице мне сказали:

– Господин, Вас дожидается дама.

– Дама? – удивился я.

– Дама – это я, – обратилась ко мне на чистейшем кабардинском языке девушка, одетая в строгие китайские одежды, какие стали носить в то время современные китаянки. Внешний вид, манера держаться, разрез глаз – все говорило о том, что со мной говорит женщина из Китая.

Но черкесская речь!..

– Простите... Кто Вы? Откуда знаете обо мне? Чем могу служить? – обратился я к удивительной гостье.

– Не слишком ли много вопросов для одной бедной китайской девушки? – отвечала незнакомка. – Меня зовут Са Та Ней. Я из кабардинского рода. Мои предки с берегов Малки, что в далекой от нас Кабарде.

Шок прошел. Я стал более внимательно рассматривать девушку. Это не смутило ее. Она лишь спросила:

– Интересно?

– А как Вы думаете?

– Я бы на Вашем месте удивилась.

Сам я в это время думал: «Ну вот, теперь и в Поднебесной заговорили по-кабардински. Черт знает что!»

Разговор с таинственной незнакомкой почему-то не заладился. Мы сидели в полутемной кофейне (если это можно так назвать) и пили кофе, в который были намешаны какие-то травы или перемолотые зерна. Рядом равнодушным огнем горели свечи. Я сразу понял, что ей очень хочется понравиться мне.

«Но не для того же приехала эта девушка за тысячи километров?» – мелькнула мысль.

– Меня зовут Са Та Ней, – сказала она так непосредственно, будто речь шла не о ней, а о ком-то совершенно ином.

– Вы уже говорили это, – тихо подсказал я.

– Я из департамента по внешним связям Китая, – продолжала незнакомка. – Точнее, работаю в отделе, который курирует вопросы, связанные с Россией.

Я молчал. Замолкла и китайка. Она пила кофе маленькими глоточками, жмуря свои и без того узкие глаза.

– А кофе здесь скверный, – сказал я.

– Вам не нравится запах перемолотых зерен, добавленных в него?

– Возможно.

– А тибетцы не любят кофе без этих добавок.

– Нельзя ли заказать натуральный напиток?

– Конечно. Без труда.

Са Та Ней подозвала слугу и что-то приказала на их языке. Слуга удалился и через какое-то время мне принесли чашечку настоящего кофе. Хотя в глазах официанта стоял вопрос: как это можно – пить такой хороший напиток без добавок?

Китайка продолжала поглощать свой напиток маленькими глоточками, все еще жмурясь от удовольствия.

– Вы ведете со мной какую-то игру? – спросил я. – Какую? Зачем? Я послан на учебу в Тибет своей страной. Меня принимают потомки друга отца и деда, показывают города и страны, уделяют внимание. Наконец, привозят в столицу Тибета, и вдруг появляется Вы – красивая, обворожительная и... прекрасно владеющая языком моих предков. Что все это значит?

Китайка отодвинула чашечку с ароматным напитком.

– Я же сказала, что не только владею языком предков, я сама из рода черкесов.

– Вы уже сообщили, что род Ваш, как и мой, с берегов Малки.

– К Вам могли послать кого угодно, – продолжала девушка, – но судьба распорядилась так, что мне в департаменте попались Ваши документы. Черкес, кабардинец, да еще по фамилии Амышев. Я срочно выехала в родное селение. Мои предки из Амышева аула и знают об этом роде. Они приказали ехать к Вам.

– От их имени? По их приказу?

– Нет, от департамента.

– Странно.

– В чем Вы видите эту странность?

– Как можно по воле родителей исполнить задание такого строгого министерства, как Ваше?

– В этом нет ничего странного. Три наших кабардинских аула расположены в горах Тянь-Шань. Это в округе Инина, ставшего центром торговли

между Китаем и Россией. Ининь еще называют Кульджой. Но наши села расположены в отдалении от этого городка. Мы живем между уйгурами, высоко в горах. Один из тех аулов называется Амышевым. Теперь Вы поняли, почему я здесь?

Я молчал. На моем лице, наверное, не дрогнул ни один мускул.

– Что-то Вы не очень встревожены моим сообщением! – удивилась девушка.

– А что, надо?

– Если говорят, что аул Ваших предков, покинутый когда-то его жителями, воскрес за тысячи верст от родных мест... Разве это не стоит удивления?

– В это еще надо поверить.

– Хорошо. Я зарекаюсь говорить об этом, раз Вам неинтересно.

– Интересно, но уж очень неправдоподобно. Ну как, скажите, как мои безграмотные, беззащитные сельчане, потерявшие своих князей, своих лучших воинов, могли дойти до этих мест?! Ну не журавли же они, чтобы перелететь через моря, пустыни и горы?!

– В том-то и дело, что не журавли, а люди. Сильные волей и духом.

– Тогда расскажите о них.

– Боже, – сказала Са Та Ней, – это такая малость, о чем Вы просите. Но в то же время это долгий рассказ. Вы не спешите?

– Мне уже давно никуда не нужно спешить, – последовал ответ.

Она рассказала о том, как амышевцы счастливо жили на Кавказе, какие мудрые у них были предводители, какой провидицей была бабка Маличипх. И о последней битве в Кровавой долине... О том, как погибла красавица Дахауос, убив перед своей смертью русского предводителя.

– Знают ли твои сельчане, как погиб мой отец Арыкшу и его братья?

– Да, знают. Их предали в Таубиевом ауле. Бесстрашный Дабеч уничтожил этот аул за предательство и смерть своих близких. Об этом сложена песня.

Я от природы был недоверчив. Но при всей своей недоверчивости смог слышать слова, обращенные ко мне, и реагировал на них правильно.

– Как Вы дошли до этих гор? Я мог бы подумать, что путь этот вел вслед за перелетными птицами, но они не прилетают сюда.

– Я не шла тем путем. Я родилась много позже. Даже близкие предки мои не укажут того пути. Очень трудным он был. Немногие одолели его.

– Правда, которую необходимо доказывать, всегда вызывает сомнения, даже если это настоящая правда, – говорил я.

– А разве я что-то доказываю? – ей показалось, что улыбка моя была недоверчивой, но я заверил, что это не так.

– Вы хотите спросить, зачем мы теперь здесь?

– Не надо об этом рассказывать, – говорил я. – Вы – чтобы поведать что-то таинственное. Я – чтобы услышать это таинственное.

– Мои губы не целуют, а пророчат.

– Тогда пророчьте. Знаете, этой ночью явилась моя молодость. Хотел потрогать ее руками, а она отвернулась и ушла.

– Молодость, говорите... Да Вы еще совсем мальчик!

– Вот видите! А молодость приснилась.

Я поймал себя на мысли, что не хотел бы ее раздеть. Странно... С моей-то любовью к женщинам!

– Вы такая хрупкая, такая тонкая, – говорил я, – словно питаетесь росой и пылью, как пчела.

– Мы из тлеющих, – сказала Са Та Ней, – а они, как Вы знаете, занимают высокое положение в обществе.

– Да, знаю. Отец рассказывал об этом. При нашем роде состояли некоторые из них.

– В моем роду никто никогда не врал, и я врать не умею.

– Вы приехали?..

– Чтобы предложить Вам работать на китайскую разведку.

Я подозвал официанта, чтобы рассчитаться за кофе. Китайка положила ладонь на мое плечо.

– Не спешите уходить, чтобы не было потом стыдно. Нельзя бегать от трудностей только потому, что тебе становится в какое-то время тяжело. Те двое, которые приезжали сюда до Вас из России, не вернулись домой.

– Меня предупреждали об этом.

– Вы хотите последовать их дорогой?

– А Вы предлагаете мне стать предателем? Спросите амышевцев, сыщется среди них такой? Да и что скажет Бог по этому случаю?

– Не обманывайте Бога, что любите его, если людей, протягивающих вам руку помощи, любить не научились.

Я усмехнулся.

– Мудреца спросили: «Почему у женщины нет бороды?»

– Это Вы о чем? – вздрогнула от возмущения девушка.

– Мудрец ответил: «Чтобы было видно, как она краснеет», – продолжал я.

– Даже если я покраснею, Вы все равно не увидите этого. У меня желтый цвет лица. Предлагаю Вам сделку. Примите наши предложения – и останетесь в живых. Я иду на это, потому что Вы князь Амышев, мой земляк и мой повелитель.

– Но цена... Какой ценой я получаю это?

Мне показалось, что на наш столик легла пиковая масть. Я даже протянул руку к тому месту, где виделась смеющаяся пиковая дама.

– Вполне счастливых людей не знаю, – продолжал я. – Каждый в какое-то время думает: «Не удался цвет карты в игре».

– Вам удался.

– Почему Вы так думаете?

– Потому что я возле Вас и сообщу в своем департаменте, что Вы дали согласие.

– И я должен подтвердить это письменно?

– Нет. Моего слова достаточно. Я на хорошем счету у начальства. Еще ни разу не проигрывала поединков с разведчиками Англии, Германии, Франции... Да и России.

Слушая ее, я каждый раз то взлетал ввысь, то падал вниз, но всегда оставался на месте.

– А без этого нельзя? – спросил я.

– Можно. Конечно, можно. Но Ваш отец не дожидается сына домой. И мать. Нам известно все о Вас. Даже о темах, обсуждавшихся на заседаниях студенческих кружков в Москве. Не надо раскланиваться с бедой.

– А это о чем? – спросил я Са Та Ней.
– Каждый человек рождается, и каждый человек умирает, – говорила китаянка.

– Но рождается он вовсе не для того, чтобы умирать, – отвечал я.

– Тогда для чего?

– Чтобы стать личностью.

– Не сердитесь на меня, но Вы еще не личность в том смысле, который мы вкладываем в это понятие. Вы лишь на пути к цели. Так что не тешьте себя иллюзиями.

Я промолчал. Умолкла и Са Та Ней. Так продолжалось довольно долго. Когда истек срок молчания, девушка сказала:

– Будем считать, что для первого вопроса мы нашли разумное решение. Через два года я встречу Вас здесь же. И мы продолжим тему.

– А есть еще и второй вопрос?

– Да. Есть.

– Не знаю, что будет завтра, но пока я Ваш пленник.

– Тогда слушайте меня, пленник. Вы пройдете обучение в монастырях Тибета. Буддийские монастыри сильно отличаются от христианских. Здесь тишина сводит с ума. Ворота их вечно открыты. Можно в любое время встать и уйти. Но не делайте этого. Приучите себя к строгой дисциплине. Непокоримое основание здесь – справедливость. Вас будут учить, что красивых много, а верных мало. Верьте в это. Вам сумеют доказать в стенах монастырей, что, являясь в мир, мы ничего не приносим с собой, кроме плача, а уходя, ничего не берем с собой, кроме стона. Научат смотреть и восхищаться. Сумейте постичь основные истины Будды. Первая из них – о страдании, вторая – о причинах страдания.

– И в чем же они состоят?

– Душа всегда чего-то ищет. Человек принимает иллюзию за действительность. Стремится обладать вещами, которым суждено исчезнуть.

– А люди пытаются удержать эти иллюзии, принимая их за явь?

– Да, пытаются. Но они, словно песок, утекают сквозь наши пальцы. Третья истина говорит о прекращении страданий.

– Мы в силах это сделать?

– Вас научат этому. Чем больше живет человек, чем больше трудится над тем, чтобы получить от труда вознаграждение, тем больше плодов кармы ложится на наши весы.

– Кармы?

– Вы узнаете, что это такое.

– Есть и четвертая истина?

– Да. Она говорит о путях, ведущих к прекращению страданий. Истина эта называется Благородным восьмеричным путем.

– Вы так много сказали и в то же время ничего.

– Таково оно, учение буддизма. Еще хочу предупредить Вас, что ламы, с которыми придется общаться, люди улыбчивые, они даже как бы приглашают Вас вместе радоваться окружающему миру. Улыбайтесь, и хорошее настроение не покинет Вас.

– Все два года скалить зубы?

– Нет. Радоваться.

– Что будет самым главным на моем пути?

– Это зависит от того, какая мозоль больше заболит. Еще вот о чем хочу предупредить. Нищих никто не зовет в свой дом. Помочь нищему – благо. Но звать в свой дом? Кто сказал такое? Вот, пожалуй, и все, о чем я хотела сказать Вам, мой... брат.

– Мы расстаемся?

– Да. Могу по этому поводу подарить Вам свою грусть.

– А радость?

– Кто сказал, что грусть безрадостна?

– Я задолжал Вам, Са Та Ней, как самому себе, – говорил я, опечаленный. – Ухожу, чтобы вернуться. Заканчиваю, чтобы начать.

Китайка сидела бледная, расстроенная.

– Давайте наше расставание поменяем на что-нибудь.

– На что именно? – спросил я.

– Вы – на грусть. Я – на печаль.

Мне страстно захотелось встать, прижать ее к груди, целовать ее чуть припухшие губы.

«А вот этого делать нельзя», – приказал я сам себе. И спросил с обидой: «Это отчего же?» На что сам же и ответил: «Нельзя и все. И потом, ее обращение ко мне – брат...»

«Ожесточение воли», – думал об этом я, так и не почувствовав прикосновения ее губ.

Прилетела мысль: «Строгий пост завершается Пасхой». Я улыбнулся.

– Думаю, я знаю, чему Вы улыбаетесь.

– Чему же?

– Вы хотели поцеловать меня, но не осмелились, не решились.

Я рассмеялся.

– Вы колдунья.

– Если это и так, то для Вас – добрая фея.

Хотели тоненькой ниточкой зашить свои раны. Но так не бывает. Так не случается.

Мы расстались. Она – чтобы уехать в Пекин, я – чтобы стать ламой.

Я научился подолгу не спать, терпеть голод и жажду... Да разве возможно передать, что постигает лама в буддийских монастырях?!

Много троп исходил на Тибете. Все ли? Да как их все осилишь – два миллиона квадратных километров? Бывал в Гималаях, Каракорумских, Куньлунских и Сино-Тибетских горах. Ночевал в холодных полупустынях и пустынях. Как одинокий волк, бродил вдоль озер Намцо, Селлинг, Дангра-юм. И сам бы теперь не смог ответить, как переправлялся через реки Инд, Брахмапутра, Меконг...

Что я искал на горных и пустынных дорогах?

Ламы, отправившие меня в тяжелое путешествие, напутствовали:

– Учись выживать.

– А если не осилю? Если замерзну в стужу или разобьюсь, сорвавшись со скалы?

– Значит, такова твоя доля, – отвечали буддийские монахи.

Однажды у костра, разведенного у самых вод озера Намцо, пришла ко мне в дрему Маличипх.

– Не думай, что лишь мучаешь себя зря. Думай, что закаляешь дух. Это понадобится тебе в жизни. И помни: человек сам определяет, сколько съесть ему во время обеда или ужина, как поступить в том или ином случае, как говорить. Человек сам себе хозяин.

– А если он раб господина или события какого-то? – спросил я бабу.

– Тогда еще важнее совершать поступки. Они могут показаться мелкими, но это твои поступки. Из них состоят люди, из них складываются характеры.

Другой раз мне привиделся старый князь Чегемский, который сказал:

– Только человек имеет право говорить так или эдак, поступать таким образом или иначе. И дорогу сам человек выбирает. Хорошо, если она ведет к храму с золотыми куполами, минарету или пагоде.

Я спросил его:

– А если путь не ведет к молитвенным покоем?

– Так не бывает, – отвечал князь. – Храм – не только и не столько здание. Ты сотвори его в душе и тогда не заблудишься.

Ровно через два года в Лхасе, в той же самой гостинице, мы встретились с Са Та Ней.

– Я ждала Вас.

– За эти годы я пережил столько событий, что их хватило бы на три долгие жизни.

– И ни разу не вспоминали обо мне?

– Хочу ответить обычными словами, но мне их не хватает. Спеть бы, да не умею. Хочется чего-то небывалого.

– Я и есть Ваше небывалое.

– Теплые воспоминания о Вас согревали мою душу, – искренне говорил я ей. – Сердце не хотело понимать, что всему приходит свой черед.

Я говорил тихо, в моих словах были полынь и мед.

Затем мы стояли рядом друг с другом и с тайной.

– С Вами любая логика летит под откос, – сказала она.

– Я и есть логика, – отвечал я ей, перефразируя ее слова о небывалом.

Она привезла с собой много денег.

– Из департамента иностранных дел, – сообщила Са Та Ней, – для господина Отто Дмитрия Васильевича от его отца. Почему Вы носите фамилию Отто? Мне сказали земляки из нашего аула, что Вы князь Амышев, что род Ваш знаменит и влиятелен. Так отчего же Вы Отто?

– Был знаменит наш род. Но предки мои давно погибли. Меня воспитал друг отца и деда, русский генерал Отто.

– Ваше кабардинское имя Узармес? Я знаю о том.

– А Ваше Сатаней?

– Как имя нартской героини, матери нартов.

Затем мы долго не знали, что сказать друг другу. Тишину нарушил я:

– Уже и забыл, что Вы так чрезвычайно привлекательны.

– Не подозревала, что Вы дамский угодник, – смеялась она.

– Знаете, – продолжала Сатаней, – хочу увести Вас из этой гостиницы.

– Хорошо, – сразу согласился я.

– Почему Вы не спрашиваете куда, зачем?

– Разве надо? Отец мой, генерал Отто, долгие годы дружил с горцами Северного Кавказа. Он хорошо изучил не только их нравы и обычаи, но и сказы, предания, были.

«У одного кабардинского узденя, – рассказывал он, – был сын, гордый и смелый джигит. Не было равных ему в скачках, стрельбе из лука и ружья, в рубке лозы на скаку. Однажды отец спросил:

– Скажи, сын мой, много у тебя друзей?

– Много, – отвечал тот.

– А самых близких и верных?

– Трое, – отвечал сын после короткого раздумья.

– Из них кто ближе других?

– Не знаю.

– Пошли своего унаута к каждому из них и вели им быть сегодня ночью при коне и оружии у того старого дуба, что растет на краю нашего аула. Там станет ясно, кто твой истинный друг.

Сын послушался отца.

Утром встретились они в кунацкой.

– Так кто твой самый верный друг? – спрашивал уорк.

– Залим-Гери, – отвечал тот. – Он один пришел на мой зов. Остальные прислали слуг с вопросами, куда и зачем идти».

Я не хочу быть похожим на тех двух, кто оказался не на должной высоте. Раз Вы говорите, я готов идти следом.

Рикша доставил нас в один из дворцов тибетских вельмож. Здесь все отличалось от скромной гостиничной обстановки. Высокие потолки, величественные статуи, низкая мягкая мебель, благоухающие светильники.

Сатаней здесь ждали.

– Что прикажете, госпожа?

– Прежде всего, отведите господина в его покои и помогите ему привести себя в порядок.

– Добро и зло у нас в голове, – напутствовала девушка новоявленного ламу.

– Я это понял еще там, в монастырях, – отвечал ей.

Когда вернулся, то в огромном зале никого не было. Меня подвели к низкому мягкому дивану и усадили на него.

«Странно, – думал я, – здесь, в Тибете, мягкая мебель – редкость, если не сказать, что ее вовсе нет».

Слуга поставил на столик графин с водой, подал стакан, налив в него напиток, как оказалось, настоянный на травах. Я узнал эти травы по вкусу и запаху: вместе с ламами я собирал такие растения высоко в горах.

Мысли о Сатаней окутали меня. Кто она? Сестра, друг, враг? Аура от нее исходила светлая.

– А вот и я, – донесся до меня голос, казалось, издалека. – Надеюсь, Вы простите девушку за опоздание. Я хотела быть красивой и оттого задержалась.

Красный, туго облегающий костюм делал китайку неотразимой. Я встал перед такой красотой. Собственно, я встал бы в любом случае; пояись здесь женщина или мужчина, не имело значения.

– Я голодна, – заявила девушка.

– Готов составить компанию, – отозвался на этот призыв.

Нам подали горячий крепко заваренный чай. К нему, в глиняном кувшинчике, – буйволиное молоко.

– Это обычай, – сказала Сатаней.

– Что значит – обычай? – не понял я.

– Перед трапезой здесь чай с молоком – обязательная процедура.

Отпил большой глоток, обжегся и закашлялся.

– Не надо спешить. Пусть чуточку остынет. Чай следует пить маленькими глоточками. Вот так...

Она продемонстрировала, как это следует делать.

На столе появилось множество соусов, как позже выяснилось, кисло-сладкого вкуса. И среди них, конечно, соевый.

– Здесь редко подают к столу сметану, сливочное масло и сыры, – предупредила Сатаней. – Местные жители называют эти продукты «испорченным молоком». Зато кунжутное масло обожают.

Девушка отломала кусочек чапати – лепешки из грубой муки – и обмакнула его в соевый соус.

– Вкусно!

Я последовал ее примеру.

– Ничего! Неплохо!

Мы ели салат, нарезанный соломкой из разных трав, стручкового перца, а затем приправленный рисом. Все это было обильно посыпано черным перцем и полито маслом.

В больших фарфоровых пиалах подали горячий бульон с лапшой из куриного филе.

– Как это можно нарезать лапшу из куриного мяса? – удивился я. Сатаней рассмеялась.

– Этот бульон давно научились варить в нашем ауле. Куриное филе посыпается с двух сторон крахмалом и отбивается в тонкий пласт. Затем его нарезают лапшой. Она заливается горячим бульоном и кипятится. Сюда надо добавить растопленный куриный жир. А еще положить в пиалу, прежде чем нальете отвар, нарезанные свежие огурцы.

– Очень просто, но так вкусно! — одобрил я блюдо.

Затем мы ели барашка. Это выглядело так: лук, обжаренный в растительном масле, и куркума вместе с мясом барашка тушатся более часа. Сюда добавляются тмин, зерна горчицы, имбирь, шпинат, красный перец... Чудо, а не блюдо! К нему обязателен отварной рассыпчатый рис.

– В монастырях отвык от таких обедов, – взмолился я.

Еще нам принесли ореховые палочки из просяной муки, нарубленных земляных орехов, взбитых яиц, сахара и растопленного сливочного масла.

К пирогу с черникой дал себе слово не притрагиваться, но не удержался.

– Еще я заказала чоу фан, – сообщила Сатаней.

– Нет, нет! – запротестовал я, но тут же спросил. – А что это такое?

– Жареный рис, в который добавляют зелень и взбитые сливки. Иногда мясной фарш.

– Ну уж нет! – говорил я, отодвигаясь от стола.

– Как живет Ваш аул? Чем живет? – спросил девушку. – Отец спросит об этом. И братья. Что отвечу? Адыги в Китае... Это же очень интересно!

– Наш быт мало чем отличается от быта тех кабардинцев, которых Вы хорошо знаете. Овцеводство, лошади, которых у нас покупают люди со всех уголков Китая и из соседних стран... Мы выращиваем хлеб. Рис покупаем. Славятся наши мастерицы, валяющие кошму, и умельцы по производству войлочных шапок. Наше домотканое сукно лучше, чем знаменитый китайский кашемир.

– Но кашемир – это французская ткань, – возразил ей.

– Я не знаю иного названия тому материалу, о котором говорю.

– Что еще делают мои земляки? Может, чему-то научились у китайцев?

– Не думаю, что у китайцев. Скорее, у соседнего с нами племени мы научились выращивать абрикосы. Теперь это наша главная пища. Мы едим их в свежем виде, сушим, варим компоты и варенья, гоним из них водку. Даже солим.

– Как это?

– Вот так. Незрелые абрикосы срывают с деревьев и солят в больших глиняных кувшинах с широким горлом. Это лучшая закуска к абрикосовой водке.

– И много таких деревьев в садах амышевцев?

– Много. У моего отца сад из двухсот деревьев.

Мы долго гуляли по Лхасе.

– Здесь далай-лама – полновластный государь? – спросил я ее.

– Это трудный вопрос, – отвечала Сатаней. – Пока да. Но близок час, когда он вынужден будет бежать из своей страны.

– Его предадут подданные?

– Нет. Собственно, и Вашему государю уже не долго осталось царствовать.

– Что Вы такое говорите?! – возмутился я.

– Я не говорю. Я пророчествую, – тихо отвечала Сатаней. – Говорят, в буддийских монастырях обучают всяким чудесам. Это верно? – спросила она.

– Смотря что Вы имеете в виду.

– Гипноз, чары всякие, снятие головной боли... Мало ли что?

Я промолчал. Но девушка не оставила меня. Она вновь и вновь возвращалась к этой теме.

– Хорошо, – сказал я ей. – Вон, видите, там, на площади, стоит группа рикш.

Сатаней посмотрела в сторону, указанную мной. Действительно, с десяток рикш скопились в одном месте.

– И что из того?

– Сейчас все они заспешат к нам.

– Даже если мы не подзовем их?

– Даже.

Я пристально посмотрел в сторону рикш. Вдруг они все заспешили в нашу сторону.

– Что? Что теперь мы будем делать? – запричитала встревоженная девушка.

– Ничего, – отвечал я. – Каждому из них дам денег, и они останутся весьма довольны.

Так и поступил.

– Хочется пить, – сказала через какое-то время Сатаней.

– Разве? – спрашиваю её. – Думаю, Вам пить совсем не хочется.

Она удивленно посмотрела на меня.

– Да, мне расхотелось...

И уже вполне серьезно попросила:

– Пожалуйста, больше не надо экспериментов.

За вечерним чаем, чтобы отвлечься от государственных тем, я сказал:

– Тайны Вселенной... Думаете, их разгадают ученые? Пусть через много лет, пусть не теперь?

Сатаней поняла мою маленькую хитрость:

– Конечно, – говорила она. – Здесь у меня нет сомнений.

– Напрасно Вы так думаете. Тайны Вселенной никому и никогда раскрыть не дано. Может, где-то и в чем-то будет приоткрыта завеса таинственности, но не более того.

Китаянка погладила мою руку, как руку ребенка.

– Пусть будет по-вашему.

Нам не удалось уйти от темы, затронутой два года назад.

– А как обстоят мои дела с... – я подыскивал нужное слово. Не нашел его и сказал: – ...со шпионством?

– Вопрос отпал сам собой, – отвечала девушка из Амышева аула. – Я приехала к Вам не как работник своего департамента, скорее, как сестра Ваша. Провожу до Пекина, а там распрощаемся.

– И я не побываю в Амышевом ауле?

– Нет. Не стоит.

– Отчего? Может, его и нет вовсе?

– Он есть. Конечно, есть. Но не стоит беречь былые раны. Увезите с собой чувство, что были рядом с тем аулом, да вот не случилось побывать в нем.

– Но отчего? У меня много денег. Я организую экспедицию.

– Не надо, Узармес. Что умерло, того не воскресить. Я – Ваш аул.

Мне оставалось лишь пожать плечами:

– Кто это знает? Кто ответит на такой вопрос? В этом больше доверяю китайцам, которые утверждают, что прошлое – огромные глаза, которые ничего не видят.

– Это оттого, – говорила Сатаней, – что глаза у них узкие.

Затем серьезно добавила к сказанному:

– Прошное, каким бы плохим оно ни было, все равно хорошее.

Я завершил ее мысль:

– Одни получают от жизни то, что хотят, другие просто хотят. Путь не выбирают, – продолжил я, – его указывает небо. Ты знаешь христианские истины?

– Я знаю много чего. Например, знаю, что люди защищают своего бога.

– А бог?

– Это не только от него зависит, но и от наших поступков.

– Хотел бы я поговорить с твоим дедом.

– Он ничего не сможет сказать. Его нет среди живых уже десять лет.

Но каждая из девушек Амышева аула позавидовала бы мне, узнай они о нашей встрече.

– Отчего так?

– А ты не понимаешь? Ты же наш князь. Мы потеряли надежду увидеть кого-то из Вашего рода. И вдруг ты! Это как сказка!

– Сказки вначале сочиняются не для детей, – говорил я на то, – для взрослых они сочиняются. Это уже позже взрослые отдают их детям, как лучший кусок пирога за обеденным столом.

Она устроила мне отпуск, сжатый до недели. Гуляли по Лхасе, посещали дворцы и монастыри, базары и лавки. Как-то разговор зашел о потомках.

– Черная земля, – сказала она, – родит алые маки, желтые подсолнухи, краснощекие яблоки... Маки, подсолнухи, яблоки, в свою очередь, родят семена будущих цветов и плодов.

– И?

– Каждый цветок поет свою песню, – говорила далее Сатаней. – Она у каждого своя, единственная, и звучит в определенное время.

– Это аромат каждого пиона или розы? – спросил я ее.

– Нет, не только. Это и цвет, и запах, и время. А оттого – чувство печали или радости, чувство счастья или обиды. Не могу объяснить всего. Словом, это песня цветка. Тогда и ты, и все твои земляки – моя песня.

– Твоя?

– Моя и окружающего нас мира.

В конце недели Сатаней сказала:

– Рабочий день уже окончен.

– У кого?

– У судьбы.

Она улыбнулась. Затем сказала:

– Удача любит тех, кто к ней готов.

В Пекине Сатаней разместила меня в китайском домике, словно игрушечном, собранном из картинок, что из восточных сказок. Уют, даже комфорт, и в то же время впечатление, что все вокруг ненастоящее.

– Не бойся, абрек, – говорила девушка. – Здесь ничего не развалится, не рухнет. Мебель, циновка, посуда – все рассчитано на полноценную жизнь.

– И все же...

Первый день пребывания в древнем городе я решил посвятить отдыху.

– Как можно! – возмущалась Сатаней. – Быть в Пекине и не бродить по улицам, которым тысячелетия!

Но уговоры не помогли.

– Еще насмотрюсь на ваши древности.

Я принял ванну с лепестками роз. Сатаней велела служанкам закутать меня в душистое махровое покрывало и уложить на циновку. Принесли чай.

– А есть мы будем? – спросил я ее.

– Будем, конечно. Но сперва в Китае подают чай.

– Первые поварские книги в мире появились именно здесь, в Китае, – сообщила китаянка-черкешенка. – Со временем многие китайские блюда были заимствованы европейцами.

– Как порох и зонтики? – спросил я.

– Да, как зонтики. Мороженое тоже изобрели китайцы. Его рецепт вывез из нашей страны Марко Поло.

– Твоя страна – Кабарда.

– Моих предков – да. Моя страна – Китай.

И продолжила тему:

– Великий Конфуций считал, что в пищу необходимо добавлять имбирь, мясо должно занимать в блюде лишь треть его объема, продукты следует нарезать соломкой. Кусочки рыбы, птицы и мяса должны быть такой же величины, как и овощей. Капуста и бамбук занимают в пище местных жителей значительное место.

– И, конечно, соя? – спросил я.

– Да, разумеется.

Мы пили чай с ароматом жасмина, а Сатаней все рассказывала о прелестях китайской кухни.

– Ты издеваешься надо мной? – спросил я ее.

Девушка не поняла, о чем речь. Она вскинула на меня вопросительный взгляд. Я показал рукой на рот и пролепетал, вероятно, смешно-пресмешно:

– Ам, ам...

Сатаней покатила со смеху.

– Я заказала салат «Шанхай», жареные ростки бамбука, утку по-пекински и блинчики к ней.

Пекинская утка – это тайна, восторг для гурманов, незабываемый вкус. Не зря над этим блюдом повара колдуют по нескольку дней.

Запах ячменной патоки и аромат копчения заполнили помещение, когда официанты принесли царское угощение.

– Пожалуй, это самое лучшее, что могут предложить кулинары Пекина, – сказала Сатаней, пододвигая ко мне блюдо с утиным деликатесом.

Мы пили вино с незнакомым ароматом цветов. Но прежде девушка угостила меня абрикосовой водкой.

– Из Амышева аула, – сообщила она. – Земляки прислали. Этой водке много лет. Ее следует пить малыми дозами.

– А иначе?

– Опьянеешь.

Затем наступили дни, посвященные знакомству с Бей-Дзинем. Внутренний город (Нэй-чен), Императорский (Хуан-чен), Запрещенный (Цзы-цзинь-чен)... Озеро Тай-и-чи, гора Мэй-Шань, католический собор, мраморный мост...

– У меня голова идет кругом от красоты и величия, – восторгался я.

Каждый день открывал что-то новое. Храм Неба, ворота Чжен-ян-мынь, мечети, храм Луны, госпиталь Лондонской миссии...

Однажды после долгой и увлекательной прогулки мы отдыхали на циновках.

«Была бы она мне не сестрой...» – думал я.

– Тоска бывает такой, словно привядшие вишни по осени на ветке. Неприглядные, но такие сладкие, – говорила Сатаней. – Как мед, даже слаще меда.

– Чем же вкуснее? – спросил я ее.

– Тоской, наверное.

Так проходили дни, приближая час разлуки. Никто из нас не торопил судьбу, но и не закрывал перед нею двери. Судьба знает свой час. Ни о чем подобном сказано не было.

Настало время, когда Сатаней сказала:

– Завтра уезжаем в Харбин.

– Уезжаем?

– Ты думал, я отпущу тебя одного?

– Но ведь все равно... – я запнулся, не зная, как закончить мысль.

– Все равно придет час расставания?
Я промолчал.
– Ты видел, как цветет горчица? – спросила черкешенка. – Это безумно красиво. Разве можно подумать, что из этого цветения получится что-то горькое и жгучее?
– Ты о предстоящем расставании, сестра моя?
– Не о горчице же...
На Харбинском вокзале, с которого поезд должен был увезти меня во Владивосток, она сказала:
– Да поможет тебе Великий Тха!
– Я вернусь, – говорил я ей.
– Да, да! – она вытерла слезы ладошкой. – И мы поедем в Амышев аул. Мы оба знали, что расстанемся навсегда.

Я перелистнул последнюю страницу, исписанную мелким, но красивым и разборчивым почерком.

«Озермес Амышев» – стояла под записями подпись.

Разве мог я не обратить внимания на разницу в написании имени? Значит, все-таки не Уазермес, а Озермес! Взглянул на часы. Был полдень. Это позволяло сделать звонок таинственному старичку. У меня была к нему масса вопросов, и главный из них – позволительно ли опубликовать эти заметки?

К телефону долго не подходили. Затем женский голос на хорошем русском сказал:

– Слушаю. Чем могу быть полезна?

– Дело в том, что недавно я познакомился с Вашим... – здесь я замялся, так как не знал, как же назвать таинственного незнакомца: папа, дедушка...

Повисла пауза. В телефонном разговоре она совершенно недопустима.

– Так с кем Вы изволили познакомиться?

Я, возможно, очень путано стал объяснять ситуацию. Женский голос прервал меня.

– Все ясно. Это не первый случай. Здесь какая-то ошибка. Амышевы не живут в нашем доме по крайней мере четверть века.

– Где?... Где я могу найти их?

Бесстрастный женский голос отвечал:

– Этого Вам никто не скажет. Может, и вовсе не было никогда никаких Амышевых. Их ведь никто не видел.





А журавли
летят над ними,
над всеми
войнами летят

КАВКАЗСКАЯ МАДОННА

Мадонна – ты беженка в чёрном,
В убогих лохмотьях, вдова,
Пред ликом твоим чудотворным
Тускнеют любые слова.

Не солнечный нимб над тобою,
А шквал ледяного дождя,
Когда ты озябшей рукою
К груди прижимаешь дитя.

Скажи, по костлявым руинам,
Под дулами бронемашин,
Сквозь лай автоматный и мины
В какой ты Египет бежишь?

Ведь Ирод проклятый повсюду:
В аулах, лесах и горах,
А Господом данное чудо
Лежит у тебя на руках.

Опять от наемных холуев
Спасти его хочешь тайком,
Но горечь твоих поцелуев
Впитал он с грудным молоком.

АХМЕДОВА Марина Анатольевна, член Союза писателей СССР, окончила литературный институт им. М. Горького, автор десяти книг и пятидесяти переводных изданий, заслуженный работник культуры Республики Дагестан и Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Дагестан имени Расула Гамзатова.

И завтра, когда возвратишься
Ты снова к родным очагам,
В душе твоей будет затишье,
А в нём – только гнев и тоска.

Мадонна, прижми его крепче,
От зарева взор заслони
И русским солдатам встречным
Как мать на прощанье махни.

В молитве, быть может, последней
Аллаха за них попроси
И в третье тысячелетье
Дитя от войны унеси.

Николай Петрович Колюбакин,
Дворянин, задира, дуэлянт...
Но не только храброго рубаки
Дан ему был Господом талант.
Ссылка на Кавказ – за честь расплата
И дворянской доблести пример –
Дважды был разжалован в солдаты
Молодой армейский офицер.
Здесь, в бою у горского аула,
Вдалеке от суетной Москвы,
С Лермонтовым их судьба столкнула
Ненадолго только вот, увы!
Ведь навек обрел покой поручик
Славного Тенгинского полка,
(Не создав, возможно, строчки лучшей)
На пологом склоне Машука.
А солдат и дуэлянт бывалый,
Хоть был молод и розовощек,
Дослужился все ж до генерала
И до губернатора еще.
Двадцать восемь лет...
От Дагестана,
От его пленительных вершин, –
Всю войну прошел до Эривана,
В Кутаиси службу завершив.
Пращур мой, он не предал ни разу
На войне ни долга, ни любви.
Эта тяга странная к Кавказу,
Видно, от него в моей крови?..
Хоть меж нами разница большая,
Существует все-таки одна –
Я Кавказ, как он, не покоряю,
Потому что им покорена.

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ

Когда протяжный над Гунибом
Витает муэдзина зов
И солнце раскаленным нимбом
Сияет, не щадя голов,
Все горы, будто на ладони,
И стая белых журавлей
Вновь в синеве небесной тонет,
Незримо растворяясь в ней.
И кажется, что в этом месте
Соединились на века
И горцы, павшие тут с честью
От Апшеронского полка.
И безымянные солдаты,
Присяге верные своей,
Что только в том и виноваты,
Что честно подчинились ей.
Но прежние забыв проклятья,
Сплетясь корнями в вечной мгле,
Они лежат, как будто братья,
Давным-давно в одной земле.
А журавли летят над ними,
Над всеми войнами летят –
Кавказскими и мировыми –
Как будто вырваться хотят
Из плена замкнутого круга,
Чтоб, наконец, найти покой
И незаметно друг за другом
Исчезнуть в дымке голубой.

КОРОЛЬ ЛИР

Бредешь по безлюдной пустыне,
Покинутый всеми король.
Увы, не завидна отныне
Твоя одинокая роль.

Отвержен своим окруженьем
И, словно собака плетью,
Исхлестан до изнеможенья
Жестокими ты дочерьми.

Теперь, сумасшедший изгнанник,
Ты от унижений беги,
Весь мир – обезумевший странник,
Что слеп и не видит ни зги.

А в царстве, где был ты оболган,
Царит нынче неуч и шут.
В стране, что забыла про Бога,
Уже не найдешь ты приют.

Бездомная, нищая старость,
По серой пустыне бреди,
Ведь только она и осталась
Ещё у тебя впереди.

Пусть невыносимо то бремя,
Которое выпало нам.
Но даже в безумное время,
Старик, я тебя не предам.

ЖЕНЩИНЫ

Когда Тебя распяли на кресте,
Ученики Твои бежали в страхе.
Лишь женщины в наивной простоте
Застыли у Твоей кровавой плахи.

Не испугались и не отреклись
От Твоего завета троекратно,
А только крепче за руки взялись,
Когда кровавый пот закапал градом.

Все в чёрном, были так они бледны,
Что призраками в сумерках казались
При свете убывающей луны,
Когда с распятия снять тебя пытались.

Но тайным озарённые огнём
Во тьме сияли скорбные их лица,
Когда в порыве искреннем одном
Сошлись святая дева и блудница.

А римский стражник, обтерев копье
От крови, что пролил во славу Рима,
Забыл про тело брренное Твое
В хмельном вертепе Иерусалима.

Лишь женщины склонились над Тобой,
Чтоб спеленать в льняную плащаницу...
И хоть черты их исказила боль,
Они не пожелали отступиться.

Господь, ты там в своей священной мгле,
Которую зовём мы стратосферой,
Благослови всех женщин на земле
За эту верность и за эту веру!

«Стихи не пишутся, случаются», –
Когда-то кто-то написал...
Но жизни маятник качается
Не на земле – на небесах.

И сколько жить кому отпущено,
Доподлинно известно там –
Гомеру новому и Пушкину...
А здесь – одна лишь суета.

Но снова вглядываюсь в прошлое
Я, как в раскрытое окно, –
Там и плохое и хорошее
Навеки переплетено.

И все ошибки там исправлены,
Но не чернилами совсем,
А дулом, что в упор направлено,
Во всей стальной своей красе.

Рука не дрогнет – и расплавится
В груди пылающей свинец,
И каждому в свой час достанется
Терновый иль иной венец.

Но все когда-нибудь кончается,
Кроме поэзии одной,
Которая опять случается,
Как снег, как ливень проливной.

Опять февраль бинты снегов сдирает
В агонии сверкающего дня.
Он хочет жить – и все же умирает,
Капелью надоедливой звеня.

Он, как и ты, цепляется напрасно
За каждый ускользающий свой час.
Он, наконец-то, понял –
жизнь прекрасна!
Но время не бывает про запас.

И ты когда-то тоже это понял,
Как голос твой мучительно дрожал
От слёз в обледеневшем телефоне,
Где в проводах запуталась душа.

Ты звал меня, ведь ты ещё не верил,
Что, как свеча, угаснешь на заре...
И не предотвратить твоей потери
В холодном том проклятом декабре.

Он канул в век ушедший, словно в Лету,
А нынче – новый век и новый день!
Но почему я думаю об этом,
Когда в окне мелькает ветра тень?

Там, за окном, весенний воздух пьяный
Прижался напоследок к февралю.
Беда не в том, что ты ушёл так рано,
А в том, что я тебя не разлюблю.

ЧУЖИЕ

Они пришли...
Но не из Голливуда,
Не из Вселенной чёрной и немой.
Они явились, словно ниоткуда,
И напозли внезапно тьмуцей тьмой.

Они поют, хотя и безголосы,
Они смеются, хоть и не смешно.
И под неотвратимым их гипнозом
Мы все уже находимся давно.

Им несть числа...
Они так многолики,
Что все как будто на одно лицо.
Пороки их – как тяжкие вериги,
Свиваются в змеиное кольцо.

Их родина – вертеп,
Их жизнь – рулетка,
И золотой телец – их божество...
И все они его марионетки
И бесы похотливые его.

И, кажется, кровь застывает в жилах,
Когда я продираюсь сквозь толпу,
Где нет своих,
А лишь одни чужие,
Чужую навязавшие судьбу.

Замедлю шаг – но только время мчится
Еще быстрее, чем в горах обвал.
Оно, как та степная кобылица,
Которую никто не обуздал.

Глаза зажмурю – только всё подробней
Уродливого времени черты.
Оно, как брат твой единоутробный,
Но не понять – где он, а где же ты?

Закрою уши – только всё слышнее
Власть предрежащих пламенная ложь.
Она, как будто бы петля на шее –
Не дай Бог, не в ту сторону шагнешь.

Забуду совесть – только всё тревожней
На сердце, что устало биться в такт
Всей этой околесице безбожной
И жить опять не с теми и не так.

Этот мир – одуванчик у Бога в руках,
Он дрожит на бескрайних земных сквозняках,
Вечно клятый и вечно желанный.
Белым ангелом в космосе чёрном парит,
И дыханья его астматический ритм
Будит в сердце инстинкт первозданный.
Этот мир в оперенье седых облаков
Одинок, и его потерять так легко –
Нужно только одно дуновение...
Но понять мы не можем или не хотим,
Что в той бездне, куда мы безбожно летим,
Невозможно уже воскресенье.



УСМЕШКА КАТУЛЛА

РАССКАЗ

Посвящаю А. Мосинцеву

Гай Валерий Катулл, поэт, гражданин Вероны, пасмурным холодным утром в римском доме историка Корнелия Непота пробуждался тяжело и долго. Было зябко, хотя часто расставленные жаровни давали в меру тепла. Гай неохотно повернул рыхлое, сдавшее в весе тело на другой бок, сминая постель, прикрыл глаза. Он ненавидел собственную немощь, острые локти и колени, кости бедер, опавший живот, костлявые пальцы, заострившийся прямой нос, безвольный подбородок, впалые щёки. Казалось, что они уже не принадлежат ему, в недавнем прошлом видному крепкому мужчине, выросшему в северном земледельческом крае – Цизальпинской Галлии. Подниматься не хотелось. Он знал, что его движение уже поймал ухом бородач Тит, коренастый, с резкими чертами крестьянского лица, старик-земляк, стоящий за дверью, как тень, наготове с лекарством. Но даже пить лечебный отвар сегодня не желал. На душе и в сердце было отвратительно пусто и мрачно, точно болезнь высосала из него всё живое, иссушила мозг и тело, отняла дар поэта, источила брентную оболочку. Ни одна сколько-нибудь ясная мысль не потревожила своим весом, не всколыхнула в закоулках души даже слабенький огонёк разума, не тронула те его поэтические струнки, что давали толчок дару стихосложения. Боги отвернулись от веронца. Катулл иссяк, кончился, пал, будто раб от непосильной работы. И хотя уже было не уснуть, он упорно не желал подниматься. А дождь шумел и пел, надрывно и печально, словно погребальный хор.

Тихо вошёл слуга. Его движения, как всегда, были неторопливы, расчётливы и мягки; он словно бы не желал уронить и каплю из чаши. Гай с трудом выпил отвратительное зелье, после которого долго во рту сохраняется горечь, но старик не уходил.

– Что ещё? – спросил негромко Катулл.

– Прибыл гонец из Вероны. В деньгах... отказано, – ответил тот, стараясь сдерживать волнение, и так же тихо удалился.

Катулл отвернулся к стене. Собственно, это ожидалось. Отец упрекал в том, что не оправдал его надежд, не внял советам заняться делом, добиться положения в столице, приблизиться к Цезарю, наконец, жениться. А Гай, попав в круг неотериков – дерзких, как большая часть провинциалов, поэтов, мечтающих о славе, забыл родительские слова, не помышлял ни о карьере, ни о женитьбе. Он проводил время на пирушках и сборищах, кутил, сорил деньгами, сочинял

ПЕТРОВ Владимир Григорьевич, 1946 г. Родился и живет в г. Пятигорске. Много лет работал в институте «Севкавгипроводхоз». Автор нескольких прозаических сборников: «Ключи от дома», «Если б не дождь...» и др. Член Союза писателей России с 2012 г.

элегии, безделки, эпиграммы, похабные и эротические стишки и выдвинулся в ряд первых поэтов империи. Катулл язвительно бичевал в стихах Цезаря и его приближённых за мздоимство, разврат, насилие и казнокрадство, разъедающие, словно ржа, римское общество. Правда, узнав о болезни, отец зовёт возвратиться и лечиться дома, но Гай отверг приглашение... Он повернулся на другой бок, и почти тотчас явился хозяин дома – высокий, стройный, с бородкой, с живыми умными глазами учёного, по-доброму улыбающийся.

– Как спал, Гай? – спросил весело Корнелий Непот. Внимательный же взгляд отметил, что выглядел друг не лучше, чем вчера: подглазья ещё больше потемнели, скулы обозначились резче и побелели, щеки усилили серо-жёлтый оттенок, а глаза смотрели тускло, будто за ними, в большой голове уже не было мыслей.

– Хорошо. Мне сегодня хорошо. Чувствую себя здоровым, – нарочито бодро ответил он. – Видят боги, я в силах отправиться с тобой куда пожелаешь.

– Позже, – более спокойным тоном сказал Корнелий. – У меня есть дела, Гай...

Он вспомнил, как вчера лекарь-грек с холодными прячущимися глазками после осмотра Катулла, уходя, изрёк: «Безнадёжен, ему осталось немного». Сердце Непота сжалось, что-то дрогнуло внутри, дыхание перехватило. Слова этого маленького, надменного человека неожиданно так смешали мысли, что он в первый момент растерялся. Верить не хотелось, горький, страшный исход болезни друга никак не укладывался в уме. Боги дали Катуллу бесценный дар, талант, вывели его в число ведущих поэтов Рима, а тридцать три года – это не возраст для ухода из жизни. Широкий лоб покрыла испарина. «Что делать? Как вести себя? – думал он вечером и ночью. – Сообщить ли его семье, товарищам?» Перед глазами промелькнула их римская жизнь с момента приезда крепкого жизнерадостного двадцатисемилетнего Гая и до последних дней, когда он опустил плечи, спился и жил как бродяга. Корнелий никогда ни одним словом не осудил друга, он понимал, что не имеет на это право, как не имеет право смертный судить поступки небожителей. Он давно понял значимость умирающего в его доме человека, как и понял, к своему ужасу, что бессилён помочь ему.

– Я должен идти, Гай, – как можно спокойнее начал он, а сам всматривался в каждую чёрточку одутловатого лица поэта. Показалось, что на нём от широкого лба до безвольного подбородка уже лежала холодная безжизненная тень. Голос его дрогнул. – А ты отдыхай, лечись, и всё будет хорошо.

Он улыбнулся, стараясь не смотреть в умные глаза друга, обнял его несколько дольше, чем обычно. И явно ощутил, что, прощаясь, Катулл стиснул его руку сильнее прежнего и задержал в своей. Корнелий вздрогнул от догадки, что тот прочитал его мысли, и быстрыми шагами заспешил прочь.

Некоторое время Катулл лежал тихо, не шевелясь. Но что это?.. Он услышал шепот – женский знакомый и нежный голос приветствовал его. И вновь увидел лёгкий, как пёрышко, лик великой лесбосской поэтессы Сафо, пятьсот лет назад бросившейся со скалы в море, не вынеся потрясения души Эросом. Катулл чуть приподнял большую поседевшую голову над ложем. Нет, это был не сон, это были грёзы, давно и прочно преследующие его, сладкие грёзы. «Слава богам, ты не забыла меня, черноокая Сафо!..» – промелькнула благодарная мысль.

Задрожали руки, по телу медленно поползло, словно его укрывали горячей овчиной, тепло. Оно шло от сердца, забившегося так живо и трепетно, как в минуты, когда слагались поэтические строки. Внутренняя боль исчезла. Он прикусил по привычке нижнюю толстую губу, просунул широкую кисть под

затылок. Ток бодрости уже наполнял его, и другой образ, близкий и желанный, заслонил призрак чудной поэтессы с острова Лесбос. Клодия Пульхр – его любовь и беда, Клодия – развратная и изменчивая матрона, из-за которой он резал себе вены, Клодия – манящая и пугающая римлянка, отравившая ненавистного мужа, Клодия, которую в сотнях стихов вывел под именем Лесбии, вырисовалась перед ним. Она ласкала его, она отдавалась ему страстно и жадно, словно опытная проститутка, она шептала горячие слова, от которых сердце трепетало, будто любимый воробышек в её нежных ручках. В висках застучало, весь он наполнился энергией, будто употребил не одну чашу неразбавленного фалернского вина. Сухое тело ожило, горечь во рту исчезла, а мысли полетели лёгкой паутинкой. Катулл дрожащими губами с чувством прошептал:

– Нет, ни одна среди женщин не может похвалиться такой сильной любовью, какой Лесбию я полюбил...

Вдруг в ушах зазвучала легкая, как дуновение Эола, мелодия греческой кифары. Катулл прикрыл глаза. Музыка оживила его чувства, казалось, то, что было потеряно навсегда, возвращалось с новой силой, ещё жарче, крепче, глубже. И он любил Клодию сильнее, трепетнее, страстнее, чем прежде, как юнец, как мальчишка, ни разу не влюблявшийся, как несмышлёныш, потянувшийся к избалованной, развратной, многоопытной римлянке – прожигательнице жизни, как неразумный упрямый ребёнок. Разрыв с ней, будто долго гноящийся нарыв, саднит и тело и душу. Виски горели, как будто их жгли калёным железом в жестокой пытке. Но тут ему послышались какие-то голоса, движение по дому пробежавших слуг, кто-то незнакомый далеко и глухо назвал его имя.

– Тит, что там? – с досадой, что прервалось его видение, окликнул он старика – Я никого не хочу видеть. Я...

– Раб из богатого дома, – смиренно доложил слуга, – принёс письмо.

– Письмо? От кого?

Катулл в каком-то странном предчувствии задрожал. Голова прояснилась, будто после доброго полного отдыха, все органы работали, как у здорового человека. «Неужели, неужели, неужели! Она, единственная и любимая после Сафо, вспомнила обо мне. Клодия, дорогая...» Гай быстро и легко сел на постели. Уже не было нужды в напыщенном, будто римский патриций, с маслянистыми глазками лекаре-греке и его снадобьях, отварах, ваннах. Он прежний Гай Валерий Катулл, великий римский поэт, сочинитель политических инвектив, эпиграмм, стихотворных безделок, выданных его гениальным умом легко и просто, будто праздное слово, любовных элегий, посвящённых божественной Лесбии. Катулл поднялся с места, голова слегка закружилась, но он удержал равновесие. В горле пересохло. Недовольный Тит протянул папирус, схваченный красивой с ароматным запахом лентой. Катулл тотчас узнал ровный почерк Клодии – она звала его. Волна радости, неожиданного сомнения и ревности накрыла его вдруг. «Что это? Вспыхнувшая в очередной раз страсть или матроне вздумалось развлечься от скуки и поболтать со знаменитым поэтом о новом его сборнике? Взволновала весть о моём нездоровье или же размолвка с теперешним обожателем Руфом и самолюбие толкает на новый союз с ним, может быть, более крепкий, чем прежде?» Гай присел обратно. Мысли переполняли голову то воспоминаниями

о днях блаженства, то укорами за её измены, то горьким сожалением, что пытался забыть любимую и жестоко поносил, то мстительной радостью от язвительных строк, бичующих и врагов и друзей, то картинами последних месяцев разгульной, не щадящей себя жизни. «Odi et amo!» – люблю и ненавижу...

– Сейчас, скажи, будет ответ, – проговорил он в волнении. Теперь он должен сделать свой ход, достойный, умный и независимый, как и подобает великому поэту. Он ждал, ох, видят боги, он ждал этого письма все последние месяцы, терпеливо, как тяжелобольной выздоровления, ждал, как, пожалуй, никогда ни от кого не ждал, как молил богов о помощи! И его час настал. Но, как порой бывало, событие в минуту потеряло вес, и трудно было решить, чего в нём самом больше: желания без оглядки бежать к любимой или желания, призвав на помощь богинь мщения Эриний, жестоко отомстить, лизнуть, как преданный пёс, небрежную руку хозяйки или, словно бешеный, вцепиться в неё. Гай задумался, болезненное лицо отразило борьбу мыслей, он сузил глаза и замер. И это означало, что выбор сделан. Отрешённо и холодно, с мокрым лбом, сведёнными бровями, закусив нижнюю губу, возбуждённо-лёгкой рукой, почти не задумываясь, он стал выводить строки. Они предназначались не только Клодии-Лесбии, но и всем, кто её окружает, тем, кто смеялся над болезненным, напроочь поглотившим его чувством к патрицианке, кто презирал его как неотёсанного провинциала, кто жаждал отомстить за колкие эпиграммы, кто травил поэта, будто свора собак. Сами боги теперь двигали его пером, чувствовался этот живительный, радостный поток, когда тело будто теряло вес и слова, точно слетающие с неба божественные послания, выливались на пергамент, как молодое вино из кувшина – мощно, живительно, ярко.

*Прежней любви ей моей не дожидаться,
Той, что убита её же недугом,
Словно цветок на окраине поля,
Срезанный плугом...*

– Вот, возьми, – еле выговорил Катулл, почти бросив свиток. И зло усмехнувшись, бессильно упал на кровать.

Мысли скакали в болезненном мозгу Катулла, казалось, в нём всё – от головы до пят – воспалилось, пылало ярким жаром, горело пламенем любви и ревности, страсти и ненависти, боли и желания. Руки тряслись, словно в те страшные ночи, когда мучили призраки, когда боялся сойти с ума и когда однажды этими же руками чуть не задушил себя в припадке. И опять эта горечь под языком, будто яд разъедающий глотку. «Корнелий, друг, где ты?..» – беззвучно прошептали непослушные губы. Но ответом ему была гулкая, словно могильная, тишина. Опять его захватило это странно-тяжёлое состояние, когда сердцебиение почти исчезало, дыхание делалось незаметным, кровь в жилах останавливалась и холодела, когда остывали конечности – он находился будто у входа в черную неведомую и бесконечную пещеру. Стоило только сделать едва заметный шаг, пересечь границу света и тьмы – и назад уже дороги не будет. Наконец, сделалось легче, свет вернулся в спальню, задышалось свободнее. Окружающее приняло свой действительный вид, мысли упорядочились. Кажется, проглянуло солнце, и дождь стих. «Это успокоение природы – знак богов, – с теплом в душе подумал он. – Они благоволят ко мне и одобряют любое действие. Слава им!»

Сердце неимоверно колотилось, его трясло. О, как сладко и горько ему было всё, что касалось Клодии – картины их свиданий, ласки, нежные слова, чувственные движения, обрывки писем, то отвергающих, то манящих, упоминание её имени в чужом разговоре. Безжалостная матрона держала его крепко-крепко невидимыми нитями, словно околдовала. Не раз он силился понять, что движет поступками этой красивой самолюбивой женщины: похоть ненасытной самки, тщеславие видной патрицианки, неукротимый, как вулкан, характер римлянки, желание слабой женщины иметь рядом сильную руку мужчины или что-то ещё? Но никогда не приходил к однозначному ответу. Опять бесшумно, как призрак, возник Тит, помог выпить очередную дозу снадобья, заботливо, будто дитя, уложил веронца обратно. Гай Валерий сомкнул веки, и снова увидел Клодию и отчаянно затрепетал. «Почему я здесь? Ведь Клодия ждёт. Неужели боги лишили меня разума? А раньше мог часами, днями стоять у её дома, надеясь хоть краешком глаза схватить даже малую часть её лица, тела, одежды. Я же обидел любимую!» Катулл с силой откинул толстую накидку и громко позвал слугу. Весь он был в нетерпении, руки тряслись, в голове был беспорядок, мысли мощными волнами били в висок. «О, зачем, зачем я поддался злости и сочинил дерзкий ответ? Да простят меня боги! Немедленно идти, бежать, лететь к моей любви!»

– Быстрее, быстрее, милый Тит, – подгонял он, покорно давая себя одеть.

– Гай Валерий, это безрассудно. Ты слаб и болен...

– Отстань, старик. Лучше поторопись, – приказал он. А когда был готов: умыт, побрит, одет и облаговонен и Тит спросил, где его искать в крайних случаях, то ответил радостно-возбуждённо. – На Палатине.

Тит протянул ему короткий меч. Катулл, по-доброму усмехнувшись, принял оружие, спрятав под одежду.

День близился к полудню, непогода теперь прочно овладела серым городом. Тяжёлые тучи, казалось, лежали прямо на крышах. Зарядил холодный дождь, поднялся злой ветер, неся мусор по каменным улицам. Катулл покачивало, но он старался идти твёрдо вдоль высоких стен, не обращая ни на что внимания. Издали он заметил, что трое молодых весело галдящих хлыщей, какие обычно сопровождали Клодию, вошли в её особняк. Гай приостановился. «Что бы это значило? Она пригласила ещё кого-то? У неё гости? Или это ловушка в желании над ним посмеяться? А может, лишь случайное совпадение?» Сердце в крайнем напряжении забилося, вопросы не нашли ответа, он засуетился, заспешил, как всегда, если терялся, но постарался отбросить сомнения и думать лишь о том, что вот-вот снова увидит свою белокурую Лесбию. Влюбленный Катулл почти сходил с ума. На первой встрече в доме сенатора Вариния он сравнил её с Венерой. И тогда волнение помутило разум, лишило дара речи.

Ему пришлось долго ждать, пока красивый, холодно-спокойный раб доложит о нём. Однако, вернувшись, тот сообщил, что госпожи нет дома. Насмешка явно читалась в его наглых глазах. Катулл медленно поплёлся прочь. Но навстречу ему, задевая, галдя, вызываяще и насмешливо ухмыляясь, проследовали с охраной ещё несколько богато одетых мужчин и женщин. Одна из них обернулась и со смехом прокричала:

– Да ведь он похож на того воробья, сдохшего на руках возлюбленной!..

А другая подхватила, также смеясь и кривляясь:

– О, несчастье!.. О, воробышек мой, бедняжка!..

Катулл в бешенстве обернулся, ухватил влажной кистью рукоятку меча, да лишь усмешкой презрения окатил шумную компанию. Но та уже скрылась в ненавистном особняке. Его стихотворения «К воробью Лесбии» и «Плач о смерти воробья», посвящённые любимой птичке Клодии, были известны всему Риму. Гай отчаянно скрипел зубами, но решил ждать. Он промок, его начинал бить озноб, ломило в глазах, подобно тому, когда одолевал болезненный жар. Не в его характере было, как прикованному, стоять на одном месте. Плотнo запахнув плащ, он энергично заходил от угла до угла, рождая подозрительные взгляды редких прохожих. Глубокое несчастье, жалкое подозрение и сжигающая ревность взяли его в тиски. Он нахмурился, кожа на скулах натянулась, глаза напряглись, будто неразрешимая дума обуяла его. Время от времени мимо пробегали вооружённые люди, то по двое, то по трое, то толпой, то шествовали стройные отряды, угрожающе бряцая оружием. В Риме становилось опасно – перед выборами в магистрат здесь царили насилие и беспорядки, сводили между собой счёты противоборствующие кланы, а гибли невинные горожане. Многие старались без надобности не покидать жилищ. Катулл промок окончательно. Он ещё раз постучал в дом Клодии – результат был тот же: его не пустили. Мрачный и злой, он принялся барабанить в двери.

– Шлюха, продажная девка, грязная тварь!.. – кричал он.

Серое лицо его сделалось тёмным, скулы выперли, шея напряглась, а он выкрикивал и выкрикивал непристойности в адрес Клодии, стуча кулаками в толстую дверь, пока не устал. Кляня и её, и себя, и всё на свете, он побрёл, не зная куда. Казалось, встречные насмеются над ним, тычут в него пальцами, кричат ругательства и поносят, сторонятся как прокажённого. Он свернул в боковую улицу, ведущую с холма. У богатого дома наткнулся на четвёрку молодых сотоварищей.

– Ave, Катулл!.. – воскликнул один из них, Марк, высокий, с кудрявыми и длинными, как у девушки, волосами.

– Мы приветствуем тебя, Гай! Да пошлют тебе боги много счастливых дней!

– И много новых стихов! – подхватил другой, плотный и светловолосый Аний.

Катулл стоял как вкопанный и молчал. Вода стекала с его плеч, рук, одежды, крупное лицо его было бледным и мокрым, губы плотно сжаты. Он был худ, сутул и страшен.

– Что же мы стоим, войдём в дом! – дружелюбно проговорил третий, имени которого Гай не знал, лишь запомнил круглое добродушное лицо. – Марк, стучи сильнее. Эти бездельники еле ноги волочат, я вот задам им... Катулл, зайди, обсохни, выпьем фалернского, окажи честь поэтам, собратьям по перу.

Катулл не сдвинулся с места. Глаза его будто остекленели, в них тускло высветился сумасшедший, нечеловеческий блеск.

– Я не вижу здесь поэтов, – сквозь стучащие зубы раздраженно бросил он и, высокомерно усмехнувшись, двинулся прочь. До ушей его донеслось, как кто-то громко сказал: «Это не Катулл, друзья! Мы обознались. Это какой-то сумасшедший бродяга...», а второй пренебрежительно добавил: «Жёлчный старик-неудачник...», третий безжалостно закончил: «Он точно выжил из ума!»

Катулл не корил себя за отказ и грубость, куда невыносимее было бы в тёплом доме сидеть за одним столом с этими напыщенными ленивыми

и богатыми юнцами, среди дорогих ваз, статуй, бюстов, употреблять дорогое вино, слушать жалкие сочинения, видеть их самодовольное ожидание похвалы. Нет, он больше никогда не будет этого делать! О, как ненавистен был Гаю Валерию этот город с его продажными политиками, заносчивыми нобилиями, развратными матронами, низменным плебсом, с теми, кто, ничего не сообщая в поэзии, рассуждал о ней с умным видом, кто считал себя поэтами и бессовестно предавался самолюбованию, дарил направо и налево дорогие папирусы со своими неуклюжими виршами. И он рвал без сожаления дружбу. С сарказмом, зло, язвительно высмеивал неудачные строфы, колот острыми эпиграммами. «О, боги! Каким ужасным характером вы наделили меня!» – воскликнул он про себя.

Ему ненавистно было весёлое общество прожигателей жизни, его остро-ты становились злыми, а стихи – мрачными и тяжёлыми, словно эпитафии. Приходили мысли о самоубийстве, он чувствовал себя глубоким старцем, уставшим от однообразия дней, событий. Гай чурался людей, предпочитая одиночество, сумрак поселился в душе и угнетал до крайности, видения, точно вестники смерти, преследовали его – он жил на грани сумасшествия. С ним остался лишь Корнелий Непот, истинный друг, поселивший у себя неразумного поэта. По Риму ходили слухи, что Катулл спился, опустился, шатается по городу, как грязный простолюдин, что он больше не поэт, что иссяк, подобно высохшему роднику, что семья отвернулась от него, что бывший мот, гуляка, транжир нищ, словно бродяга.

Он плотнее закутался в мокрый отяжелевший плащ, не поднимая лица, жался к стенам и бежал, бежал, как затравленный зверь. Показалось, что кто-то преследует его, он оглядывался, прислушивался, но в ближайшем обозрении никого не было – лишь косил дождь, было ветрено и пустынно.

Как-то вышло само собой, что ноги принесли его к дому аристократа Верания, который благоволил поэтам, музыкантам, художникам, философам, ораторам, где собиралась и способная молодёжь, и знатные корифеи, и политики. Его впустили. Было тепло и шумно, где-то в глубине дома играли и пели, а в просторном таблине гости располагались свободно. Вот молодой патриций продекламировал стихи, ему дружно захлопали. Но тут разговоры оборвались – все заметили Катуллу. Мокрый, сутулый, мрачный Гай бродил с невидящим взором среди гостей и громко читал злые короткие эпиграммы на властителей страны. Послышался недовольный ропот, кто-то требовал прекратить безобразное поносительство высокочтимых особ, кто-то спрашивал у соседей, что за наглый гость позволяет себе такое, кто-то призывал немедленно выкинуть проходимца за ворота. Катулл остановился, болезненное серое лицо его исказила злая гримаса, он выглядел гораздо старше своих лет, каштановые волосы уже взялись сединой. Гай обвёл толпу мутным взглядом и проговорил с саркастической усмешкой:

– Я – Гай Валерий Катулл, я – великий поэт Рима! Клянусь Аполлоном Дельфийским, ваши потомки будут гордиться, что вы, недостойные, жили в одно время со мной!

Гости зашумели, гневные выкрики наполнили помещение, вперёд выдвинулся хозяин, увещевая поэта успокоиться и пройти с ним для разговора в кабинет. Но Катулл обозвал его «псом Цезаря», а всех остальных – «сборищем бездарей и тупиц» и оттолкнул протянутую руку. Тогда рабы вмиг скрутили худосочного поэта и выставили на улицу.

Гай выругался и медленно тронулся дальше. Вскоре ему попалась таверна, он с жадностью съел кусок мяса с горохом, выпил один за другим три стакана тёплого кислого вина. И впрямь его можно было счесть бездомным попрошайкой, которого невзначай одарили серебром. На него косились соседи – плохо одетые, с мрачными лицами типы. Почти сразу за ним вошли двое верзил с военной выправкой и явственно выпирающим из-под одежды оружием, устроились рядом, тотчас принялись шумно спорить. Через минуту спор перешёл в ссору, один толкнул другого так, что сбил с лавки и Катулла и соседа со шрамом на явно бандитской роже. Чуть было не завязалась драка. Это показалось не случайным, он пересел, ничего не сказав, спросил ещё вина. Сделалось лучше, в голове приятно зашумело. Гай, улучив момент, когда большая группа посетителей вливалась внутрь, ускользнул. Добежав до поворота, оглянулся – преследователей не было. По пустым улицам, забыв об осторожности, не беря в расчёт хлесткий дождь, он отправился за Тибр, к древнему храму Теберина, к лачугам пригородного посёлка, где был однажды, пытаясь приворотным зельем вернуть любовь ветреной матроны. Тогда, в дурмане и забвенье, ему привиделась любящая его Клодия, роль которой сыграла очень схожая обликом проститутка Лидия, такая же умелая и страстная. Обман был сладок. Разлад с любимой не исчез, поэт по-прежнему страдал. Потом случилось примирение, но вскоре опять ссора, опять разрыв. Где бы он ни встречал Клодию: на боях гладиаторов, на представлении комедиантов, в богатом доме среди приглашенных или на улице в окружении поклонников – он терял голову, мучился, страдал. Без неё же скучал, маялся, бесцельно бродил по дому, не умея выжать из себя ни строчки, будто Аониды-музы покинули его, и напрочь терялась способность к стихосложению. А то убегал в плебейские попины – заведения, где многолюдно, где шумят и спорят, не сдерживая язык, грузчики и мастеровые, играл в двенадцатилинейные шашки, в кости, много проигрывал и пил, пил, чтобы забыться. Теперь ему просто нужна близость женщины. Сердце его было холодно, а тело, успокоенное вином, – безразлично, точно срубленное дерево. Гай как будто смирился с мыслью о смерти, желая ещё раз возродить образ любимой, пережить прежние чувства, ощутить её ласки, как будто совершал последний путь к месту, где сердце издаст роковой стук. Сомнений в этом не было. Сумерки накрыли землю, дождь не утихал, одежда липла к телу, но Гай не чувствовал ненастья. Он благополучно добрался до знакомой хижины, стукнул в косую дверцу. Появилась та же беззубая старуха в лохмотьях.

– Мне Лидию.

– Её нет, – прошамкала та и загородила дорогу.

Катулл схватил её за плечи и остервенело затряс, так, что у старой заболталась голова на тонкой шее, а косынка сорвалась.

– Она нужна мне! Нужна, нужна!.. – закричал он, сверкая глазами.

Он не помнил, как разжал пальцы, но сводница вдруг выпала из его рук, осела мешком на камень, откашливаясь и прерывисто дыша.

– Это... Это будет дорого стоить, – со свистом выдохнула она.

Гай с отвращением кинул к её ногам тугой мешочек. Старуха ловко спрятала деньги, кряхтя, поднялась и повела за собой. В той же комнате, где случилось и первое свидание, больше похожей на сарай, с одной постелью и горячей плоской, из-за занавески появилась в длинной белой тунике рябая, немолодая

проститутка. Кровь ударила Катуллу в виски – как и тогда, в полутьме отвратительного жилища перед ним стояла Клодия. Он застонал и заскрипел зубами от бессилия и унижения. Схожесть была изумительная, особенно когда Лидия, убрав такую же блестящую заколку, как у его возлюбленной, только дешёвую, распустила золотистые длинные волосы и мягкими шагами приблизилась. Катулл жадно впился губами в её упругие губы...

– Я знаю, ты всё думаешь о ней, – после сказала Лидия, наливая и себе и ему вина. – Ты доверчив, как ребёнок, но забудь гордычку. Она не стоит твоей любви. Выпей лучше.

– Молчи, глупая. Что ты понимаешь? – криво усмехнулся он и прикрыл глаза. И точно сладкий сон, его окутало видение. Рядом с ним снова лежала Клодия. Гай был уже не в грязном жилище, а в благоухающей спальне возлюбленной, сам после терм, пахнувший благовониями, с начисто выбритыми ногами и пахом. Он снова нежился в её объятиях, снова упивался запахом ладного молодого тела с упругим, как у нерожавшей женщины, животом, снова был пьян и счастлив, снова жадно и страстно обладал ею. Вся она – и яркие глаза, и чувственные губы, и округлые плечи, и тугие бёдра, и пышная грудь – отдавалась ему без остатка, не притворяясь, не фальшивя ни словом, ни звуком, ни самым малым движением, жестом, а любя по-матерински нежно, любя душой и телом, любя глубоко и чисто. Губы его зашептали:

Настанет ночь и бесконечный сон...

Сто раз целуй меня, любимая, и тысячу, и снова...

– Это что, стихи? – спросила женщина, приподнявшись на локте. – Я разбираюсь в них. Хочешь, почитаю мои любимые? Я не помню имени автора. Очень милая песенка о воробышке девушки.

Катулл отрицательно повёл большой головой, нахмурился. Отвратительный чёрный потолок висел низко. Он горько усмехнулся и засобирался. Груз, который мыслил здесь скинуть и забыть, ничуть не облегчился – он по-прежнему был напряжён, желчен, зол, по-прежнему не мог забыть изменницу, по-прежнему любил эту развратную женщину...

– Налей ещё. Я хочу много вина, – приказал он. – И носи одежду.

Через полчаса он навсегда оставил дом Лидии. Ненастье не прекращалось, но Гаю было всё равно, он двигался тупо и бессмысленно, как обречённый. Красавица Сафо, животноподобная Кибела, заботливый молчаливый Тит, добрый Непот, холодная Клодия, Цезарь с умными глазами, разочарованный отец, умерший недавно брат вставали перед ним. Они будили воспоминания, но ленивый мозг, как будто уже отмирающий, неспособный работать, как прежде, не удерживал их образы. Они исчезали в темноте, как очертания лачуг и пригородных хибар, которые миновал. У крайнего деревянного жилища сидела в лохмотьях и дремала нищенка. Катулл бросил ей монету, но та лишь грязно выругалась ему вслед. Катулл усмехнулся. «Что за существо человек? Никогда не знаешь, что ему нужно?» Эпизод развеселил, и он, сутулясь, двинулся легче, размышляя о человеческой неблагодарности.

Вступив в Рим, Катулл почувствовал, что его преследуют, внутреннее ощущение опасности заставило ускорить шаг. На повороте обернулся – за ним гнались две тени. Центр города был пуст, до рассвета было ещё далеко. Где-то здесь жил Ортал-философ, всегда державшийся с ним дружески

и участливо. Гай снова оглянулся – двое не отставали. Наконец увидел знакомые очертания, кинулся к двери, застучал долго и сильно. Но дом оказался пуст. Катулл побежал дальше, он готов был колотить в любые двери, заборы, стены. Сердце отчаянно билось, а силы иссякали, дышать становилось всё труднее и труднее. Догоняющие приближались, их шаги отдавались в ушах. «Квинтий, Ювениций, Акмий должны быть здесь рядом...» – лихорадочно думал он о товарищах, с кем ещё не успел поссориться. И, словно попав в западню, заметался. Вот он узнал дом Ювениция, юноши-поэта, что в последнее время был с ним близок. На стук открыл раб, но ответил, что хозяин, знатный отец молодого человека, запретил пускать его. Животный холодок страха пробирался к сердцу. В глазах стояла тьма, ноги механически несли сами, но силы уже покидали поэта. «Что Орк – подземное царство Плутона – уже ждёт меня? И занесен меч, чтобы рассечь ниточку моей жизни?» – мелькнула горячая мысль. Нет, так просто он, потомок отважных галлов, не сдастся. Катулл вспомнил, что вооружён. И вдруг осознал, что находится вблизи дома Клодии. Это судьба. Он добежал до него, загремел железным кольцом. Открыл могучий раб со светильником, но, узнав его, толкнул так, что Гай ударился головой о стену, съёс кожу на щеке и виске. Тут же в чёрных одеждах с капюшонами, почти закрывающими лица, подбежали те двое. «Погибнуть у порога любимой! Это достойно великого поэта! – успел с невесёлой усмешкой подумать Катулл. – Что ж, будь что будет». И он отдался на волю богов. Страха не было, его лишь бил озноб, как больного. Он ухватил рукоять кинжала. Улица была пустынна, кричать было бессмысленно, спасения не было. Мечи убийц уже покинули ножны.

– Кто? Кто вас послал? – с дрожью в голосе спросил Гай.

– Ты должен умереть, – глухо сказал один.

Но в этот момент послышались голоса, шаги, и нестройная группа воинов влилась в улицу.

– Помогите! – крикнул Гай и привлёк к себе внимание. Люди в красных плащах и при оружии окружили их.

– В чём дело? – спросил шедший впереди, по-видимому, командир.

– Мы – люди Помпея, – смело ответил второй из нападавших. – Он приказал убить этого.

– Чем ты навлёк гнев проконсула? – спросил тот же старший, одетый и ярче и богаче всех. И тут в колеблющемся свете факелов Катулл с ужасом узнал его – это был брат возлюбленной, сам Клодий Пульхр, ославленный в его стихах совсем не как добропорядочный гражданин, тоже обещавший расправиться с ним. Сердце упало, но Гай нашёл в себе силы ответить непослушным языком:

– Не знаю.

– Кто ты и откуда? Отвечай! – твёрдо приказал Клодий.

Назвать себя Катулл не мог, это означало бы смерть. И он сказал уклончиво:

– Я гражданин из рода Валериев. Веронский муниципал. Из Цезальпинской Галлии...

– Это провинция Цезаря, Клодий, – сказал выступивший из-за спины начальника плечистый воин.

– Тогда отпусти его, – приказал Клодий, отходя, – а этих... Они своё прожили. К Харону. Выполняй!

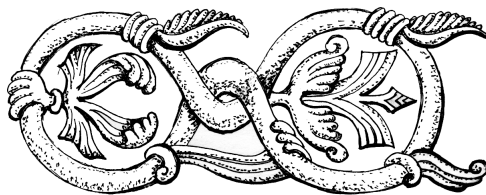
Катулла оттеснили, и он на слабых ногах подался прочь. Сзади послышались крики, мольбы о пощаде, звякнули мечи, возня быстро закончилась, всё стихло. Катулл оглянулся – два окровавленных трупа лежали у стен дома Клодии. Случилось чудо: злейший враг спас его, боги сохранили ему жизнь. «Значит, так им было угодно!» – с лёгкой усмешкой подумал Гай. Но сил уже не осталось. Сделав несколько вялых шагов, он споткнулся о камень и свалился в канаву лицом вниз...

Катулла искали всю ночь. Непот послал рабов с записками в аристократический квартал, но никто поэта не видел. Тогда Корнелий сам с телохранителями отправился на Палатин и тоже безрезультатно. Тит бродил по дому, словно потерянный, коря себя за то, что дал уйти Гаю и не проследил куда. Затем, не выдержав, снова пустился в розыск хозяина. Наконец под утро он вернулся, придерживая рукой обвисшее, безвольное тело Катулла. Оба вымокли до нитки. Катулла опустили на ложе, глаза его были полуоткрыты, зрачки не двигались, будто остекленели. Корнелий взял мокрую руку друга – она показалась ему тёплой – и сжал. И как будто ощутил слабую отдачу. «Слава богам, он жив!» – проговорил историк. Но Тит мрачно покачал головой.

– Он мёртв. Тело начало твердеть. Я не успел...

Непот дотронулся до ног Катулла, они были холодны, как у мертвеца. Он невольно отшатнулся, расцарапал себе лицо, разорвал на груди тунику и зарыдал.

Вскоре вымытый, одетый и прибранный великий римский поэт Гай Валерий Катулл покоился на дорогом ложе перед алтарём. Лицо его побелело и разгладилось, подбородок ушёл вниз, будто вмялся, а припухшие губы сложились в мягкую ироническую усмешку...



БОЛЬ И НАДЕЖДА

РАССКАЗ

1

Уже в который раз, возвращаясь из поликлиники по аллее с высоченными тополями, точно по тёмному мрачному коридору, я ловил себя на мысли, что единственное, чего хочется, добраться до кровати, свернуться змеей, найти место наименьшей боли и уснуть; уже в который раз, имея в кармане санаторную путёвку, надеялся, что наконец-то минеральной водой, грязями, немислимыми процедурами заглушится болезнь-мачеха и я выкарабкаюсь окончательно; уже в который раз, поссорившись с Леной, думал, что, как бывало, отойдёт, забудет, простит, а значит, не будет постылого одиночества; уже в который раз сбой в работе над изобретением – контуром терзал душу и охватывали безразличие и пустота. Но едва бледное весеннее солнце, вставшее из-за горы, только намекало на тепло и предстоящее спасительное, без обострений, лето, едва слабый шум тополиной листвы, речки и повеселевших птиц легко тронул слух, едва прохладный воздух сладко бодрил и земля, мокрый асфальт, голубеющее небо, жиденькая травка, деревья, чудилось, словно родные люди, шептали «Держись, держись, держись...», как внутри поднялась энергетическая волна. И я напрягся, насколько сумел, и расправил узкие плечи, и голова враз очистилась от позорных дум, точно выдуло ветром. Я подумал, что всё переменится к лучшему, поскольку завтра уеду в санаторий. И захотелось жить, работать, помириться с Леной, закончить контур и любить. И быть любимым...

Мысль, что Ленчик там, в моей однокомнатной клетушке, несомненно, ждёт, грела душу и прибавляла сил, будто только что я проглотил какое-то чудодейственное лекарство и оно работало. Я ускорил шаг и через пятнадцать минут, чуть запыхавшись, стоял у своей комнаты. Сердце билось, и смесь боли, чувств, настроения, радости, казалось, вот-вот разорвёт слабое тело и вырвется наружу. Я потянулся было рукой к звонку, когда неожиданно дверь распахнулась. В прихожке, в любимом своём плаще, мило схваченным в узкой талии пояском, в такого же цвета шляпке и с вещевой сумкой стояла Лена.

– Я ухожу, совсем, – отрывисто произнесла она. Светлые чуть навывкате глаза смотрели зло, подбородок побелел и заострился, выражение лица и фигура были решительными и строгими. И она продолжила, также с силой выбрасывая слова маленьким ртом и вколачивая их в меня, точно гвозди. – Я поняла, что жить нормально твоя персона не стремится, что тебе лучше, если каждый сам по себе. А я-то, дурочка, раскатала губу, как любая баба, хотела семьи, уюта. Ты и родить мне не дал, эгоист!.. – Она как будто выговорила самое главное, как будто долго держала в себе и приберегала для особого случая эти несколько горько-тяжёлых слов, а тут не сдержалась, освободила душу. И далее дрожащим, трепещущим голосом, словно в минуту близости, заговорила. – А как я любила, как любила, Боже мой! – И показалось, что волнующаяся маленькая

её кисть потянулась ко мне. Но тут же, резко и звонко, точно рвала в себе что-то, закончила. – Всё забыто, пусти! И напрасно, Чумов, напрасно тянуть эту историю...

Я боялся, что она сорвётся на плач, и покосился, сделав отчаянную гримасу мольбы, на соседнюю дверь, где селилась базарная и глупая Зойка, но Лена быстро овладела собой. Прежде она не говорила так: связь, привязанность, сожительство, иной раз любовь. Но история... Вчера после ссоры она демонстративно молча легла на спину, по привычке, как будто закрывалась от света, положила сжатый так, что побелели костяшки, кулачок на переносицу, и замерла. Нос с любимой мною горбинкой повлажнел, ноздри ходили нервно, щёки впали, скулы выперли, а губы сложились в нитку. Если б я дотронулся до неё, то, как пить дать, упёрся бы в каменную холодную кожу, точно у трупа. Я всегда перед сном клал ей руку на плечо как знак примирения и нежности, но теперь не сделал этого, погасил свет. А когда утром проснулся, она лежала в той же позе, напряженная, со сжатым кулачком на прежнем месте, выказывая неприступность и холодность. Я чувствовал по дыханию, что Лена не спит, на миг мне показалось, что чуть двинула плечом ко мне, словно ждала моего слова или действия. Я с полминуты вглядывался, не решаясь заговорить. Потом тихонько встал и на цыпочках вышел. Лена не шелохнулась...

– Ну вот, приехали, – выдохнул я. И тут её взорвало.

– Да, да, да! Приехали! Не смей так!

Она кричала, что я всегда обращаюсь с ней, как с дурочкой, как с неразумным ребёнком, что ненавидит мои насмешливые зенки, презрительные губы, дохленькую плоть, что убедилась – жизнь с выяснением отношений, с размолвками и примирениями для меня – норма, а размеренная и спокойная – в тягость, что я всегда искал выгоду и удобства. И чтобы убрался с дороги, иначе ударит.

– И не звони и не появляйся – не пущу!

Лена выставила кулачок с белыми костяшками и напружинилась, словно вот-вот ринется напролом. Голос её взлетел и сорвался, вроде как лопнули голосовые связки, эхо высокого болезненного звука накатило на барабанные перепонки и сошло на нет. Я никогда не позволял кричать на себя, но тут противиться, оправдываться, спорить не было сил. Сейчас меня, хилыка, смести не составило бы особого труда. Я это понимал и стоял, сникнув, под электро-счётчиком, как час назад у двери рентгенкабинета, ожидая заключения. Наступило странно-безразличное состояние, будто соединились болезнь тела и души, а мозг отключился. Меня вроде бы не было, а в тесном коридорчике прогнулась бестелесно, точно вот-вот свалится, рассыплется, лишь жиденькая оболочка. Казалось, предложи сейчас яду, и я, как полчаса назад стакан бария, покорно приму его. Лена переступила с ноги на ногу, качнулись полы длинного плаща, мне стоило труда немного распрямиться, чтобы увидеть её лицо. Когда-то морщинки у глаз были моей надеждой: если размягчались, значит, всё образуется. Но теперь спасительные чёрточки были резки и мертвы, словно у маски.

– Господи, ну почему это опять со мной!.. – горько воскликнула она и всхлипнула. – Я же давала, давала себе слово, идиотка!

– Останься, – шёпотом попросил я.

Она, зажмурившись и закусив губу, отрицательно повела головой и готова была разрыдаться. Я стиснул зубы и молча отступил. Сердце оборвалось, внутри не точка, не очажок, не комок, даже не область, а горело всё, словно ко мне со всех сторон приложили десяток раскалённых утюгов. Я едва дотащился до кровати и упал кулем...

Настойчивый и резкий звонок в дверь стащил меня с постели. Часы показывали, что я проспал меньше часа. Два друга – Пашка и Катович, один – большой и тучный, в старом плаще, с гривой тёмно-русых волос, в сильных очках, с неизменной авоськой, где болтались кирпичик хлеба, водка и ещё что-то, другой – сухой, низкорослый, сутулый, с помятым узким лицом густо-кирпичного цвета, лысоватый, в обвислом свитере, заявили, чтобы проведать.

– Ты один? – строго спросил Пашка. Я кивнул. – А где «коза»? – продолжил он, имея в виду Лену. Я ответил, что ушла.

– Насовсем?

Я кивнул.

– Ого-го! Прямо шекспировские страсти. Наконец-то, Чума, пятый акт – душещипательная развязка. Поздравляю! – Он блеснул очками и затрясся животом. – Ха, Чумло, но ты же не выдержишь – завтра побежишь к ней, как собачонка, и будешь молить о прощении!.. – И он насмешливо и сочувственно завершил: – И будешь клясться, унижаться и просить наказания, испытания, словно напакостивший юнец, потому как слабак. Слабак, Чума, слышишь?

Его глазки совсем спрятались, и круглая физия с низким лбом, мясистыми ушами сделалась пренебрежительно-злой. Он обозвал меня чучелом гороховым, бросил, что давно нужно было гнать «мадам» к «едреней фене», потому как именно она своим поганеньким характером да мотаниями туда-сюда усугубила мою болезнь. Я, слабо защищая Лену, лёг опять, понимая, что отчасти этот толстяк – моралист и женоненавистник – прав, а Пашка пробрался на кухню готовить стол и вскоре позвал есть. Лоснящаяся круглая, с толстыми стёклами очков физиономия, с загнутым коротким носом, с широкими скулами, с обвисшими щеками и маленькими глазками, моргающими неторопливо, как бы лениво, напоминала филина. Между собой друзья и знакомые так и называли этого толстяка. Сам же он обидного ярлыка не терпел, и я не употреблял его. Лена и Пашка ненавидели друг друга, будто кровные враги, обнажая у противника дурное, не заботясь, приятно это мне или нет. Пашка ставил свою независимость выше всего, не идеализировал женщин, у любой, точно опытный физиономист-психолог, выискивал изъян, смакуя и так и этак. И говаривал, что семейное счастье – это что-то эфемерное, точно скоропортящийся продукт, а семья на сто процентов – эгоизм одного над другим. Лена же утверждала, что в холостяцкой Пашкиной конуре ни одна женщина не вытерпит и дня, ибо своеволием и придирками он испортит жизнь всякому. Пашка добавил, что я как заштатный инженеришка в шарашке деградирую на глазах, топчусь на месте, буксую не хуже старенького авто с лысой резиной, а ведь у меня на шее изобретение – контур. А узнав о визите в амбулаторию и полученной санаторной путевке, сказал, что стоит плюнуть на заключение неумех-эскулапов, что язву, мол, лечат единственно спиртом, мёдом и маслом, что всё предусмотрел и даст лечебный набор в отъезд. Лёнька Катович, безобидный выпивоха, бражник, служил вместе с женой в архитектурном управлении, шлёпая однотипные проекты больниц, детсадов, гостиниц, школ. Он был изрядно выпивши и почти не реагировал ни на что, вроде куклы, послушно исполняя приказы друга-пузана. Расположившись привычно у широкой части

стола, любивший верховодить. Пашка себе и Катовичу плеснул водки, а мне из бутылочки спирту. Между тостами он пенял меня за слабость характера, за затяжку с контуром, небрежение к здоровью, а Катовича – за безалаберное житьё-бытьё, за пьянство, за бездарные творения в стиле соцреализма. И, как всегда, мрачнел, не терпел пререканий, не уступая, выпаривал любой спор, даже если не прав, будто выпитое наполняло его какой-то недоброй энергией. После очередной рюмки и Пашкиного умозаклочения Катович завращал мутными глазками, причмокнул и воздел указательный палец вверх.

– Филин мудр, он знает всё, – шёпотом выдал он и уронил голову на узкую грудь.

Вмиг Пашкина лоснящаяся мордень взялась краской. Он бросил вилку, смял сигарету до трухи, хищно развёл вывернутые ноздри. Глаз не стало видно вовсе, маслянистые губы брезгливо, словно проглотил какую-то дрянь, искривились. Он обозвал Катовича Козлевичем, козлом, чмом, поганой Моськой, ударом ноги вышиб из-под него табуретку, стянул на шее бедного архитектора горловину свитера, оголив худое белое тело, приказал стать на колени и извиниться. Иначе уничтожит, раздавит, аки муху. И Лёнька, нелепо суча тонкими ножками, опёрся о табурет и встал таки-на колени. Пашка довольный ухмыльнулся, взял безвольное тело собутыльника под мышки, как куль, и понёс, бросив мне через плечо, чтобы не забыл про мёд и спирт.

2

В столовой «Зари» – небольшого санатория, где лечился и в прошлом году, я попробовал ужин – залитые розовой жижицей биточки, гречневую кашу, горьковатый чай – и убрался вон. Затем на лифте поднялся на свой этаж, одетый лёг в кровать, сомкнул веки. Подумалось, что сглупил с курортом – серыми, наводящими тоску улицами, тяжёлым, совсем как перед грозой, небом, холодным номером; что к этому часу решила бы моя участь: может, уехали, как раньше, в обшарпанную терапию с надоевшими уколами, микстурами и пропаренной пищей, какую не ели даже больничные коты. Или спровадили к хирургам, а у них, известно, до операционного стола – четверть шага. Но подобные доводы не могли расшевелить. Они глохли где-то в извилинах сознания, и делалось безразлично, словно в глубоком запое.

Я зажмурился, как мог, напрягся, зная, что сокращение мышц убавляет язвенную боль. И в эту минуту энергично, что-то насвистывая, вошёл сосед – лет тридцати пяти, краснощёкий, губастый, с загорелыми руками и шеей, пахнувший одеколоном крепыш – и представился. Я назвал своё имя, кто и откуда, вяло пожал твёрдую руку. Вошедший бросил крупное тело в кресло, пристально глянул на меня серыми глазами, щёлкая сильными пальцами и потряхивая выпуклыми коленями. Помолчав, вздохнул, развернул бугристую грудь и наморщил лоб.

– Может, это... врача? – спросил он негромко.

Я покачал головой, возражая. Сосед откинулся на спинку. Потом, глуховато произнося слова, изредка окидывая цепким взором, точно сомневаясь, оклемаюсь я или нет, заговорил. Оказалось, он впервые далеко от дома, наслушавшись рассказов дружка-тракториста, отдохавшего здесь и закрутившего невероятный роман, выбил у колхозного начальства отпуск и с одной,

доводящей до мандража думой – гульнуть на полную – укатил. Однако минула неделя, а ещё не потрачена ни одна сотня из заначки, скрытой от бдительной жены Верки, не пригублена рюмка, не сведено ни одно знакомство, будто бы на необитаемом острове. Шесть вечеров кряду он слонялся от доминошников к бильярдистам, от кинозала к лекционному, как молодой бычок. А женщин вокруг было море. И каких!.. Он слышал, что вдали от кухонь, детей, мужей все они без разбору, точно богини, прекрасны и умны. И вот нынче расклад менялся к лучшему, пошла, как говорят картёжники, масть. Во-первых, съехал дедуля, пытавший шахматами и кроссвордами, а место рядом занял приемлемого возраста и, кажется, не глупый, могущий не стусеваться в общении, напарник, то бишь я, а во-вторых, в клубе – танцы. И есть шанс ему, не больно опытному, словно монах-затворник, в амурных делах продвинуться в задуманном.

– Вдвоём же сподручнее, – закончил он, улыбаясь. – Если вы... ты, конечно, – он не сумел подобрать слово. Только, видимо, сообразил, что я – скрючившийся, вроде сражённый под дых, инженерик, понял его; только учуял мужским духом, что распластанный хилак, точь-в-точь мумия, скелет человеческий, однако, солидарен с ним. И хлопнул в ладоши и радостно потёр их. – Пойми, один не сдюжу, требуется культурное, городское, что ли, обращение. Составь компанию, а? Правда, со школы не дрыгал ногами. А расходы беру на себя, не бойся!

Отпружина с места, он нагнулся к тумбочке. И ловко, облизывая губы, светясь мордахой, посвистывая, дёргая плечами, принялся извлекать на свет разноцветные кульки, пакеты, свёртки. Тотчас на блюде выросла горка красной икры, тут же, будто по волшебству, нарезались сыр, колбаса, лимончик, отвернулась коричневая пробка с пузатой бутылки, и разлился в тонкие стаканы коньяк. Довольный собой, он снова потёр ладони и басовито крикнул:

– Ну как, по рукам?

Моё настроение ломало все физиологические законы. Напряжение и слабость, боль и надежда, страх и безразличие соединились, перемешались в измождённом теле. И неясно было, чего больше, а чья доля ничтожна. «Умереть бы немедленно и тихо, словно уснуть. И прощай болезнь!..» – мелькнуло в туманной башке. Но вообразил, сколько хлопот доставило бы это вахловатому, простому, искреннему мужику, санаторному персоналу, институту, шефу, наконец, маме... И захлестнула злость на себя, на жизнь, на Лену. Ибо нещадный выбор в который раз ставил в тупик, и нужно чем-то жертвовать, от чего-то отказываться, что-то терять. А смысл жизни, а предназначение на этой земле?

«Господи, эко меня понесло, куда замахнулся, на что? – недовольно подумал я и поморщился. – Кулибин чёртов, Эдисон, Тесла! Опять ткнулся в злополучный угол: всё или ничего?» Это играло моё исследовательское нутро, моё самолюбие учёного, мой гонор изобретателя, мечтающего об известности с тех пор, как прочитал о человеке-невидимке, человеке-амфибии, гиперголоиде инженера Гарина. Два года назад не было ничего и никого важнее Лены. С каким нетерпением ожидал выходных, звонил ежевечерне и был счастлив!.. Но день ото дня восторг, чувства, взгляды делались глуше, спокойнее, будто и душа, и мозг тяжелели. И другое уже занимало и заполняло их, словно живое существо, геофизический контур...

Я зажмурил и открыл глаза – мужлан был на месте. Приподнялся на локте и отметил, что никаких неудобств это желудку не принесло. Медленно сел. И это далось легко. Распрямившись, по привычке упёр кулаки в бока. Просяще-

ожидаящий вид здоровяка-соседа развеселил, отвлѣк, что-то во мне дрогнуло, замкнулось, бодрый ток полился от сердца, а тело с головы до пят наполнялось силой. И мысли, точно солдатики на смотре, выстроились прямѣхонько. И так, все чего-то хотят: механизатор, стоящий в поклоне, – утащить в клуб, флиртануть; шеф с пробивной и наступающей сутью – завершить контур, оформить патент, заполучить премию, козырнуть там, наверху, чтобы выбить для меня отдельную квартиру; друг Пашка – оторвать от Лены, а Лена...

Я выщелкнул сигарету из пачки, ухватил её зубами, не раскуривая, сунул за ухо, как делал, размышляя над контуром. В момент скинул одеяло и твёрдо встал на ноги. «А что этот поход в свет изменит в конце концов? Прошлого уже нет. А будущего ещё... – Я усмехнулся оттого, что потянуло на обобщения, будто начитался философских трактатов, и бессловесно довершил: – Не валяться же бревном. Пока жив – будем жить!»

– По рукам. Идѣм! – сказал я громко и закурил.

Вид еды, её запах манили, рот наполнялся слюной, но не привычной – безвкусной, а смачной, душистой. Я ощутил головокружение и лёгкость. А жуя бутерброды, глотая слоѣные ломтики, переживал удовольствие, как будто сто лет ничего подобного не ел. Ширя ноздри, я вдыхал жадно и протяжно, не думая ни о чем, да ничего и не было, кроме этого чудного столика, закуски, явленной точно скатертью-самобранкой, и симпатичного партнёра. Между тем сосед с подъѣмом говорил о том, как здорово, что я решился, что ежели выход окажется удачным, завтра – кутить в ресторан, а там – в сауну, на природу, на шашлыки, к чѣрту на кулички! Он готов был, кажется, обнять меня как родного. И вспомнилась бесшабашная студенческая жизнь, застолья в складчину, картошка, селѣдка, чѣрный хлеб, горчица, кисловатое дешёвое вино, лёгкое опьянение и снившаяся мне часто однокурсница Саша, краса факультета, недостижимо эффектная, с точѣным носиком и фигуркой, с манящими чувственными губками, всегда ярко блестящими, словно обведѣнными масляной краской. И мечты, мечты, мечты...

– Бр-р-р!.. – Я передѣрнул плечами.

В два приѣма поллитровка была опорожнена. В номере сделалось тесно, сердце моѣ куда-то рвалось, мысли повеселели, заиграли разными красками. И всё вокруг стало чудным и милым: в комнате с мягкими обоями и бра в виде тюльпана потеплело, за окном проглянуло закатное солнце, густо-синее небо почти лишилось облаков, низко летали, радостно попискивая, стрижи. Через минуту мы оказались за дверью и заспешили: коридор, лестница, холл были отщѣлкнуты, словно косточки на счѣтах, – дорогу я знал отлично. И в минуту очутились перед входом в танцзал. Оркестр – дюжина парней, блестя золотыми инструментами, исполнял либо вторую, либо третью вещь, разыгрался. Звучание из мундштуков, струн, клавиш, мехов лилось ярко и сочно, не хуже, чем у мощного симфоджаза. Дирижѣр с зачѣсанными от затылка на макушку жидкими остатками шевелюры, с тощим задом одной рукой взмахивал палочкой, а другой удерживал норовящую распасться причѣску.

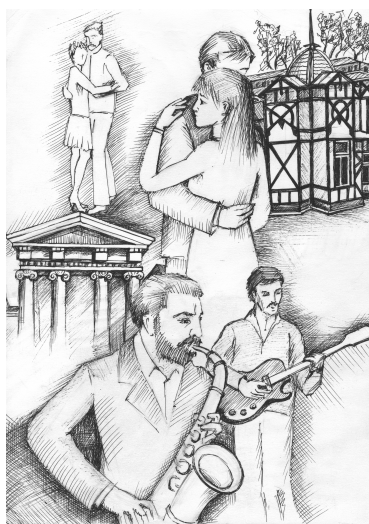
Суетился и бегал, вихляя осевшими бѣдрами, тот же, что и год назад, культорганизатор Яша – немолодой, наруганный, в парике, задоря народ где мимикой, где жестом, где словом. Мы осмотрелись. Было странно, но с каждым тактом, с каждым боем ударника кровь горячилась всё сильнее и сильнее, и пульс рос, будто стремился догнать темп и настроиться в резонанс.

нанс. Я уловил какой-то сладкий запах, какой-то прежний молодой и жадный ток. И восторг, и нервность, и алчность узнавания нового, и предвкушение чего-то необычного, как чуда, захватывало теснее и теснее. Мир в одночасье обернулся другим. И я сам – полусдохший, будто снятый с креста, сдавленный контуром, загнанный шефом, брошенный Леной – изменился: осязанием, слухом, обонянием я искал предмет своего волнения. Что-то в сей миг обязано произойти, и устоять будет нельзя. Яркий свет, музыка, коньяк, язва, томление завязались крепким узлом. Как в сказке, в самый пик, в самый нужный отрезок времени совершается волшебное действие, вертя всех до единого, мешая порядок, чинность, приличие, так и на паркете разворачивался спектакль. И тянуло быть в центре этого вертепа, лишиться рассудка, точки опоры, меры и окунуться в разгул, точно перед концом света. Словом, жаждалось праздника.

Танец закончился. Яша взялся плести эстрадно-пошловатую нить из штампованных прибауток, историй, шуточек, вызывая смех, кривляясь и мелко тряся париком. Часть женщин расположилась на стульях, часть сбилась в кучки, часть выпорхнула наружу – припудрить носик, отдышаться, перекурить.

– Вон, гляди, слева в углу две кадры, – жадно зашептал механизатор, показав смелость и хватку. – Мне по душе брюнетка, а ты – светленькую, согласен? Подруливаем.

И это спонтанное предложение разрешило всё. Я сдвинулся с места, не отвлекаясь и не упуская из виду объект, точно в оптическом прицеле. Теперь кровь не лилась, не текла – она неслась, словно вода в горной реке. Её турбулентный бег горячил вены, артерии, сосуды. Чудилось, они вздулись, вспучились и обильным током убыстряют ход сердца опасно, на пределе и меня, как работающую вразнос турбину, вот-вот разнесёт в клочья. Но я собрал все силы и держался. Однако магнетизм цели нарастал. Уже различались детали брючного костюма, лежащие на коленях руки с колечками, красные манжеты блузки. И когда поднял взгляд, дыхание прервалось: на меня смотрели так же, как смотрел я. Свет вокруг сгустился и померк, будто разом приглушили все люстры. «Боже, я пьян... – извергло со дна мозга. – Совершенно пьян...»



Я скользнул вперёд, притяжение утроилось. Дрожь гуляла по мне свободно, неукротимо. Ещё ближе, ближе... Нежно, под сурдинку дали начало трубы, и зазвучало танго. Я наклонился и тихо молвил: «Можно вас?...» И в миг, когда ладонь легла на ладонь, цепь замкнулась: единым стали обращение крови, дыхание лёгких,

толчки сердец. Я не глядел в лицо дамы и не рисовал его черты в воображении – я просто знал их, знал до мельчайшей линии, до лёгкого изгибчика, до едва заметной ямочки, знал давно, наверное, со студенчества, а может, ещё раньше... Я повёл, как знаток, как жиголо, как ловелас, как практикующий танцор, – осторожно, легко, мягко, словно глядя носками туфель паркет. На третьем полушаге развернулся, губы прилились на уровень глаз незнакомки. И коснулся бровей, будто поцеловал. Ударник строго держал четвертной ритм, шелестели певуче

саксофоны, выхватывал синкопу тромбон, гитара давала плотные аккорды, мелодия набирала обороты. Скованность ещё угадывалась, ещё блюлась дистанция. Но уже послушнее делалась партнёрша, уже согласнее её шаги, смелее и гибче тело. Я не проронил ни слова; развороты, ходы, наклоны, па чередовались без люфта, без малейшей задержки. Я рвал темп – она не сдавалась и шла за мной едино, повторяя рисунок танца без ошибок, будто прилежная ученица. Я менял длину шагов, перемещался по дугам, по прямым, зигзагами – она не сбилась нигде, точно прилипла. Дыхание её участилось, стан трепетал, щёки зарделись, губы – полуоткрытые, живые, кажется, ещё чуть-чуть – и готовы просить отдыха. Но их обладательница не дрогнула и упорно молчала.

Вдруг открылось, что в круге лишь она и я. И зал нацелился только на нас. А я не усмирался, словно обуянный коварной мыслью обессилить, добиться мольбы о пощаде. И вёл, вёл, вёл, как безумный. Вот музыка сошла на нет, мы замерли. И грянул шквал аплодисментов... Теперь мы не разлучались. А когда Яша, этот коротышка с кривым ногами, вихляющим задом и тонким голосом, потный и усталый, войдя в центр, объявил закрытие вечера, когда толпой мы были вынесены наружу, то свернули в боковой проход, по-прежнему, рука об руку, отыскивали укромное место за ширмой из цветов. И присели на мягкий, пахнущий кожей диван.

– Простите, кажется, резко вёл, – глухо проговорил я. – Что-то нашло.

– Нет-нет, – она почти шептала. – Разве чуть-чуть... Признаться, немного устала.

Светло-каштановые волосы её разделяли наши щёки. Я плотно держал невесомую ручку, будто опасался, что вырвется. Ладонка и тыльная сторона кисти были горячими и влажными, как у ребёнка. Она дышала легко, иногда обращала ко мне пылающее лицо и едва поднимала тонкие брови, точно удивлялась. И тогда сердце моё прыгало, а горло перехватывало, я немел и терял сознание на долю секунды. Это было какое-то странное, будто во сне, наваждение. Где-то в глубине здания пробили часы. Она вздрогнула и заволновалась.

– Ещё рано, – прошептал я, не отнимая рук.

«Не уходи же, не уходи...» – твердил про себя. Память была чиста, будто и не жил до этого вечера, до этой встречи. Я странным образом забыл разрыв с Леной, забыл позвонить матери, забыл обещание шефу не откладывать работу над контуром, забыл желание на здешнем перроне у серого вокзала немедленно прыгнуть в обратный состав. Какая-то сила то ширилась, задевая самые крайние и малые части мои, то парализуя, ужималась комком в солнечном сплетении. Покоя не было, я как будто натуральным образом сходил с ума. Я распадался на части и складывался вновь. И в этот акт уже начала вмешиваться моя болезнь, словно ядовитое зелье, отравляя всё. И я заговорил. Я спрашивал, получал ответ и тотчас находил родственное в своей жизни, ещё более выпуклое, интересное. И радовался этой схожести, как человек, вдруг нашедший давнюю пропажу. Я вспоминал один за другим анекдоты, случаи, забавные истории, чтобы ни на секунду не потерять её внимания, совсем, как артист разговорного жанра. Но незнакомка оказалась достойным последователем, потому что шла по моему же пути. Я выстреливал фактики из биографии, умалчивая о том, что неприятно или где выглядел дурно, и она рассказывала многое, но дозировано. И через два десятка минут я знал,

что имя моей сегодняшней знакомой Дина, что родом она с севера и работает в библиотеке технического вуза приморского городка; что сносно владеет английским и французским, бывала за границей и год назад развелась с мужем, начальником жилконторы, намного старше её; что попала на курорт случайно – сотрудница заболела, вот и поехала. Наверное, этого было сверхдостаточно. Ибо последние фразы почти не осмысливались – внутри нещадно пекло. Послышались чьи-то шаги. Мимо прошаркала техничка со шваброй и ведром. Она заметила нас, пробурчала что-то недовольно и, гремя инструментами, принялась драить полы.

– Сейчас вернётся и прогонит. Неудобно, – сказала тихо Дина.

– Да... Да... – Я осторожно, как там, в зале, коснулся губами её виска и зашептал быстро. – Завтра... Завтра утром после столовой... Здесь же.

– Хорошо. Буду, – ответила прерывисто она.

3

Я едва добрался до комнаты.

– Входи, не сплю! – сказал обрадовано сосед. – Ну, инженер, с меня пузырь!

И покуда я снимал одежду в темноте, поведал, что не потерпел до финала танцулек, привёл брюнетку в номер, сгонял за шампанским. И они играли в карты, болтали, пили вино, смеялись; что не встречал человека более понятливого, умного, что втрескался сразу и намертво. Я что-то вставлял сквозь зубы, будто бы, что рад за него. И, скорчившись, вполз под одеяло, моля Всевышнего о сне. Между тем энергия соседа таяла, звуки слабели, и вскоре донёсся храп, густой и низкий. Я крепче сомкнул челюсти – теперь сто из ста, что не уснуть, понял я. Выпил две таблетки успокоительного, но зря: ни одна жилка, мышца, клеточка не отдыхали, как будто лекарство действовало наоборот. Следовало занять голову – тяжёлый и гудящий предмет – чем-то, если неумолимо противиться бессоннице. Этот приём выработался давно – с начальных задумок о контуре. Портфель с чертежами моего детища стоял косо, как будто вот-вот завалится набок, между тумбочкой и изголовьем койки, словно укор мне, убившему вечер не на работу. Однако браться за дело, включать ночник и в неудобстве что-то из себя выжимать было нелепо. Я отбросил глупую затею, принял ещё таблетку и поднялся. Вчерашний суматошный день встал передо мной объёмно, в деталях и в мелочах...

Вот длинноволосый с дурно пахнущим ртом председатель месткома всучил горящую путёвку, облегченно вздохнул и убежал; вот губастый шеф выбил из меня слово думать и думать каждую минуту о контуре, потому как сроки, сроки; вот сутулый рентгенолог с острыми вразлёт ушами, с овальным голым черепом, около часа мявший живот, сунул медзаклучение в руки, а на вопрос, что дальше, равнодушно послал к участковому врачу и скрылся за тяжелой дверью; вот обозлённая Лена с вещами, всегда боявшаяся быть брошенной мужчинами и всегда ими бросаемая, а теперь решившая уйти сама; вот появились и исчезли Пашка с Катовичем; вот позвонила мама и приказала, как только устроюсь, немедленно сообщить ей; вот я без сил упал на кровать...

Корпус напротив спал, горели лишь огни коридоров, лестничных маршей. Почти на уровне лба, метрах в пяти, бил вразлёт серебристо-белыми иглами фонарь, легонько качались верхушки тополей и клёнов. Вдали мерцали редкие

точки звёзд. Посылы серых извилин уверенно толкнули к контуру: в последние дни одна задачка – устройство шупа – взлетала и падала, исчезала и вновь намечалась. Я мучился, как будто не мог прочитать сложный чертёж, я копался в библиотеке, шарил по журналам, отчётам, вестникам наук, надеясь таким образом прийти к решению. Увы, напрасно. Я глотал слюну, тёр ладони, дрожал, полный нетерпеливой энергии. И еле сдерживался, чтобы не подпрыгнуть, не взорваться нервами, не заорать. Но знал: нужно время, нужно водить круги, манить и ждать, нужно вынудить загадку проявиться, наследить, будто шпион, и тогда она – моя... Я любил это ночное волнительное время, как любовницу, беря от него всё, а насытившись, отметал безжалостно. И оно прощало мне это.

Я крутил между пальцами, мял неприкуренную сигарету, то нюхал, то ухватывал зубами, слегка прикусывая, то спроваживал за ухо, будто знак мысли, сосредоточенности. И детали контура, отдельные узлы, ширясь, будоража, толкая, полнее и полнее охватывали мозг. «Вот-вот, – кольнула догадка изнутри. – Шеф, шеф! Его след!» Портрет с набрякшими подглазьями, одутловатым лицом сердечника, серой кожей, выпяченными губами, грузным телом ясно обозначился, как на экране монитора. Щуп долго не задавался. Я приступал и так и этак, но получалось грубо, топорно, словно у кустара. Варианты браковались, работа затягивалась. И перед самым отъездом в разговор, походя, играючи, в своей небрежно-пижонистой манере шеф бросил: мол, что тут думать – копни в космонавтике. «Стоп!.. Конечно же – щуп-крот для забора лунного грунта. То, что нужно!» Не зря же я перелопатил десятки томов библиотеки, и та страничка номер сто тридцать пять с рисунком и сносокками явилась передо мной чётко и в подробностях. Я легонько подпрыгнул и покосился на соседа, но тот и ухом не повёл. Меня заколотило, мандраж взял круто и надолго. Только бы приладить его к «игрушечке», как все шутиливо называли мой геофизический контур, к родненькому, вымотавшему, точно нерадивое дитя, изобретению! «Ура и слава Господу!» Я нервно задвинул штору, вернулся в кровать. «Завтра, какой завтра, уже сегодня, приём у врача, наверное, обследование, анализы, процедуры. Надоело! На-до-ело!.. К чёрту процедуры, к чёрту анализы, к чёрту врача!» – разозлился я.

Горловые рулады механизатора наплывали низкими волнами. Я дотянулся ногой до его матраса и пнул. Храп прекратился, мужчина лёг набок. «Наконец-то...» – подумал я. Но оболочка и нутро мои как бы отмерли: не соображал, что со мной, где я. Пригрезилось, что я в комнате без окон и дверей. Возник лысый рентгенолог и целит в меня похожим на ружьё устройством и командует хрипло, отрывисто: «Рубаху, майку, брюки – долой! Стать левым боком!» И гонит, гонит, хохоча, в угол, а сзади, обнимая его, пискляво и тошно верещит пухленькая медсестра в коротком халатике. То Лена с раскинутыми, как всегда, руками под круглыми часами. И кидаюсь в её объятия, пьянея. То шеф – губастый, картавящий, с соломоновой прозорливостью, с умением жить между начальством и подчинёнными, с дьявольским талантом выкручиваться и добиваться своего... То Пашка, щерясь маленьким с жёлтыми зубами ртом, бросающий хитро и насмешливо: «Ну что, хлюпик, влип? Говорил же, лечись мёдом и спиртом!» То отец – сухой, дряблокожий, жалкий, с палочкой, точь-в-точь, калика перехожий, шепчущий с укором, язвительно: «Ты не убрал мою могилку, сын, к этой Пасхе».

Погас надоедливый фонарь. Значит, скоро рассвет. Я тотчас отключился, а пробудился почти в девять. Дина ждала меня. На ней были вчерашний брючный костюм, красная блузка. Мы присели на тот же диван.

– Я не сказала тебе вчера... Прости, – заговорила она. – Не смогла. – Дина подняла взгляд. – Мой поезд... в два... Сегодня, понимаешь?..

Сердце упало и сжалось. Я подумал, что ослышался, что не было этих бьющих слов, что это всего лишь моя выдумка, фантазия или всплывший в больной голове отрывок увиденной или прочитанной драмы. И внимательно глянул в её лицо. Оно смотрелось усталым, но так же прекрасным, а макияж – ненавязчив, лёгок и тускл, словно не смывала его. Дина закусила нижнюю губу, опустила взор. Выходит, я не ослышался и сказанное правда. Она гладила мою руку, а я – её, как вчера. «Ну вот и развязка маленького романчика, – подумал я. – А иного, вероятно, и не должно было быть».

– Как нелепо и обидно. Зачем? Зачем, скажи, Андрей?..

– Не знаю, – выдохнул я.

Я подумал, что там, где наша жизнь разложена по полочкам с отметками времени и места разных событий, с потерями, обретениями, удачами, болезнями, хандрой, есть и эта встреча. И сегодня в ней, точно в готовой фотографии, не изменить и малюсенькой детали – будет как будет. Но ведь зачем-то мы встретились, зачем-то судьба свела нас, зачем-то пути наши пересеклись?.. Ничего в этом мире не случается просто так. Это я знал точно. Чья-то властная рука ведёт нас и к радости, и к горю, и сводит, и разводит. Человек есть человек: он предполагает, надеется, ждёт... Я отвернул рукав пиджака – было половина десятого. «Значит, у нас четыре с половиной часа, двести семьдесят минут... И роскошь и пыль!»

– Ещё много времени, – молвила она. – Если ты желаешь, то погуляем.

Я не сразу ответил, меня знобило. Я глотал слюну, силился замедлить дыхание и всю энергию направить в себя, в тот ноющий очажок под солнечным сплетением. И сбил дрожь и вздохнул, как уставший и смирившийся со всем человек.

– Конечно. Я провожу тебя, – проговорил я.

– Мне будет приятно, – сказала Дина и взяла меня под руку. – Идём, Андрюша.

Мы неторопливо прошли коридор, входные стеклянные двери. В мозгу прочно держались: «Мой поезд», «В два», «Сегодня». По отдельности это были просто слова – не хорошие, не плохие и даже безобидные, будто в пустячном разговоре. Но, сложенные вместе, они слышались, точно приговор, обжалованию не подлежащий. И он вынесен мне, Андрею Чумову, красивой женщиной, ставшей в один вечер дорогой и близкой. Мы неспешно миновали сквер и через несколько минут стояли у площади, где справа неровным кубом белел гастрольный театр, слева высился универмаг, а между ними – с полдюжины фонтанов и фонтанчиков. Было свежо, качались серые, без листьев ветки акаций и каштанов, шелестела молодая листва сирени, жасмина. Казалось, что вот только сошёл здесь снег, воздух ещё держит в себе запах зимы, и на окраине в затишьях лежат грязно-белые сугробики. Жёлтое неяркое солнце уже поднялось выше окрестных домов, играло в струях воды, отражалось в окнах; то и дело, меня направление, гулял, точно беспечный курортник, ветерок. Весна вступала в городок робко, как нечаянный гость.

– А пойдём в кино, – сказал я первое, что пришло на ум.

Нужно было говорить, хотя бы как вчера – весело и находчиво. Но оказалось, что произносить буквы, слоги невероятно трудно, будто они всякий раз задевали рану где-то внутри. Дина ответила согласием. Однако первый сеанс начинался только в одиннадцать. И мы зашли в магазин. Мы бродили с этажа на этаж, выстаивая подолгу то у одного прилавка, то у другого. Я молча сжимал её теплую руку – так в детстве я держал за руку соседку по парте на классной прогулке, боясь потерять пару. В отделе сувениров обменялись брелоками с местными видами. Наконец вернулись к кинотеатру, взяли билеты. В фойе обнаружился буфет с мрачными обоями, пластиковыми им в тон столами, зевающей полной буфетчицей. Я заказал вина, шоколадку и бутерброды. Выпили без тоста.

– Не смотри на меня так, прошу. Мне страшно, Андрей. Я же не виновата, что только вчера судьба или ещё что свело нас...

– Останься хоть на день, – попросил я.

– Зачем? Продлить это на сутки?.. Я не вынесу. Да и ты ведь болен. Я вижу.

Я отмахнулся: как раз наоборот, именно сейчас я отлично себя чувствовал, и до зарезу нужны эти пусть всего двадцать четыре часа, а если расстанемся сегодня, то не увидимся никогда. Она отбросила волосы, улыбнулась мягко и тепло. Затем открыла сумочку, достала размером со спичечный коробок блокнотик, вырвала листок и написала на нём что-то.

– Возьми. Если суждено встретиться, то... То так и будет. Мой телефон.

Я взял бумажку, назвал свой номер и сходил ещё за вином. Сеанс начался, но мы будто не заметили. Дина не отпускала мою руку. Так прошли в тёмный зал и устроились в последнем ряду – привычка молодости. Я привлек Дину к себе и поцеловал в губы долгим поцелуем. Она притихла на моём плече, словно дитя.

Наверное, прошло минут тридцать или больше, и мы ушли. И вернулись в санаторий. А вскоре были у зелёного вагона, и я опять держал её за руку и молча смотрел в глаза – синие и печальные, как два камешка в её серебряных перстнях. Проводница, немолодая хмурая женщина, предупредила, что трогаемся, и ушла внутрь. Дина поцеловала меня в губы, взошла на ступеньки. И тут будто кто толкнул меня в спину, я вскочил за ней. Мы скользнули в тамбур, оттуда в купе.

– Андрей, ты с ума сошёл!

А я не соображал, что и зачем делал. Я целовал её щёки, губы, шею, лоб и шептал: «Молчи, молчи, молчи...». И было так хорошо, что я готов был тотчас умереть, лишь бы это длилось ещё и ещё. Состав дёрнулся и поплыл. И почти сразу явилась проводница.

– Ну вот, – сказала она, не размягчая лица, и забрала Динин билет. – Так и знала. Беда с этими курортниками: никак не отлипнут. Через полчаса узловая, пересядете на электричку – и обратно.

Я поблагодарил, начал было что-то о человечности сотрудников железных дорог, но она с тем же настроением вышла, не задвинув дверь. Я умолк и как-то обмяк, погрузнел. Дина попросила рассказать что-нибудь о работе, о друзьях, о себе. Я отрицательно мотнул головой.

– Хочу запомнить тебя...

– И я...

– Нет, зачем?.. Доходягу, мощи, рентгеновский снимок, вешалку для одежды?

И закрыл её лицо ладонями.

– Глупыш. – Дина разняла мои руки, рассмеялась. Мы обнялись. Стало легко и радостно, как будто и знакомство, и танцы, и поцелуи, и счастливая ночь без сна ещё только впереди. Лязгнула поездная сцепка, началось торможение. И через минуту вагон стал.

– Я обязательно позвоню, – шепнула Дина и поцеловала. – До свидания.

Через подземный переход я выбрался наверх, оглянулся, ища её поезд. Однако на путях стояло несколько одинаково пыльно-зелёных, поди угадай, в каком ехал. Я постоял, махнул вслед первому отошедшему. Узнал, что мне отправляться ещё не скоро, отыскал в боковом крыле вокзала кафе, устроился возле окна. Выпил, не спеша, фужер красного вина, заедая конфеткой, огляделся. Вокзальная суeta нравилась ещё со студенческих времён и подняла настроение. Я прикончил и вторую порцию. Неожданное знакомство и быстрая развязка истории увиделись занятым приключением, чуть встряхнувшим. О болезни и о том, что впереди, не думалось, как не думалось о контуре, о шефе, о маме, о Лене, о Пашке...

В тёплом вагоне я задремал. Но, едва сошёл, бодро взял курс на санаторий. И вдруг кольнуло внутри раз, потом второй, третий... Скоро я уже не мог двигаться. Постоял в надежде, что отпустит, приложил ладонь к месту язвы – обычно помогало. И еле-еле ступая, тронулся дальше. Тем временем уколы слились в единую нарастающую боль. «Неужели это конец? И напрасны потуги ума, трата сил, контур? Напрасна сама жизнь, поскольку ничего толком не сделано?..» Показался мой корпус. У самого входа во мне что-то лопнуло, будто пузырь, онемело, ноги подкосились. И, потеряв опору, я свалился наземь...



ЦВЕТЫ НАШЕЙ СТРАСТИ ЗАВЯЛИ В СТИХАХ

ЗАЩИТИ, ВСЕВЫШНИЙ, ДАГЕСТАН!

Не конец ли света в самом деле
Близится?
И страхом обуян,
Я молю в наставшем беспределе:
– Защити, Всевышний, Дагестан!

Хоть открыли двери все мечети, –
Пьем вино, пускаемся в обман.
– Отпустив нам прегрешенья эти,
Защити, Всевышний, Дагестан!

Нынче много развелось «пророков»,
Набивать гораздых свой карман.
Я молю:
– Спаси нас от пороков,
Защити, Всевышний, Дагестан!

Но, как прежде, мудрецы аула –
Старики пришли на годекан.
И кизячьим дымом потянуло...
Защити, Всевышний, Дагестан!

От людской вражды разноплеменной
Всем даруй нам верный талисман.
Пусть торопит свадьбы день
влюбленный...
Защити, Всевышний, Дагестан!

Сопредельный небу с дня творенья,
Ты во славу шамилевских ран,
Как свое прекрасное творенье,
Защити, Всевышний, Дагестан!

Перевод с аварского Я. Козловского

КОГДА ЖЕ МЫ В ГОРЫ ВЕРНЕМСЯ?

Когда же мы в горы вернемся опять,
Чтоб прошлое снова с грядущим связать?
Когда же взойдем на родные холмы,
Забыв навсегда городские шумы?

Там предков могилы и вечный покой
Навеют нам мысли о воле святой.
Там с неба на землю так горы глядят,
Как будто вернуться домой нам велят.

Когда же мы в горы вернемся опять –
О будущем думать, над прошлым рыдать?
И скалы и башен руины не раз
Отчитаться пред Богом потребуют нас.

Кинжальные тропы и скалы, и льды,
Наверное, детские помнят следы.
Там наше начало и смертный конец
Молчат, отражаясь в зеркалах небес.

Когда же мы в горы вернемся опять:
В кругу годекана пора нам познать
Высокие речи седых стариков,
Пока они живы на склоне веков.

Там дерево рода и в бурю стоит,
Там гордый орел над горами парит,
Там матери наши печально поют,
Там девушки всех нас давно уже ждут.

Когда же мы в горы вернемся опять,
Чтоб все остальное забвенью предать?..

ГОРОДСКИЕ ГОРЦЫ

Слышал: по-аварски
С пеной на губах
Говорили страстно
Люди о деньгах.

Видел я в столицах
Горцев молодых,
Что ловить умеют
Бабочек ночных.

И на свадьбе горской
Был я допоздна,
Там пандур смеялся,
Плакала зурна.

Я бродил у моря
И не знал беды.
Славной горной речки
Я искал следы.

Но от прежней славы –
Лишь песок да ил:
Речку, словно каплю,
Каспий поглотил.

Перевод В. Бояринова

ПРИВЕТ, ГОРЯНКА

Привет, горянка! Поздно ты
Проснулась вновь по той причине,
Что городской прослыла ныне
Вдали небесной высоты.

Сидеть подолгу всякий раз
Ты перед зеркалом готова,
И тени наводить не ново
Тебе вокруг разбойных глаз.

И не от вишен у тебя
Теперь бывают губы алы.
Живешь, компании любя,
Где допоздна звенят бокалы.

Там ловят твой зазывный смех
И штатские, и офицеры.
Менялись часто кавалеры,
И вряд ли вспомнить можешь всех.

Ах, если б смиловался Бог,
Чтоб хоть во сне ты услышала
Однажды материнский вздох
И скрип арбы у перевала.

И воркованье родника
Перед склонившимся кувшином,
И плеск парного молока,
И крик побудки петушиной.

В ауле б сделался твой сон
Медовым, чаянью попутным.
– Вставай, горянка!
С добрым утром! –
Шепчу, печалью умудрен.

С перелетной долей споря,
Совершая долгий путь,
Птицы белые на море
Опустились отдохнуть.

Ждут закаты и восходы
Перелетных впереди,
А пока – морские воды
Прижимают их к груди.

Словно белые фрегаты
Опустили паруса.
Ждут восходы и закаты,
Ждут их завтра небеса.

А пока волна морская,
Как царица из цариц,
До утра не отпуская,
Будет нежить белых птиц.

Я следы свои оставил
На песке, где ночью был:
Оглянулся – след растаял,
Оглянулся – след простыл.

Стихло море. Лишь забвенье –
Позади и впереди,
Лишь одно мое волненье
Бьется птицею в груди.

Лишь одна душа живая
Сможет мне еще помочь,
Воскресить следы желая, –
Успокоить в эту ночь.

Лишь одна на свете белом
Эта чистая душа
Явится в порыве смелом,
На следы мои дыша.

Лишь одна – и не иная –
Словно птица с высоты:
Это ты, моя родная,
Это ты! Конечно, ты!

«Хорошо с тобой!» – сказала,
Пусть прошло немало лет,
Все случалось, все бывало, –
Нас хранил небесный свет.

Ты не гасни, свет небесный,
Ты гори в моей груди,
Ты храни меня над бездной,
Ты свети! Свети... Свети!

«Хорошо с тобой!» – сказала,
Словно выдохнула, ты.
И душа крылатой стала,
И запела с высоты.

Не смолкай, напев небесный,
Ты храни меня в пути,
Ты пари, пари над бездной,
Ты лети! Лети... Лети!

– Хорошо с тобой! – сказала.
Стала лучше, чем была...
Это ты меня спасала.
И спасла! Спасла... Спасла!

Перевод В. Бояринова

Не околдован я, поверьте,
Твоею дивной красотой,
Хотя, признаюсь, память сердца
Меня тянула за тобой.

Я лишь того всю жизнь боялся,
Чтоб у чужих ночных огней
Не потускнел, не потерялся
Небесный свет твоих очей.

Перевод В. Артемова

Закружила пурга ледяная,
Остудила прощальную боль,
Я тебе благодарен, родная.
Ты прекрасно сыграла любовь.

Как мы верно и чисто любили,
Не бывает любви горячей!
Мы с тобой постигали в печали
Тайну звездную южных ночей.

Все слова мы друг другу сказали,
И теперь, мою кровь леденя,
Сизый ветер твоими глазами
С укоризной глядит на меня.

Снег и скрипит, и стонет под ногами,
А дом далек – и так за годом год, –
Вершины лет занесены снегами,
И в неизвестность белый конь несет.

Снег и скрипит, и стонет под ногами.
Опять в пути встречаю я зарю.
Еще вчера беспечен был с друзьями,
А нынче все о сыне говорю.

Снег и скрипит, и стонет под ногами.
Но лишь вчера он под стопой запел:
Я проходил твоими берегами
И сердцем к ним навеки прикипел.

Снег и скрипит, и стонет под ногами.
Я в памяти ту встречу берегу –
И мысли возвращаются кругами
В родной аул, к родному очагу.

Снег и скрипит, и стонет под ногами.
Я счастлив, что на жизненном пиру
Не позабыт друзьями и врагами,
Любим тобой. И с этим я умру.

Перевод В. Бояринова

Признание в любви — как печать на устах,
Цветы нашей страсти завяли в стихах.
Тебя, проклиная, забыть не могу,
А наши дороги навстречу бегут.

Судьба говорит: ты осталась одна.
Любимая, где ты?.. В ответ тишина.
Лишь память меня согревает порой,
И холодом веет дыхание другой.

Перевод Ю. Кузнецова



НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

- *Клименко Светлана. Бессонные окна. Избранное (стихи, поэмы разных лет). РИА на КМВ, Пятигорск, 2012.*

И НАДПИСЬ О ЛЮБВИ ИСЧЕЗЛА...

РАССКАЗ

Памяти Ч. С.

Когда ты молод, жизнь видится необычайно светлой. Записав эту мысль, я остановился. До чего же знакомые слова, столько людей до меня их произнесло! Не знаю, как у них, а вот перед моими глазами предстали самые разные картины, зазвучали многие голоса, потянуло приятными запахами, в душе защемила сладость тех лет. Тогда, даже если ничего особенного не происходило, хватало того, что ты сам, все вокруг и весь мир были окрашены в сочно-зеленый цвет, полны солнечного света, и над всей этой бескрайностью простирался ярко-голубой небосвод.

Умом ты понимал, что все исчезнет так же, как опадает белый цвет с деревьев по весне. Поэтому надо успеть почувствовать вкус этой жизни, чтобы потом не терзать себя сожалениями о напрасно потраченном времени.

Однако, как ни старался, попытки сохранить в душе ощущение молодости оказались тщетными, как будто ты набирал воду в сито.

Проблемы, накапливаясь день ото дня, притупляют сознание, ослабляют внутреннюю зоркость, и постепенно видение мира становится мрачным, наконец, вся жизнь затягивается паутиной обязанностей.

Кто-то смиренно остается в ней; иные в стремлении разорвать ее спутавшиеся нити забывают картинки юности, которые, тускнея, в конце концов, пропадают вовсе, словно их и не было.

Но не все поддаются этой паутине, не все расстаются с мироощущением, свойственным молодости, не все забывают о своих надеждах и ожиданиях. Они до конца борются с судьбой, хотя этот спор с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее.

С одним из таких неугомонных я познакомился три года назад.

Небеса разламывались и падали, земля, сотрясаясь, проваливалась в бездну, и, пытаясь найти приют для душ, за которые ответственны перед Всевышним (не в состоянии думать ни о чем другом, все свои силы в молодости тратишь на этот удивительно светлый мир, где же их взять, чтобы отложить на черный день?), кружась и не находя себе места, содрогаясь от жестоких ухмылок одних и искренней жалости других, ты, наконец, добрался до черкесской земли, где он и подошел к тебе.

— Приятель, как ты здесь оказался?

— Разве мы знакомы?

— Хоть мы и не знакомы лично, я знаю, кто ты. Как поживаешь?

Очередной болтун, думает, если его дела в порядке, у всех так (как в той поговорке говорится: «Сытому – весь свет сыт, голодному – весь голоден?»), да, точно, из таких, видел, наверное, меня по телевизору или слышал по радио, может, был на моем спектакле, не верится, что он прочитал что-то из моих книг, мало кто сейчас читает на чеченском языке... Кто бы он ни был, мне некогда тратить время на пустые беседы... Надо найти жилье по карману и разместить семью, за эти два с половиной года, что мы бродим, покинув родной дом, это будет уже пятнадцатый адрес... Четырнадцать из них сменили на земле наших братьев, сюда приехал в надежде на лучшее – может, получится на одном месте прожить хотя бы год, и никто не будет терзать, выгоняя посреди окрепших морозов из дома.

– Хорошо живу... Слава Аллаху, – стремление быстро избавиться от него переливается в моей душе через край.

Но он крепко держит мою руку, останавливая взглядом:

– Приятель, так не пойдет. В твоих глазах печаль. Я не прошу, если не поделишься со мной...

– Что ты, Сулейман (кажется, так ты себя назвал?), каким еще может быть взгляд беженца, лишившегося дома, родной земли, блуждающего по чужбине...

– Это общее горе... Оставь его и расскажи, что конкретно гложет тебя сейчас... Наверное, думаешь, чеченские парни, ослабев под грузом проблем, исчезли... Это не так!.. Расскажи, какая твоя главная забота, я ее прогоню, как ветер разгоняет тучи на небесах... – похоже, он читал чеченские илли¹.

Я делюсь с ним своей проблемой.

– Для тебя у меня найдется жилье. Купил две квартиры на одном этаже – вдруг понадобятся... В одной сам живу с новой семьей, созданной три года назад... Есть у меня и взрослые дети, кто-то из них дома, в селе... Другие устроились в разных городах... В общем, вторая квартира пустует, вселяйся... Она твоя. И не на время, а навсегда... Я тебе ее продаю. Назови цену, говоришь... Вот моя цена... Мало, думаешь? Тем не менее, это моя цена. Когда будут деньги, отдашь. Мне сопутствует удача в бизнесе... Не так уж это и важно: сегодня достаток есть, завтра – нет... Как вода, утекает порой... А важно то, что делаешь ты и такие, как ты... У написанного тобой благородного чеченского слова есть будущее, это слово нужно и нам, и последующим поколениям...

Уже около года, как мы расстались навсегда, но не проходит и дня, чтобы я не вспоминал его, особенно по дороге из Грозного в Нальчик. Часто на его машине проделывали мы этот путь туда и обратно.

И сейчас на этой дороге или, увидев дом, где мы жили; неспешно считая ногами ступеньки лестницы, поднимаясь на третий этаж; видя дверь их квартиры; слышав за этой дверью голос дважды вдовы; заметив грустные глаза его сына (отец дал ему большое имя – Сайд-Хусейн, и двух лет мальчику не было, когда стал сиротой), и, наконец, зайдя к себе, принимая от бегущих навстречу и обнимающих меня детей приветствие: «Дада², ты вернулся!» – к горлу подступает горько-сладкий ком, затем от переизбытка этот горький мед

¹ Илли – эпическая песня.

² Дада – так чеченские дети называют отца.

сгущается, застывает в воск, дыхание перехватывает, и из глаз текут слезы. Стыдясь детей, быстро захожу в комнату, чтобы они не заметили моих слез. Нельзя, чтобы дети их видели, для них отец – гора, твердая, как камень, которая в силах защитить от любой непогоды: от всех ветров и дождей. Не дай Всевышний пробить брешь в этой их уверенности днями сомнений!

Как сказал сам Сулейман, ему потворствовала удача в делах коммерции. Любые его начинания оборачивались в его пользу, а потому к нему тянулись разные люди, которые тоже хотели начать свой бизнес. Он их не отталкивал, помогал, чем мог, но мало кто из них становился ему товарищем. Некоторые, считая его помощь недостаточной, уходили сами, другие проявляли себя с неожиданно неприглядной стороны – пытались на мелочи или, если удастся, по-крупному обмануть – с такими он расставался сам. Тот, кто считает, что вся жизнь сложится счастливо, только поймай удачу за хвост, – глубоко заблуждается. Эта мысль зародилась в нем десять лет назад, когда он стал получать высокую прибыль. Правда, деньги доставались ему нелегко, приходилось трудиться день и ночь. И он трудился, не ленился. Сегодня – в Грозном, завтра – в Москве, послезавтра – в Самаре, потом – опять дома, затем – снова в пути...

Когда чувствовал усталость, сердце не позволяло остановиться и отдохнуть надолго, его звали новые горизонты. Однако полноценной радости жизни деньги не приносили. Ни на минуту не забывая о том, что когда-нибудь придется предстать перед Всевышним, Сулейман старался исполнять своевременно свой долг перед ним, ему и в голову не приходило искать какие-то нечестные пути, он сторонился людей, которые стремились к этому.

Но душа была не на месте, когда вспоминал, каким было самоощущение в юности; мысль, что это не повторится никогда, что напрасны были ожидания, мечты, а время его тает, и он может так и уйти, не успев достичь этой вершины, селила страх в его сердце... И все было против этих надежд, железным занавесом свалились на него каждодневно растущие заботы; две войны – последняя вдвое более жестокая – принесли с собой новые печали, слезы, кровь, несправедливость; они гасили огонь, горящий в душе, и, не желая с ним расстаться навсегда, он своими мыслями заключил его в тройное кольцо, защищая от жизненных бурь... Но оберегать огонь только своими мыслями долго он не мог – ему уже пятьдесят; правда, чем сложнее были жизненные обстоятельства, тем сильнее было желание осуществить свои надежды. Но для этого нужен был другой человек... Сейчас, сегодня. И Сулейман – слава Всевышнему! – нашел этого человека в разрушенном войной, разоренном, покрытом копотью так, что не разобрать, день на дворе или ночь, – Грозном.

Имя ее Лейла. Одно звучание этого имени какое-то светлое, приятное сердцу. И сама она излучала на окружающих этот живительный свет.

Он спросил, что она делает в этом искаленном, черном от дыма пожарищ городе; если ищет прошлое – напрасный труд, только сожаления, боль здесь можно найти, следы жестокости; при виде Грозного воспоминания о прошлом не возникают, не то, что не возникают, но и сохранившиеся в памяти разрушаются, оставляя в душе только зияющую пустоту; прошедшее надо вспоминать в другом месте, где нет войны, где растут деревья, благоухают цветы, – там легко встанут перед тобой счастливые картины тех лет.

Она слабо улыбнулась: «Раньше была такой, обманывалась воспоминаниями, сейчас я не ишу ушедшее. Самообман прошел в первую войну, когда погиб муж. Это случилось в самом начале войны, он попал под бомбежку (из сгоревших около парка тринадцати машин одна, светло-голубая «Лада», была его... после-то они все стали одного цвета)... да, мощной взрывной волной его выбросило из машины, поэтому тело не сгорело; увезла своих четверых детей-подростков далеко отсюда и старалась вырастить их вне ужасов этой земли, чтобы они не видели их... А в город приехала, чтобы проверить сохранность дома — когда-нибудь, когда прекратится эта напасть, он может понадобиться детям. Но на месте дома — глубокая воронка. Видимо, очень тяжелая бомба попала в него...» Бомбы никак не прекратят преследовать ее семью. Завтра-послезавтра, проведав родственников, она уедет к семье, правда, там нет работы, оставив детей в безопасности — они взрослые, младшему — 10 лет, самостоятельные уже... Да, оставив их там, устроиться бы здесь на работу, если бы знать, что на этом все закончится...

Сулейман слушал ее тихо льющий голос, похожий на дождь из его детства — до того, как увидеть, сначала слышался стук по крыше маленького дома; мальчуган, десяти-одиннадцати лет, он побежал под этим дождем на край села и, когда после засияло солнышко, лежал, повесив мокрую одежду, на берегу горного ручья до тех пор, пока его мутные потоки не светлели; так сидел, пока последние лучи заходящего солнца не падали сначала на ручей, потом на окраину села и, наконец, на вершину горы; затем пошел домой, вслушиваясь в гомон завершающих свои дела сельчан, под черно-синим покрывалом неба, усеянным сверкающими звездами... Таким же бывает весной зеленый луг, усыпанный яркими цветами.

Как этот солнечный дождь, лились на него слова Лейлы, он не задумывался над их смыслом, лишь их мелодия слышалась ему. Они вызывали в сердце ощущения, испытанные когда-то, рождали в сознании разнообразные картины.

Сулейман не хотел, чтобы эта музыка слов исчезла, она заставила его забыть о нависшей над ним паутине проблем, обязанностей, печалей, как будто ее и нет вовсе, его мысль витала высоко, поднявшись над тучами.

Лейла была посреди этой несправедливости, обезумевших, уничтожающих друг друга людей чистым цветком, который вырос, чтобы показать, что есть другая жизнь; в ней есть силы, чтобы излечить эту истерзанную, испепеленную природу, изрыгающую черный яд, потому что она — прозрачная, чистая вода родника, пробившегося из самой сердцевины земли навстречу солнцу.

И разве была вина Сулеймана в том, что он хотел как можно дольше задержаться под этим дождем, в водах этого родника?..

Это же то, что он искал столько лет! Всевышний помог ему, но, если он, как бывало не раз, смалодушничает или будет в нерешительности стоять в стороне, удача тут же улетучится, и неизвестно, предоставит ли судьба еще один шанс.

Сулейман опять вступил в разговор, все надежды, чаяния, мечты, скопившиеся в нем за последние тридцать лет, светлые мысли, томления души ниспадали сейчас водопадом.

Лейла удивленно смотрела на него, где-то далеко, в глубине ее потускневших пять лет назад глаз, зажглись маленькие огоньки.

Когда Сулейман замолк, чтобы собраться с мыслями, Лейла сказала:

– Странный ты человек. Вряд ли ты житель планеты Земля, никогда не встречала людей, ведущих такие разговоры, особенно в таком возрасте.

Время... эх, время! А вот желания человеческие с ним не считаются. И время медленно, бесшумно уходит, и дом твоей души ветшает, изнашивается... но сама душа остается прежней... Сердце тоже... Неужели я так опоздал?

Лейла почувствовала, что сказанное ею задело его: «Я-то свой возраст имела в виду, подобные слова и мысли давно жили во мне, а душа познала счастье с другим, и все это было уничтожено пять лет назад; так много красивых девушек вокруг, с какой бы из них ты ни поделился своими переживаниями, ее сердце, даже если оно каменное, не может не растаять...»

В тот день Лейла попрощалась с ним, сказав, что опаздывает по своим делам. Но спустя два дня они снова встретились.

Сулейману казалось, что они не расставались, потому что мысли о Лейле ни на секунду не прервались ни наяву, ни во сне – эти мысли, став ночными видениями, не покидали его.

Было ощущение, что время повернуло вспять, на тридцать лет назад; как тогда был светел его взгляд на жизнь, несмотря на послевоенную разруху вокруг и обездоленных людей. Он знал, что это восприятие мира исчезнет, оно не имеет будущего, поэтому нужно успеть получить блага для своей души, которыми наделил его Всевышний, ведь они тоже быстротечны. Встречаясь, он снова и снова рассказывал о своих надеждах, раздумьях, мечтах, и, хотя говорил всегда об одном и том же, каждый раз Сулейман находил все новые и новые краски – как отличен рассвет сегодняшний от вчерашнего, так и его разговоры не были похожи один на другой.

Лейла всегда слушала, улыбаясь, воспринимая его слова как песню, удивительным образом прорвавшуюся к ней из ушедшей навсегда мирной жизни.

То, о чем он говорил, – их соединение – она считала невозможным, но все же было приятно слушать эту мелодию, льющуюся из небесных глубин.

Однако он, этот гость из других миров, и не думал оставлять все, как есть. Когда она просила – подождем, вот закончится война, разрешатся все проблемы, вызванные ею, тогда и посмотрим, Сулейман отвечал: живи долго, родная, но мы не знаем, сколько нам отпущено Всевышним, поэтому нельзя хорошие дела отодвигать до завтра; у меня взрослые дети, у тебя взрослые – мы не знаем, как они отнесутся к этому; если они настоящие люди, станут друг другу братьями и сестрами; у тебя есть жена, я не хочу разбивать ее сердце, зная вкус разбитого сердца; почему ее сердце должно разбиться, если я буду счастлив; не она первая, многих женщин постигла ее участь; неужели обязательно жениться на вдове с детьми, когда вокруг так много красивых девушек; я не ищу развлечений с молоденькими красавицами, мне нужно иное; люди нас осудят; что людская молва, если Бог позволяет?..

Не было довода, чтобы противопоставить его Сулейману, он легко крушил самый, казалось бы, неопровержимый аргумент.

Потом Лейла назвала самую вескую, как она считала, причину: любовь спустя год или два гаснет, так страстно любившие друг друга, пресытившись,

становятся врагами и расстаются; к чему увеличивать зло и вражду на истерзанной и без того земле, лучше остаться хорошими знакомыми, которые, встретившись, спрашивают друг друга о здоровье, делах...

Нет, ни в коем случае, во-первых, не всякая любовь исчезает, сгорев дотла, я видел людей, которые до самой смерти были нужны друг другу; во-вторых, то, что я обрел сейчас, – итог моих тридцатилетних исканий и ожиданий; не думаю, что осталось время, забросив найденное, искать что-то другое; огонь, загоревшийся в моем сердце, никогда не погаснет, сколько бы мне ни было отведено, – я себя хорошо знаю.

Тогда Лейла не обратила внимания на эти слова; спустя пять лет, которые прожили вместе (точнее, кипели энергией жизни или горели, как яркий огонь), в начале шестого, когда внезапная тяжелая болезнь уничтожила его, она часто вспоминала их – видимо, душа что-то подсказывала ему.

А сейчас они шли по бывшему скверу Дружбы народов мимо памятника трем героям гражданской войны (некоторые говорят «трем дуракам»), от которого осталось лишь мощное тело, рядом с ним примостился российский блокпост, окружив большую часть площади колючей проволокой. Сзади, на постаменте, огромными буквами чумазый солдат что-то писал белой краской. Думая, что же за дорогие письма он выводит, стояли эти двое в ожидании, когда он закончит...

«Люба, я тебя люблю! Вова», – было написано им.

– Боже мой, несчастный оттого, что здесь сделал эту надпись. Как об этом узнает Люба в затерянном в снегу российском хуторе? – сказала Лейла.

Сулейман поддержал солдата:

– Хоть она и не видит, своему-то сердцу он сделал подарок.

– Видимо, он очень любит эту девушку, – заметила Лейла.

– Не думаю, что его любовь больше, чем моя, – улыбнулся Сулейман.

– Кто знает, кто из вас больше ненормален?..

– Скоро ты это узнаешь, – что-то пришло ему на ум, Сулейман опять улыбнулся.

Что он имел в виду, Лейла узнала спустя два дня, проходя мимо памятника и бросив взгляд на надпись. Надпись изменилась: «Лейла, я тебя люблю. С.» Свое имя он не написал полностью. Лицо Лейлы запылало, словно весь мир узнал об их отношениях. Потом подумала, кто знает, что речь идет о ней, – Лейл много, кто подумает о ней, вдове с четырьмя детьми? Одновременно с этой мыслью к Лейле пришло осознание того, что больше нет сил, чтобы противиться Сулейману, и их союз предопределен свыше.

Когда они стали одной семьей, Лейла часто спрашивала:

– Сулейман, как тебе удалось сделать эту надпись, ведь на блокпосту столько вооруженных солдат, а вокруг – колючая проволока?..

– Как только я заглянул в глаза часовым, они упали мертвым сном, когда же пристально посмотрел на проволоку, она расплавилась... Так силен был огонь любви, горящий в моем зоре, – смеялся Сулейман.

Отшучиваясь таким образом, Сулейман оставил без ответа попытки Лейлы понять, как это произошло. Он был опытным следопытом в лесу людских взаимоотношений. Если рассказать все, как было, неизвестно, какие мысли зародятся в ее голове. Эту надпись солдат сам изменил да еще и спасибо

● И НАДПИСЬ О ЛЮБВИ ИСЧЕЗЛА ...
● МУСА АХМАДОВ

сказал – за пятьсот рублей. Но если сказать правду, Лейла может усомниться во всем, что он делает ради нее. Например, возвращаясь домой из Москвы самолетом (поездом он никогда не ездил – не хватало терпения, и как можно тратить столько времени напрасно?), он привозил цветы. В большинстве случаев цветы держали в руках встречающие, он один спускался по трапу с огромным букетом разноцветных роз.

Лейла только раз приехала в аэропорт: тогда впервые Сулейман подарил ей букет роз. Лейле казалось, что весь мир смотрит на них, чувство радости затмило чувство стыда. Засмутившись, она огляделась.

Нет-нет, никому не было до них никакого дела. Это ж не Чечня, это было другое место, где люди несколько отличались от чеченцев: чужие отношения, жизнь их мало интересовала, каждый торопился по своим делам.

«Тот тоже был ко мне добр, как и Сулейман. Когда Бог дает мне что-то, он дает мне все, забирает – тоже все», – мелькнуло в голове. Лейла испугалась: неужели опять все потеряю? Глаза ее увлажнились. Через несколько лет она скажет себе: «Эта мысль была предупреждением высших сил, как бы подготовкой к нашему расставанию».

– Что ты так растерялась? – смеялся Сулейман. – Что может быть лучшим подарком, чем цветы? Бог не запрещает делать друг другу приятное, напротив, любит это.

Хоть он и был прав, больше Лейла его не встречала, поэтому Сулейман привозил цветы из столицы России прямо домой.

Как-то я столкнулся с Сулейманом, стоящим с букетом цветов у своей двери.

– Приятель, как ты находишь мое ухаживание за хозяйкой очага – цветы привожу аж из самой Москвы? – широко улыбнулся он.

Открывшая в этот момент дверь Лейла стояла в растерянности.

– Сулейман, ты прекрасно ухаживаешь за своей женой, но, пожалуйста, не делай это достоянием «широкой общественности». А то и другим захочется, чтобы их так же уважили... – пошутил я.

– Надо уважить!

– Не у всех такие возможности, как у тебя...

– У любого есть возможность сделать приятное человеку, – не отступал Сулейман.

Да, сердце ему как будто что-то подсказывало – он спешил творить добро, познать радость жизни. Работал днем и ночью, но, как только выдавалось свободное время, отправлялся с женой в лес, в горы, к теплым источникам или к морю.

Как-то я повстречался с ними перед нашим домом, когда они в очередной раз возвращались с моря. Увидев их загорелую кожу, сразу можно было понять, где они были.

После взаимных приветствий Лейла вошла в дом, а Сулейман задержался со мной.

– Почему бы и тебе не отправиться к морю... с семьей... море лечебно... Если дело в деньгах, я помогу... Чеченцы не умеют ни отдыхать, ни беречь свое здоровье. Неужели кусочек всех земных благ не должен достаться и нам? У нас обязательно – проблемы, войны, переживания, а море, радости жизни – другим... я с этим не согласен, – делился Сулейман.

Через год Сулейман и Лейла получили помощника, чтобы вместе познавать земные блага. Этому маленькому человечку с таким большим именем не было и года, когда он отправился со своими родителями в путешествие. Видевшие его удивлялись сходству с отцом и недетскому, глубокому, осмысленному взгляду черных глаз.

В один из жарких летних дней, после заката солнца все трое бежали к машине.

– Вы куда?

– Недалеко от города, на окраине одного балкарского села есть поросшая лесом местность. Прорезая ее, там течет прозрачная речка... ночью она особенно красива, в ней играют тени деревьев и, мерцая, переливаются звездочки... А сегодня вода будет еще краше в сиянии полной луны... Хочу, чтобы босиком по этой светлой воде прошелся молодой джигит. Знаешь, какой она будет прозрачной и светлой, посреди ночи можно увидеть плавающих в ней рыб! Поехали с нами, зови детей... Не поедешь? Почему?

Ну, живи... – он побежал дальше.

Он всегда был таким – на бегу, на бегу... Я понимал его: он пытался выбраться из-под сети забот, печалей. С появлением новой семьи радостное восприятие жизни возросло, но одновременно разрослись и накрывшие его сети печалей, и самая тяжелая из них сплетена из паутины людской зависти и ненависти. И все же у меня не было сомнений, что он выйдет победителем, благодаря своим добросердечию, щедрости и любви к жизни.

Эх, мир! Сколько неожиданностей преподносишь ты! Так случилось и с Сулейманом: его старшего сына забрали... Почему?! Когда солдаты накнулись на односельчанина, которого он подвозил на машине, парень не остался в стороне. Эх, чеченская честь! Разве кто-нибудь поставил бы ему в вину, если бы он не вмешался в заведомо проигранный спор? Тому не смог помочь и сам оказался в плену. Но в такие тяжелые моменты, опережая, не позволяют все обдумать и взвесить мужество и удачу, которые с кровью достались от далеких предков.

Я повстречал Сулеймана, занятого поисками бесследно исчезнувшего сына, спустя месяц. Он был словно камень, брошенный в воду, хоть и старался улыбаться, казаться неунывающим, стиснув все свое горе комком в душе.

И сейчас, когда его уже нет в живых, вспоминая, каким был Сулейман в то время, я представляю морскую волну, неистово бьющуюся о берег. Это была волна, которая билась о многочисленные сердца начальников, но их сердца оставались равнодушными льдинками. Просьбы, ссылки на законы, деньги, невиновность юноши... – ничто не смягчило эти холодные камни. Он ощущал себя соломинкой перед этой несправедливостью, которая была огромней, чем мир. И собственное бессилие, невозможность помочь ребенку, попавшему в беду, были для сердца его гнетом большим, чем этот мир. Терпя это, сглотнув горький ком, вечером нужно было возвращаться домой, без сна маяться ночью в беспокойстве за сына. Бесследное исчезновение человека – это же большое несчастье. Хоть бы тело отдали, чтобы похоронить. Мысль уже до этого дошла. И висевшие до сих пор над ним сети печали, зависти, свернувшись в один сгусток боли, сжавшись, проникли в его тело; потом, когда Сулейман, терпя тяжесть сказанных кем-то в его адрес слов: «Если бы это был сын, рожденный новой женой, нашел бы», – еле переносил долгую

● И НАДПИСЬ О ЛЮБВИ ИСЧЕЗЛА ...
● МУСА АХМАДОВ

зимнюю ночь, в его утробе лопнул этот сгусток, зацепив когтями тяжелой неизлечимой болезни внутренности. И сети зависти, ненависти, переживаний раскинулись по его чреву. Раньше они все сжимали ему, теперь же собственное тело стало для него тесным. Терпеть это было очень тяжело.

Эх! Как это несправедливо! Ох! Как же это жестоко! Неужели люди не знают, что каждый ребенок отцу одинаково дорог?! Тем, у кого есть семьи, это ведь должно быть известно... Все равно говорят... Есть, оказывается, в мире люди, которым приятно заставлять других страдать!

Пять месяцев спорил он с болезнью. Несколько раз ездил на лечение в самый крупный кавказский город.

– Все во власти Бога, сделанное им – к лучшему... Как много чеченцев больны этой страшной болезнью. Это, оказывается, болезнь чеченцев, она, говорят, от переживаний. А знаешь, сколько людей не могут себе позволить лечение из-за денег? А у меня они есть – это для меня как кость в горле, – глаза его увлажнились.

Идущего тяжелой дорогой навстречу своей смерти Всевышний щедро одарил милосердием и стойкостью настолько, что он мог думать о других.

Человек не знает, где обитала его душа до того, как он появился на свет... С леденящим криком приходит он в незнакомый мир, не в силах противостоять чему-либо, нуждаясь в заботе всех. Он и находит ее, обретает любовь. Потакая всем его желаниям, мать и отец растят дитя.

Точно также никто не знает, что его ожидает за чертой смерти. Значит, жизнь – это середина двух неизвестностей. Сколько бы ни было человеку отпущено, как же все-таки коротка эта середина! Что же находится за гранью небытия? Живущий не вправе знать это. Как мало знают живые о смерти! «Любая душа должна пережить смерть», – вспоминаю слова одного алима. Когда кто-то умирает (особенно молодой), мы страдаем, сердца и глаза плачут; как будто он ушел, оставив нас навсегда на этой земле, остается скорбь, мы жалеем его. Но если подумать, жалеть надо себя и плакать о себе. Он ушел не вместо тебя, а в свою очередь. Он перенес отпущенное ему испытание. А тебе это только предстоит, и никто тебя от этого не избавит, пока сам не попытаешь.

Что же говорится в чеченской народной поэзии об этом? Листаю ее страницы. В назмах³, в основном, описывается, как тяжела смерть или звучат жалобы («как быть, как быть, о смерть, с тобою?»). В илли упоминается, что молодец всегда встречает смерть достойно, не тушует перед ней. А в чем же смысл смерти, чем она является по своей сути – об этом ничего не говорится. В переведенном на русский язык узаме⁴ я прочитал такие строки:

*Холодна ты, смерть, даже смерть храбреца,
Но я был властелином твоим до конца...*

Как ни пытался, не удалось найти оригинальный текст этой песни на чеченском языке. Если он все же есть, кажется, илланча⁵ пытался себя обмануть,

³ Назмы – песни духовного содержания.

⁴ Узам – лиро-эпический жанр чеченской народной поэзии.

⁵ Илланча – исполнитель народных песен.

желая хотя бы на время забыть о смерти (ведь на самом деле считать себя властелином смерти – большая глупость). Эта же жажда самообмана звучит и в строках одного чеченского поэта: «Не стоит смерти бояться: пока ты есть – ее нет; когда она приходит – нет тебя». Хотя он и говорит так, я вижу большой страх, маскирующийся под этими словами; вводя себя таким образом в осознанное заблуждение, он хочет хоть на время, на миг забыть о гложущем его страхе. Человеческий ум не в состоянии осмыслить смерть. Единственное, что мы можем, – искать утешение в вере, смириться.

За неделю до смерти Сулейман подозвал жену:

– Лейла, опять ты остаешься одна. Еще одного сироту добавил я тебе. Прости. Как бы там ни было, наш союз не напрасен. Я действительно был счастлив эти шесть лет.

Потом...

Потом, ударившись о гребень стальной волны, морская волна, собрав новые силы, разбежавшись, чтобы броситься вперед, внезапно ослабев, разлилась без сил...

По прозрачной горной воде, в которой отражаются звезды, идет ребенок, делающий первые шаги в жизни; мужчина, которого он держит за руку, внезапно исчез, и мальчик остался один в темной ночи...

Надпись на сером камне в Грозном стерлась... Исчезла.

Рассыпавшись по небу, разлетелся разноцветный букет...

Это случилось в один из дней, когда от несусветной жары у людей плавись мозги, в середине июля... Се ля ви.

Перевод Л. Довлеткиреевой



НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

- **Мосиенко Александр.** Собрание сочинений в трех томах. Драматические произведения. Очерки. Статьи. Эссе. Издательство ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет». Пятигорск, 2011.

ЗИМОЙ НЕ БОЙСЯ ХОЛОДОВ

* *
*

Из вишни как-то косточка упала
И проросла у дома за порогом,
Где прижилась назло моим тревогам, –
Роскошною, тенистой вишней стала.

И морозящим дням не покоряясь,
Цвела в соседстве с яблоневым садом.
Ей с ним хотелось оказаться рядом,
К забору все тянулась, прижимаясь.

И я, как вишня та, – с душой не сладить.
Так, вместо журавля поймав синицу,
Вдруг вырвала ненужную страницу
То ли из жизни, то ли из тетради...

2002 г.

ГРИБНАЯ БАБУШКИНА ГЛУШЬ...

Изразцовая печь и резное оконце,
У божницы в углу в рамке Божия мать.
По утрам забегает умытое солнце
С одеялом лоскутным моим поиграть.

За оконцем плывет деревенское лето,
Тонет небо в пахучей степной красоте.
Что за прелесть и легкость в неспешности этой,
В тихой скромности быта, святой суете.

А душе для покоя всего-то и надо:
Чтобы эта деревня вовеки жила,
Да божница в углу бы подольше была,
Да не связли б до срока цветы палисада...

2011 г.

КЛИМЕНКО Светлана Ильинична, автор восьми поэтических сборников, с 2004 года руководитель литературного объединения «Эолова арфа» при газете «Пятигорская правда».

АНТИМИРЫ

Мы давно живем в антимирах
На изломе ценностей и судеб,
Разные непримиримо люди
В суете и вере, и делах.

Разные, как небо и земля:
Судьи в нас и жертвы фарисейства.
Очевидцы срама и злодейства,
Чем же мы засеяли поля?

Всходы тех полей пугают нас:
Перестало быть святое святым.
Кто живет в бесчестье сверхбогатым, —
Не стыдится больше божьих глаз.

Мы давно живем в антимирах.

2004 г.

ОСЕННЕЕ

Металось утро по моей квартире
В преддверии рождавшегося дня.
И не было, казалось, в целом мире,
Наверное, бессоннее меня.

Озвучивала утро электричка,
Округу о себе оповестив.
И петухов горластых перекличку
Перебивал гудка ее мотив.

А у забора вновь зорюют вишни,
И осень робко входит в жизнь мою.
И я поникшей вишнею стою,
Влюбленной в клен,
но снова третьей лишней...

2004 г.

ЖИТЬ ПО-РУССКИ

Где даже соловьи поют по-русски
И так по-русски травы шелестят,
Где в драке пьяной в переулке узком
Взметнется залихватский русский мат,

Где ненавидеть и любить вполсилы
Нельзя. Не заставляй и не проси,
Где злость хватает топоры и вилы –
И без огляда! Господи спаси!

Уж если пытки – дыба, казнь – то плаха,
А если горе – миром всем помочь.
В расход пойдет последняя рубаха,
А жаден если – то с дороги прочь!

Вот здесь я и живу и в жизнь влюбляюсь,
И за судьбы соломинку держусь.
Страдаю и люблю, грешу и каюсь,
И тем, что русская, – отчаянно горжусь.

Даны в наследство мне просторы эти
И песен нежность, что в душе ношу.
Горжусь, что лучшим языком на свете
Владею и стихи на нем пишу.

2001 г.

КРИК

Порой неслышным крик бывает –
Крик нищих рук, просящих глаз.
Но громче всех набатных фраз
Он к милосердию взывает.

Пусть и немой, но тем и жуткий,
Покоя не дающий крик.
Застенчив он и многолик.
Его почувствуй сердцем чутким.

Суметь бы все распознать
Немые, страждущие лица.
С их бедами и горем слиться,
Им посохом в пустыне стать.

И так же павшие молчат,
Хотя взывают к нашим душам.
И громко памятью кричат...
Нам научиться б только слушать.

1998 г.

ЭТО – Я

Ветер заскулил у подворотни:
– Это я к тебе издалека.
Если он опять покой твой отнял,
Значит я нужна еще пока.

Это я и в праздники, и в будни
За окном твоим прольюсь дождем
И, склоняясь мокрой веткой, буду
Вечер коротать с тобой вдвоем.

Я туманом загляну в окошко,
Примощусь рябиной под окном.
Из лесу явлюсь грибным лукошком
И в бокале заискрюсь вином.

Ждать устав, свою надежду бросив
В жаркий пляс каминного огня,
«Где же ты?» – в отчаянии спросишь. –
Знай, что где-то рядом буду я.

1979 г.

* *
*

Предаст ли друг или ограбит вор, –
А век пройдет и даже не заметит.
Течет река злодейства до сих пор
По бездорожью бед на этом свете.

Пусть был твой путь и горький, и крутой,
И не был смысл великих истин ясен.
Жизнь – это миг. У каждого он – свой,
Но как же миг тот, Господи, прекрасен!

1998 г.

* *
*

Вновь оглянусь, но лета не увижу, –
Лишь пересохший лист на тополях,
Да ветки ломкие поникших старых вишен,
Да осыпь трав, пожухлых на полях.

Уходит август, обожженный солнцем
И зноем изнывающей степи.
А жаркому светилу все неймется:
Безжалостно глаза озер слепит.

Но как-никак – конец приходит лету.
Суетам дачным, хлопотным делам.
И осени все новые приметы
Торопят к листопадам и дождям.

2004 г.

НЕЖНОСТЬ

Два таких похожих одиночества
Загрустили, нежность затая.
Ваше неженатое Высочество,
Светлость незамужняя моя.

И верны мы этой неизбежности.
А молва уже венчает нас
Нашей нецелованною нежностью
И тоской невстретившихся глаз.

Называя Вас всегда по отчеству,
И смущаюсь, и боготворю
Ваше одинокое Высочество,
Нежность запоздалую мою...

2005 г.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Я русской речью вдоволь не напьюсь.
Той чаши дивной нет конца и края.
Так пошлым словом замарать боюсь,
Изъяны и ошибки замечая.

Как жаль, что слух давно уже привык
К неграмотно-кошунственному слову.
Где гордость за великий наш язык?
Пора его очистить от пошлости,

Что выхолащивает красоту его,
Этничность, самобытность и напевность.
В нем крепнут дух народа моего
И песен русских мудрость и душевность.

Я не стою в раздумье на меже:
Какой язык любить, какому верить.
Зачем мечтать о том, что есть уже,
Зачем стучать в распахнутые двери?

2010-2012 гг.

ГОРДЫНЯ

За все непризнанные строки
Я с высоты минувших дней
Бросаю долгие упреки
Гордыне истовой моей.

За то, что многое не случилось,
Не сладилось и не сбылось,
За то, что с тем, о чем мечталось,
Так поздно встретиться пришлось.

Все тягостней моя утрата.
Свою гордыню тешу тем,
Что только я и виновата
В том, что ничья, нигде, ни с кем...

2001 г.

ПРОЩАЙТЕ ДРУГ ДРУГА

Даже если на сердце обида и вьюга,
И от слез губы сушит постылая соль,
Стиснув боль, забывайте обиды друг друга,
Даже если покажется вечною боль.

Если жало предательства лучшего друга
Вас пронзит неожиданно, остро и зло,
Если вдруг оказалась неверной подруга, —
Это просто с подругою не повезло.

Но и в омут отчаянья вы не спешите.
Постояв у обиды своей на краю,
Как икону, прощенье врагам подарите,
Очищая их души и душу свою...

1998 г.

РЯБИНА СЛАЩЕ ОТ МОРОЗА

Когда не замечать в беде
Судьба неверная устанет, –
Мир сам напросится к тебе,
Когда тебя уже не станет.

Так на земле во все века:
Мы плачем только потерявши.
А если жив еще пока, –
И друг бывает опоздавшим.

Зимой не бойся холодов –
Рябина слаще от мороза.
И покаянья чище слезы,
И легче груз твоих грехов.

2001 г.

* *
*

Сойду с ума от этого свеченья
Любимых глаз, что смотрят на меня,
От пламени зовущего огня
И нег невыносимого томленья.

Мы прячем от назойливых прохожих
Случайное прикосновение рук.
Спасенья нет от этих дивных мук,
Ни на какие муки не похожих.

Разлук неодолимые страдания...
Преодолеть их дай мне, Отче, сил.
За что такой любовью наградил,
Зачем обрек на это испытанье?

1979 -2011 гг.

* *
*

Как трудно сверху вниз лететь –
И не разбиться... Еще труднее не запеть
Поющей птице.

Как сладко чувствовать весны
Прикосновение,
Что так мои тревожит сны
Любви волненьем.

Неугомонную опять
Стихами гложет.
Устанет сердце рифмовать –
Душа поможет...

1987 – 2010 гг.

ЗНАЧИТ ВЕЧНО ЖИТЬ

*На книгу В. Перевозчикова
«Неизвестный Высоцкий»*

Травля... Гибель... Слава... Память –
Это все о нем.
В жизни надо больше падать,
Чтоб взлетать потом.

Совершенству нет предела.
Сердце, не взорвись! –
Темнота в ночи редела,
И светлела высь.

Рвался песней под гитару
Хриплый баритон.
К белой облачной отаре
Уносился стон.

Бычились натужно нервы,
Разорвав предел.
Славы у судьбины-стервы
Клянчить не хотел.

Боль – дилемма лучшей роли:
«Быть или не быть?»
Умереть от этой боли, –
Значит вечно жить!

2010 г.



ПОЛЕВОЙ ЦВЕТOK

РАССКАЗ

Заира вышла, хлопнув изо всех сил тяжелой бронированной дверью. – Теперь, пожалуй, она не вернется, – сказал Джирас, обращаясь к цветку, привезенному им с работы. – Это было единственное умное дело за всю ее жизнь – заставить меня поставить эту дверь... – ему понравилось, как громко она хлопнула.

Молодой мужчина, словно внутри что-то надломилось, бессильно раскинув руки, одним движением кинул на диван свое отяжелевшее тело. Как будто скинул с плеч невероятный груз, хотя как червяк точит, где-то в глубине не исчезает чувство беспокойства. Это не помешало ему окончательно расслабиться и задремать...

И сегодня рабочий день Джираса выдался похожим на все остальные, ничем не примечательным и скучным. Но собираясь домой, он принял неожиданное решение: забрать с собой растение.

«Нет, мы с Заирой чужие друг другу люди, – думал Джирас, поливая зеленый росточек, проклюнувшийся из засохшей земли в горшочке на подоконнике. – Мы разные, не сошлись характерами. Не маленькая зарплата и не отсутствие у меня богатого дяди послужили причиной её постоянного недовольства и озлобленности. Просто она такая. Сердце у нее холодное, в котором нет места радости...»

У полевого цветка, название которого он не удосужился узнать, Джирас ножницами осторожно срезал прошлогодние сухие и тонкие листья, уныло свисавшие с края горшочка, и бросил в корзину для мусора под рабочим столом...

Прошло более семи лет, как он женился на Заире.

С самого начала он почувствовал, что дни совместной жизни у них лишены радости, какой-никакой удовлетворенности, проходят впустую, но его долго не оставляла надежда, что в сердце жены пробудится любовь, у нее появится чувство уважения к мужу.

Однако душа Заиры так и не оттаяла, оставаясь неизменно холодной. Как бы ни старался пылкий молодой муж быть с ней нежным и предупредительным (даже посвятил ей несколько стихотворений), у них не сложились отношения, которые связывают мужчину и женщину, мужа и жену.

Первая брачная ночь... Джирас, овладев невестой, не ощутил никакой ответной тяги к себе, никакой вспыхнувшей в ней от близости страсти. Девственная

КАРДАШ Арбен – лезгинский поэт 1961 года рождения, автор более десяти книг поэзии и прозы, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Дагестан.

невеста как бы без всякого желания, с непонятной холодностью стала женщиной и женой. А Джирасу, в котором всё бурлило и пламенело, показалось, что над ним ехидно посмеялись... Но он ничем не проявил своего разочарования, к чему его обязывал жизненный опыт, опыт общения с женщинами тоже.

Он был лет на семь старше Заиры и с высоты своих лет связал поведение невесты в постели с тем, что это у нее впервые... «Не все цветы распускаются одновременно, – успокоил он себя. – У каждого цветка своя пора».

Тогда эта мысль ему понравилась, даже очень, но впоследствии, спустя годы, осознав, что обманулся, он пришел к другому выводу: цветы могут засохнуть, не распустившись, или что хуже, ты и сорняк можешь принять за цветок...

Джирас надеялся, что у них появится ребенок, и он внесет радость и оживление в их тусклую жизнь. Такую же надежду лелеяла и Заира. Но прошло несколько лет, надежда угасла, а молодая женщина превратилась в настоящую фурию. Не пошутит, не приласкает – во всем она противоречит мужу, всякое его слово выводило ее из себя. В редкие минуты прояснялось ее лицо, но как только муж, пользуясь этим, пытался прощупать дорожку к ее сердцу, она тут же возвращалась в свое обычное состояние.

Сначала Джирас решил, что дело в отсутствии у них ребенка. Возможно, в чем-то он был и прав. Когда он предложил Заире вместе пойти на обследование к врачу, она согласилась – впервые за всю их совместную жизнь. Но оказалось, что в отсутствии ребенка виновна она...

После этого она как будто решила сделать жизнь мужа просто невыносимой. Спали они в разных комнатах своей двухкомнатной квартиры, что не мешало жене на каждом шагу третировать мужа.

Он немного запоздает, принимается: «Выпил?» – и если даже не выпил, все равно устроит скандал, а когда он ляжет спать, обшарит его карманы. В выходной он соберется к друзьям, она, раскинув руки, станет в дверях: «Знаю я, куда ты спешишь! Не отпуска!» – «Хочешь, пойдем вместе!» – «Делать мне больше нечего, как смотреть на ваши пьяные рожи!» Он, делая что-то по хозяйству, о чем-то спросит, она, взглянув исподлобья, отвернется и ничего не ответит или пойдет на кухню и, нарочно шумя и что-то громко напевая (хотя совсем не умеет петь), начинает мыть посуду. Ему оставалось одно: пойти в ванную и постирать свою одежду, чтобы успокоиться...

К ним перестали ходить друзья, родственники, так как не раз становились свидетелями сцен, устраиваемых Заирой.... Опять Джирас успокаивал себя: «Хорошо, что у нас нет детей. Каково им было бы с такой матерью...»

Джирас стыдился соседей, ведь стены не могли скрывать то, что у них творилось. О том, что соседи знают о странных отношениях мужа и жены, Джирас догадывался по тому, как с ним здоровались на улице, по обычным расспросам между соседями, он даже чувствовал, что его жалеют... Он сидел в своей комнате, оцепенев, предавался мыслям, пытаясь разобраться в своих отношениях с женой, понять ее, и каждый раз он не мог в чем-либо обвинить себя. Часто приходила мысль о разводе, но Заире открыто не говорил, совесть не позволяла, он сделал ей предложение, а теперь разрушить семью ему казалось не по-мужски. Он понимал, что такой шаг спасет его от безрадостной и бесцельной жизни, но хотел, чтобы этот шаг сделала Заира, однако

она, кажется, не думала о разводе. Вот и оставалось Джирасу сидеть, оцепенев, и думать, чувствуя себя несчастным...

Ему часто вспоминались слова руководителя его учреждения Бенбеца¹. Когда в коллективе разнесся слух, что Джирас выбрал невесту и собирается ее засватать, умудренный жизнью Бенбец ему сказал: «Смотри, парень, не бери девушку из семьи, где нет отца или брата. Она не будет хорошей женой». Слова Бенбеца только рассмешили Джираса: не директор, а прямо ясновидящий – у Заиры действительно не было ни брата, ни отца. Теперь Джирасу было не смешно, прав оказался шеф...

Поздно он понял, что поспешил со свадьбой. Отец с матерью настаивали: «Сыграем свадьбу, пока бабушка живая». Его женитьба, возможно, действительно продлила жизнь бабушке: теперь она не хочет умирать, не повидав правнука... Но с другой стороны, наверное, он и сам не мог не поспешить, познакомившись с Заирой. Девушка с ладной фигуркой, с большими карими глазами, со свисающей по спине длинной черной косой приглянулась ему с первой же встречи. А ровный пробор ее прически всколыхнул его душу: он вспомнил фотографию матери в молодости с таким же пробором....

Они встретились в читальном зале библиотеки. Заира, затребовав нужную книгу, села позади Джираса. Через какое-то время она спросила у него время. Тогда он и увидел ее пробор. И впервые подумал, что ему пора жениться, ведь и родные настаивают... Он ответил, который час, и решил продолжить разговор, но Заира его не поддержала и ушла. И это Джирас оценил как одно из достоинств девушки.

И в другой раз они встретились в читальном зале. Он вежливо поздоровался и не получил ответа. «Наверное, не услышала...» Не пытался заговорить; не понимал того, что читает, в голове крутилось: «Нельзя ее упустить... Не из тех, кто ищет на стороне...» Он запомнил, когда девушка ушла в первый раз. Приблизилось то время, и он сказал: «Девушка, семь часов вечера».

Заира громко рассмеялась, обнажив красивые белые зубы. Из библиотеки они вышли вместе. Джирас узнал, что Заира оканчивает университет, и что она будет учительницей русского языка и литературы.

Остальные события промелькнули быстро.

Сыграли свадьбу. В учреждении, где он работал, пошли ему навстречу, помогли и родители – и он купил двухкомнатную секцию. Словом, новоиспеченная семья начала новую жизнь. Однако счастья в этой семье не оказалось.

На первых порах, охваченный всепоглощающей любовью, Джирас не вспоминал слова Бенбеца, не задумывался над тем, в какой же семье выросла Заира. Хотя и знал, что она живет с матерью и двумя сестрами, разведенными с мужьями. Об отношениях ее отца и матери он узнал уже после свадьбы.

Отец из-за постоянных скандалов в семье был лишен родительских прав. Детство Заиры нельзя было считать безоблачным. Она не могла забыть такую картину: за то, что мать поздоровалась с соседом, отец за волосы протащил ее по двору, потом замахнулся на нее топором. Трех- или четырехлетняя Заира вцепилась в руку отца с криком: «Отпусти маму!» Отброшенная сильной рукой, она отлетела, как мяч, и головой ударилась о стену... После того случая она возненавидела отца, даже в случайно возникающих разговорах с матерью и с сестрами никогда не называла его отцом...

¹ Бенбец (лезг.) – улитка

Если случалось, что на улице или на базаре Джирас здоровался со знакомой женщиной, Заира набрасывалась на него: «Почему ты здороваешься с ней?!» В дочери что-то проглядывалось от характера ненавистного ей отца. Задумываясь над детством Заиры, отрицательно повлиявшим на ее психику в те далекие годы, Джирас осознавал: ненависть маленькой девочки, направленная на отца, с возрастом постепенно усиливаясь, неприязнью и озлобленностью распространилась на всех мужчин. Джирас же был одним из них... Другого объяснения своим отношениям он не находил....

Скандалы в семье учащались. Последний из них возник в связи с установкой бронированной двери.

— Зачем она нам? — возразил жене Джирас. — На что воры позарятся у нас?

— Все устанавливают. Почему нам нельзя? Разве мы какие-нибудь бомжи?

— Случайно захлопнешь бронированную дверь, говорят, потом ее ни за что не откроешь.

— Другие как-то открывают, значит, и ты откроешь. Или ты не мужчина? — Заира не могла не уколоть мужа.

Джирас, привыкнув, не всегда чувствовал уколы жены. И нежелание его иметь бронированную дверь было связано не с маленькой зарплатой, да еще выплачиваемой с опозданиями, и не с обычным: «Я мужчина, я так хочу!» Он видел: в городе все кому не лень устанавливают бронированные двери, тем самым удаляются друг от друга, растет недоверие между людьми, каждый пытается укрыться в собственной скорлупе. Как все это могло ему понравиться?

Да, времена настали лихие. Люди, не сумевшие спасти державу, стремились каждый в отдельности превратить свой дом в крепость. Люди менялись на глазах: вчера были одни, сегодня стали другие. Джирас же не хотел меняться, хотел хранить верность неписанным традициям горцев, хотел защитить сами обычаи отцов. И он не понимал, как люди, поддаваясь неверию, сами могут обесценивать себя... А требование жены он все-таки выполнил, в надежде, что бронированная дверь смягчит ее, она станет добрее и ласковее, откровеннее...

Была еще одна причина, дающая повод все усиливающемуся охлаждению отношений между мужем и женой, и она скрывалась в том самом поле-вом цветке, который Джирас сегодня привез домой.

Несколько лет назад Заира увидела этот цветок у Джираса (он, конечно, понял: забежала, чтобы проверить, муж на работе или нет) .

— Что это такое? — спросила она, разглядывая длинные тонкие листья, тянущиеся вверх по оконным стеклам.

— Просто растение, — ответил Джирас.

— Не похож на домашний цветок...

— Полевой цветок, — подтвердил Джирас. — Как называется — не знаю...

Скрыл от жены, что сам придумал название для своего цветка.

— Откуда он у тебя? — спросила Заира, хотя и знала, какой последует ответ.

— Чимназ дала. Я же тебе рассказывал...

Лицо Заиры помрачнело. Джирас знал: не потому, что вспомнила о безвременной кончине Чимназ.

– Выкинь его! Принадлежавшее покойникам не держат дома.

– Это подарок, – возразил Джирас. – Она подарила, когда была еще живая.

Заира ушла обиженная. И дома не заговорила с мужем. «Хорошо, что обошлось без скандала», – Джирас успокоился.

С цветком и Чимназ связана отдельная история. Что-то Заира знала из этой истории, но не все. Все знал Джирас и хранил то, что знал, в глубинах своего сердца, окутав чувством нежности и уважения. Вот отчего порой казалось, что сердце у него болит, и он испытывал вину перед Чимназ. Чем больше охлаждали его отношения с Заирой, тем сильнее давало о себе знать это чувство.

Чимназ сидела в соседнем с Джирасом кабинете.

Сегодня Джирас уже не сомневается в том, что в небольшом коллективе (около тридцати человек, большинство женщины) только она могла додуматься до того, чтобы принести полевой цветок с неизвестным названием и приучить его к домашним, точнее, рабочим условиям, потому что остальные женщины учреждения, подпав под влияние наступившего лихолетья, перестали обращать должное внимание на декоративные растения в своих кабинетах и на работу позволяли себе приходить неаккуратно. И директор, в коллективе за глаза прозванный Бенбецом, не имея возможности выплачивать вовремя работникам зарплату, не мог никого упрекнуть и на все закрывал глаза.

Такое положение дел, казалось, устраивало всех.

В коллективе не стало прежней сплоченности. Товарищи на работе не видели друг друга неделями и месяцами, не знали, кто как живет и чем занимается, вместе сходились через два-три месяца, в день выплаты хронически задерживаемой зарплаты. На эту зарплату невозможно было выжить, многие подрабатывали на стороне, но и привычную работу не решались бросить; не оставляла надежда, а вдруг вернутся лучшие времена... Однако женщины перестали обращать внимание и на цветы в кабинетах.

О заброшенных цветах позаботилась Чимназ: она собрала их и перенесла в свой кабинет, начала за ними ухаживать, и цветы ожили. Приходя на работу, если день выдавался погожим, Чимназ выносила горшки с цветами на просторную стеклянную веранду. Постороннему человеку, попавшему сюда, могло показаться, что здесь, в конце веранды, открыт цветочный магазин.

Однажды так и случилось.

– Цветы продаются? – спросил некий молодой человек.

– Да, – не растерялась Чимназ, белозубо улыбаясь. – Можете купить.

По звонкому смеху, ясной улыбке женщины молодой человек догадался, что ошибся.

– Берите! – удержала его Чимназ. – Я пошутила. Мы не продаем, мы их дарим.

Молодой человек походил возле цветов, заглянул и в кабинет.

– Ого! – воскликнул он. – Да тут целый оазис. Какой можно выбрать?

– Какой угодно, – Чимназ продолжала улыбаться и совсем расщедрилась: – Берите, сколько хотите.

У молодого человека в одной руке оказался горшок с геранью, а в другой – кактус с длинными узкими отростками.

Джираса удивило, что незнакомец вот так просто взял цветы и ушел. А Чимназ, видя его недоумение, весело прокомментировала:

– Один – жене, другой – теще, – она засмеялась. – А какой – кому, сам догадайся.

– Нет, – не согласился Джирас. – Один – жене, другой – любовнице. А какой – кому, сама подумай.

– Вы, мужчины, не можете без любовниц, – Чимназ уже не улыбалась.

– Ну, пусть не любовница, – Джирас смягчил свои слова. – Пусть будет просто приятная женщина, которая тебе нравится. Ну, любимая.

– Вот это другое дело... Главное, чтобы любимая....

В глубине глаз Чимназ, которая вновь заулыбалась, Джирас впервые заметил промелькнувшую печаль. И у нее?.. Красивая женщина, имеющая семью, двоих детей (хотя по ее внешнему виду никто бы этого не предположил), умеющая держать себя с безупречным для своего пола достоинством, тоже заставляет себя скрывать в глубине глаз печаль?.. «Наверное, я давно не заглядывал в глубины женских глаз, – подумал Джирас. – Жизнь, понимаешь. Что-то мы видим, многое не замечаем. Что только не кроется в людских сердцах, особенно женских... А вот Заира не умеет, как Чимназ, скрывать то, что у нее в сердце...»

Но Джирас ошибался (это он понял после), когда почти все цветы из своего «оазиса» Чимназ раздала посторонним людям, появившимся в их учреждении. А до этого произошли другие важные события...

Бенбец не желал, чтобы их учреждение, как и многие другие, рухнуло. Держался за должность. Пусть возглавляемый им коллектив был и мал, но он дорожил своим положением.

Несколько лет назад он вышел на пенсию, но продолжал работать. Он действительно походил на улитку: ноги его плохо слушались; лысый, в больших очках с толстыми стеклами; лоб прорезан глубокими морщинами, над каждым глазом крупные с орешек бородавки; в светло-коричневом обвисшем костюме, ходит горбясь, выставив голову вперед, – чем не улитка, у которой разбилась раковина? Но подобное сходство в коллективе подметили потом, прозвищем его наградили раньше, по другому поводу.

Его в советские времена откуда-то пригласили и поставили во главе учреждения. С языка директора чаще всего слетало слово «улыбка». Но в его речевом аппарате с этим словом, как и со всеми другими русскими словами, происходило нечто невообразимое. Каждый раз, собирая в своем большом кабинете коллектив, он повторял, оголяя в улыбке свои золотые зубы: «В чаше самый драгоценный предмет – это улыбка». Он желал, чтобы все сотрудники исполняли свои обязанности, постоянно улыбаясь.

За это над ним за глаза подтрунивали, но нельзя сказать, что его не любили.

Как-то после очередного совещания, когда все разошлись по своим кабинетам, Чимназ зашла к Джирасу и сказала:

– Девушки со мной согласны, все помирают со смеху, – сама тоже зашлась мелодичным смехом. – Интересно, что ты скажешь.

– О чем? – удивился Джирас.

– Наш «улипка» ведь похож на «улитку»... – Джирас недолго соображал, расхохотался.

– Особенно, если без очков, – он вытер выступившие на глазах слезы. – Правда, без раковины...

Как бы то ни было, прозвище не мешало коллективу относиться к своему руководителю с должным уважением. Особенно его ценили в наступившие

годы неразберихи. Бенбец не растерялся, сумел удержать учреждение на плаву, хотя и с потерями, сохранить коллектив. Кто только ни пытался отобрать небольшое здание, в котором находилось учреждение, начиная от министров и высокопоставленных милицейских начальников, кончая ворами и грабителями... Но Бенбец выстоял, словно эта «улитка» и без раковины была защищена стальным панцирем. На своих плохо гнущихся ногах, неспешными шагами он доходил до кабинетов высшей власти и там сумел доказать необходимость сохранения учреждения, найти покровителей. В конце концов, соперники вынуждены были оставить его в покое...

В коллективе же были уверены, что он и без высоких покровителей добился бы своего, потому что он, Бенбец, был таким: непонятливым в своих действиях, пронырливым, умеющим дешево купить и дорого продать, к мулу приспособить седло коня, стричь шерсть с яйца, завязать зернышко узелком. В трудные годы такой покровитель казался даром, ниспосланным небом, и его нельзя было не ценить.

Бенбец и сам знал себе цену. Ему было известно о его прозвище, но он не показывал и виду. Он был спокоен; его уже никто не трогал, он сохранил свое учреждение, остался на своей должности, а до всего прочего ему не было никакого дела. Между коллективом и руководителем действовало неписанное соглашение: каждый делает, что хочет, но старается показать, что учреждение работает, требуемое – исполняется без промедления, и получает зарплату, когда дают.

Бенбец не препятствовал тому, чтобы его работники подзаработали на стороне, все же человек имел доброе сердце...

Директор еще любил отмечать праздники. Почти в каждый праздник он собирал коллектив вместе, организовывал веселые застолья с песнями и плясками. Любил быть тамадой и открывал застолье привычными словами: «В чалавеки самый дарагуй вещь – это улипка». Тут же устанавливалась соответствующая атмосфера, вспыхивали шутки и смех, забывались заботы и начиналось... И в плохие времена Бенбец не отказывался от застолий. Джирас получил в подарок от Чимназ полевой цветок после одного из таких праздничных застолий, последнего, в котором она участвовала.

...Новый год отмечали, как и все остальные праздники, в кабинете Бенбеца. В тот раз Чимназ выглядела красивее всех женщин. В отливающем серебром длинном платье, подчеркивающим красивые формы, оставляющем обнаженными плечи и грудь; с распущенными длинными черными волосами, – когда она появилась в кабинете, Джирас впервые почувствовал в ее красоте нечто божественное. Привыкший обращаться с ней по-товарищески, позволяя себе лишь осторожные комплименты, тут он потерял дар речи. Он уже сидел, когда Чимназ возникла в дверях, опять ему показалось, что в глазах ее светится печаль, беспокойная, от кого-то или из-за чего-то скрываемая. Ему еще показалось, что в этих глазах мгновенно вспыхнул и погас свет, относящийся только к нему.

Он не ошибся.

– Я сяду рядом со своим соседом, – бесцеремонно обратилась Чимназ к сотруднику, сидевшему возле Джираса. – Ты не можешь разлучить соседей по кабинетам, коллега.

– Такой красавице как не уступить? – сотрудник встал и подал ей свой стул.

В тот день Чимназ нельзя было узнать, она пела и танцевала. Она вставляла в магнитофон кассету, которую принесла сама, раздавалась мелодия,

берущая за душу. Чимназ пригласила на медленный танец Бенбеца. Тот даже забыл про обязанности тамады, вновь и вновь включая понравившуюся мелодию, долго не отпускал Чимназ, склонив голову на её полуобнаженную полную грудь. Бенбец медленно кружился в танце, Чимназ не сопротивлялась, каждый раз принимала его приглашение с улыбкой. «Она делает это в отместку кому-то, – думал Джирас. – Кому же, мужу?.. Разлад в семье?..» Ему хотелось встать, подойти к ним, врезать кулаком в очки Бенбецу, который был на голову ниже партнерши. Он показывал золотые зубы, зажмурившись, прижав лысую голову к груди Чимназ, покачивающейся в танце. Но Джирас поступил по-другому.

– Авторитарный режим ушел в небытие, шеф, – пошутил он, подходя, оторвал его от Чимназ и сам стал танцевать с ней.

И тени неудовольствия не появилось на лице Бенбеца.

– Я ничуть не против демократии, – поддержал он шутку. И пригласил на танец сразу двух женщин. И задвигался, обняв их за талии, склоняя голову к груди то одной, то другой... Чимназ улыбалась... Когда в кабинете стало тесно от танцующих пар, она спокойно опустила голову на плечо Джирасу, отчего ему показалось, что у него остановилось сердце. Он перестал чувствовать свое тело, словно они были двумя лепестками посреди безлюдного луга, полного аромата цветов. В голове не осталось никаких мыслей... Когда-то им владело драгоценное желание, впоследствии забытое, теперь оно вернулось и может сбыться. И не было никаких ошибок, и та жизнь, где допускались ошибки, была не его жизнью, то был дурной сон. Настоящая его жизнь только начинается, и нет границ его счастью... Но танец завершился.

Застолье продолжалось до вечера, но тоже завершилось, и всем показалось, что эти часы пролетели быстро. Джирас, как зачарованный, пришел к себе в кабинет. Не совсем осознавая это, он чего-то ожидал... Или он ничего не ожидает, обманывает себя под действием выпитого?

Да, он выпил, ему только казалось, что Чимназ, как в танце, плавно покачиваясь своим гибким красивым телом и улыбаясь, смотрела на него...

Но она на самом деле зашла в кабинет к нему... Не дождавшись со стороны Джираса ни слова, ни движения, Чимназ тоном легкого упрека сказала:

– Обними же меня, Джирас! Не бойся...

Только теперь, услышав слова, слетевшие с ее красивых пухлых губ, Джирас понял, что все происходит наяву, и выпитое тут ни при чем. Он растерялся еще больше.

– Здесь еще люди, нас увидят... Нехорошо... – он ненавидел себя... Трусливый дурак... – У нас семьи, Чимназ! – он пытался оправдаться.

– Нет, Джирас, у нас не семьи, а бездонные ямы... Мы несчастные люди – и ты, и я...

Она вплотную подошла к Джирасу, обняла его, погладила по голове и в долгом поцелуе прижалась к его губам. Оборвав поцелуй, она уставилась в глаза Джираса своими глазами, полными слез, и сказала:

– Мы ничего не делаем для своего счастья. И не стараемся хоть что-нибудь делать...

Чимназ ушла.

Она долго не появлялась на работе. Несколько раз Джирас слышал, что она лежит в больнице с раком печени. Хотел навестить, но как он мог после

того, что у них было? «Еще подумает, что я не хотел, потому что знал о ее болезни... Она знает о моей семье, наверное, думает, что и я знаю о ее проблемах...» Нет, признавая свою вину перед ней, он не решился навестить Чимназ.

Как-то она сама неожиданно появилась в его кабинете – высохшая, с поблекшим лицом. Она ничем не напоминала Чимназ, которая веселилась на новогоднем празднестве, разве что глаза, правда, как будто увеличившиеся, оставались прежними. И печаль в этих глазах, знакомую Джирасу, она уже не хотела или не могла скрывать.

Чимназ держала в руках горшок с цветком. Джирас вскочил:

– Чимназ, ты!..

– Это тебе на память обо мне, – она не дала ему договорить. – Береги. Я ухожу.

– Как уходишь? Увольняешься с работы?

– Как все уходят... – она поставила горшок с цветком на подоконник. – Поливай чаще. Это полевой цветок. Как называется, не знаю. С горы за нашим селом. Будешь ухаживать, привыкнет к домашним условиям. Даже зацветет. Вот не знаю, как называется.

– Я придумаю ему название...

Чимназ улыбнулась, больше ничего не говоря, вышла из кабинета.

Как узнал Джирас, все цветы, которые Чимназ собрала в своем кабинете, она обратно раздала женщинам учреждения. После этого ее никто не видел.

Еще через полтора месяца пришла весть о ее кончине. «Я ухожу... – вспомнил Джирас. – Как все уходят...»

В его сердце, казалось, навсегда засело чувство непоправимой вины перед Чимназ. Ему осталось одно: не забыть о ее просьбе. И он не забывал. Каждый день, приходя на работу, поливал цветок. Он хорошо рос, украшая окно. Длинные узкие листья, увядшие осенью, Джирас осторожно срезал ножницами, а весной с нетерпением дожидался новых отростков... Но он не зацветал. «Может быть, он и не должен цвести, – думал Джирас. – Может быть, Чимназ просто так сказала, что он цветет, чтобы я ждал? Чтобы я не забывал ее, постоянно нес в себе вину перед ней?...»

И вот он опять вспомнил слова Чимназ: «Будешь ухаживать, привыкнет и к домашним условиям. Даже зацветет...» Подумал: «Наверное, она держала его дома и знает... Но ведь рабочий кабинет – не дом, – неожиданно пришло в голову. – Он и не цветет...» Тогда Джирас и решил отвезти полевой цветок домой, хотя и знал, что Заира разозлится...

...Джирас очнулся от сердитого, наверное, стука в дверь кулаком.

– Кто там? – он вышел в прихожую.

– Открой! – потребовал сердитый голос Заиры.

– Я не закрывал дверь. Она захлопнулась. Джирас тщетно попытался открыть. – Замок заклинило намертво. Позови кого-нибудь из коммунальной службы.

– Я никого не позову! – Заира стукнула в дверь ногой и стала спускаться по лестнице к выходу. Он понял это по стуку каблучков.

* * *

На этом можно было поставить точку и завершить рассказ, потому что автор не считает нужным еще что-либо сообщить об отношениях Джираса и Заиры, о том, как сложилась судьба их семьи.

Разве что читателю интересно будет узнать, как они поступили с захлопнувшейся бронированной дверью.

Джирас снял ее и выбросил. Поставил другую...

Более важное событие в его жизни произошло однажды весной, буйно вошедшей в свои права: на полевом цветке выросли длинные, как шнуры, усики, расползшиеся по всему окну, и на них распустились мелкие желтые цветочки.

И еще Джирас, копаясь в разных красочных энциклопедиях и словарях по флоре, узнал, что полевой цветок, оставшийся ему от Чимназ, называется просто осотом.

Авторский перевод с лезгинского



ЧИБИЦ – МОЯ ЗВОНКАЯ ГОРНАЯ РЕЧКА

Я СЕГОДНЯ СТАНУ МУДРОЙ

Не тревожьтесь ранним утром,
С болью вспомнив обо мне –
Я сегодня стану мудрой –
Я с собой наедине.

Мысли горкой я сложила
В золотое решето,
И просеять я решила
На рассвете кое-что.

Им полны мои амбары –
Будет что перетрясти!
Вправо – нужные хабары,
Влево – мусор замести.

Вот и справилась с заданьем –
Стало меньше важных дел.
Отделяю утром ранним
Зёрна от пустых плевел.

ОНИ ДАВНО ЗАБЫТЫ

С рекой затеял спор валун.
Она ему: «Ты треснешь!»
А он: «Пройдёт немного лун,
И ты совсем исчезнешь!...»

Смеялась бурная река
И пеной разбивалась,
И раскрошить валун слегка
Притом она старалась...

С тех пор прошел немалый срок –
Что в этом мире вечно? –
Валун рассыпался в песок,
И пересохла речка.

Лишь светит жёлтая луна
С космической орбиты:
Жалеет спорщиков она –
Они давно забыты...

КРАСИВАЯ ПАРА...

Нас светом своим заливала бзибара.
Бог мой, как приятно вслед слышать с утра:
Красивая пара! Красивая пара,
И счастьем одетые в солнце-мара!¹

Смущались мы. Щёки пылали от жара,
Но с тайною гордостью шли по селу.
И думали: нас украшает бзибара!²
И Богу, и ей воздавали хвалу.

Но время и молодость так быстротечны,
А счастье – намного короче, порой...
Приходит к концу то, что кажется вечным,
А беды – они ведь и не за горой.

К любви относясь, как к бесценному дару,
Прошли мы по жизни до горькой черты.
Нас помнят с тобой, как красивую пару –
И счастлива я от былой красоты.

И счастья бывшего храню я осколки –
Бзибару-любовь в них я вижу всегда.
Мы в солнечном свете прошли путь недолгий,
Но вечна в сердцах, всё-таки, красота.

¹ О счастливом человеке абазины говорят: «Он в солнечной рубашке!»

² Б з и б а р а – любовь (абаз.).

ОДНАЖДЫ...

Как зависть есть причина всякой драки,
Так не бывает дыма без огня:
Однажды две огромные собаки
Напали с диким лаем на меня.

В безумном гневе разевались пасти.
Сверкали наготове их клыки.
Бывает страшен всплеск животной страсти –
Как люди с хищниками всё-таки близки!..

Стремительно случается паденье –
Ах, как невыносим чужой успех! –
А в нём и есть суть перевоплощения:
В собаках узнаю... своих коллег.

К СЧАСТЬЮ ПРИБЛИЖАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Опыт каждого на свете тем и ценен,
Что поможет к счастью ключ добыть,
Человек ведь так несовершенен,
А ведь мог бы совершенным быть.

Мог бы он добиться просветленья –
В этом суть и цель моих стихов –
Если б стал на путь преодоления
Злых своих привычек и грехов.

Если б шёл вперёд, молясь и каясь,
Не сходил бы с праведных дорог,
Шёл к вершине, хоть и спотыкаясь,
Где б его в объятия принял Бог...

Но сегодня праведник – блаженный,
Для насмешек и угроз мишень...
Стать хочу на путь свой совершенный,
К счастью приближаться каждый день.

СЛУЧАЛОСЬ КАЖДОМУ ИЗ НАС

Настал волшебный южный вечер.
Горят в притихшем доме свечи.
Её, охваченный волненьем,
Он ожидает с нетерпеньем.

Она, как ангел, в дом впорхнула,
Взглянула на него, вздохнула,
Взлетели ласточки-ресницы...
Подумал он: «Мне это снится!»

Сидят они вдвоем, молчат,
Сердца их бешено стучат.
И эта ночь, и этот миг
Зачаровали будто их.

Вдруг прозвучал аккорд из сада –
О боже – «Лунная соната!..»
Он вмиг бокал свой осушил,
Схватил её и... закружил...

Представить встречи продолженье
Поможет вам воображенье –
Случалось каждому из нас
Со сказкой встретиться хоть раз!

ЧИБИЩ – МОЯ ЗВОНКАЯ ГОРНАЯ РЕЧКА

В десятке шагов от родного крылечка
Твой белый в камнях меловых бережок,
Чибищ – моя звонкая горная речка,
Мой чистый, звенящий и верный дружок!

Тебя посвящаю в свои откровенья,
Когда прибегаю по ранним утрам.
С тобой совершаю свои омовенья,
Когда направляюсь я в горный свой храм.

Ведь ты в моем храме журчишь постоянно –
Смываешь с души моей грусти налёт.
А я наклоняюсь к тебе покаянно –
В жилище и храм очищаешь ты вход.

Я НАРОДУ И БОГУ СЛУЖУ

В частом плаче душа заходилась,
В сердце боль становилась острей.
Я в гитару без струн превратилась,
Звук украли у скрипки моей.

И другие жестокие средства
Применяли, чтоб счесть мои дни.
Но, закинув в кусты по соседству,
Как рояль, просчитались они.

Исповедалась травам и птицам,
Обо мне они весть разнесли.
Потому и смогла возродиться,
И до вас мои песни дошли.

Песен много гитаре известно –
В ряд нанизан на струны мотив.
И в кустах для рояля есть место –
И гонимый поэт ещё жив.

Струны-мысли я перебираю.
Звуком скрипки своей дорожу.
И пока ещё не умираю –
Я народу и Богу служу.

ПРИСТЕГНИ-КА РЕМНИ!

Снова встретившись с лихом,
Омрачающим дни,
Я команду тихо:
«Пристегни-ка ремни!»

Соберу свою волю
И зажму в кулаке.
Я себе не позволю
Растеряться в прыжке.

Пусть придется зависнуть –
Раскручусь я сама.
Только лишь бы не скиснуть
И не спрыгнуть с ума!..

К ХРАМУ ОТКРЫТА ДОРОГА

Ковала я храм свой не из металла –
Я к этому делу нашла свой подход –
Основой постройки вся жизнь моя стала,
Её завершает поэзии свод.

У этого храма – особое свойство:
Где б ни была я, он повсюду со мной.
И радость свою, и любое расстройство
Могу пережить за незримой стеной.

Прошу ежедневно совета у Бога.
Прошу мой нечаянный грех отпустить.
А главное – к храму открыта дорога –
Могу человека понять и простить.

Сюда приходить есть у каждого право –
Известны мне средства духовных защит.
Меня провести не удастся лукаво –
На то у меня есть особенный щит!

В ГНЕВНЫХ ВСПОЛОХАХ ЗОРИ

*Абазинам,
сложившим головы
за свободу Абхазии*

Молча строят отряд. Раздают карабины.
Это худшее в мире. Это значит – война.
На защиту Апсны поднялись абазины –
Наше кровное братство лишило их сна.

И закон их – приказ полевых командиров.
Перед жизнью и смертью теперь все равны –
Это Куджев, Кишмахов, Шхагошев, Агиров
Принимают здесь бой, заслоняя Апсны.

Вместе с ними в строю и другие ребята –
Долг и честь, и любовь их сюда привели –
Ведь гораздо страшнее любого снаряда
Человеку лишиться родимой земли.

В гневных всполохах зори родной Абазашты,
Вздыблен горем собратьев Большой перевал.
Мы узнали: герои рождаются дважды –
Каждый подвигом это своим доказал!

Кругицы мудрости

*Посвящая памяти отца
Балова Курманби Хуцовича*



Не о возрасте думайте, а о делах –
Будьте праведны и благородны,
Будьте, главное, богоугодны –
В остальном разберется Аллах!



Коль начальники сходят с ума,
Как же их подчиненным служить? –
Коль вода загорелась сама,
Чем пожар тогда этот тушить?



Из разных ситуаций
У хитрых выход прост:
Лисица выставляет
Свидетелем свой хвост.



Всегда почему-то
Он был не у дел:
Отсюда прогнали,
Туда не успел.



Без личной пользы
Не ходил по свету:
Споткнулся он –
И то нашел монету.



Мне бабушка такой совет давала –
Ведь грех большой унынью предаваться:
– Чем хуже у тебя пойдут дела,
Тем лучше постарайся одеваться.



МАТЬ СОЛДАТА

НОВЕЛЛА

Бабушка Айханум вязала носки, сидя на скамейке в городском саду. В их семье все носили носки, сработанные Айханум: и дочь Лейла, и зять Касум, и вот, внуку Рамазану вяжет. По правде сказать, это уже вторая пара, и, может быть, ближе к зиме ещё одни изготовит. Если взрослым одной пары хватает на зиму-другую, то Рамазану и трёх пар мало. Мальчишка ухитряется протирать дырки на пятках чуть ли не каждую неделю. Только успевай вслед за новыми носками штопать старые.

Айханум гостит у дочери. Ежедневно после полудня они отправляются с внуком в сад; внук берёт с собой игрушечный самосвал, бабушка – вязанье. Они давно облюбовали скамейку под раскидистым тополем, рядом с которой устроена песочница. Внук, урча, возит песок от одного края песочницы к другому, строит что-то, известное только ему, и время от времени просит бабушку, чтобы она поглядела, как здорово у него получается. Айханум внимательно разглядывает сооружения внука и искренне хвалит: «Молодец, инженером будешь!»

Дочь Лейла каждое лето привозит мать в город, погостить. Признаться, и она, и Касум, и особенно Рамазан были бы рады поселить бабушку у себя насовсем. Да только Айханум ни на какие уговоры не поддаётся. Дочь заводила об этом речь всякий раз, когда они оставались наедине.

– Пойми, мама, – говорила она просительно, – оставаться в ауле тебе становится совсем невозможно, не с руки: тяжело, неудобно, скучно... Словом не с кем перемолвиться, воды из родника некому принести.

– Мне соседка Айзанат очень помогает... Она молодая, сильная, здоровая, ей это ничего не стоит, – говорила на это мать.

– Но Айзанат сегодня рядом, а завтра замуж выйдет, переселится, уедет куда-нибудь, – настаивала Лейла.

– Пока её никто не сватал, рано, – отвечала мать, пожимая плечами; дескать, ты уже забыла, дочка, – дома – здесь-то, – не в городе! – что соседи всё одно, как родственники – старого человека не оставят без помощи.

– Не оставят, конечно, однако и задумаются: почему бабушку Айханум дочь к себе не забирает? Или она забыла, чья она дочь? – кинув на мать пытливый взгляд, Лейла продолжает: – И Касум обвиняет меня: «Плохо уговариваешь, а то бы мать давно согласилась!» – «А я уже не знаю, как тебя просить. Что тебя там удерживает – ни хозяйства, ни живности не осталось, и домик старый?»

ШАХМАРДАНОВ Шахвелед Ибрагимович, 1948 года рождения, поэт, прозаик, переводчик, автор книг, секретарь Союза писателей Республики Дагестан, редактор журнала для детей «Соколёнок» на табасаранском языке, выпускник Московского литературного института им. М. Горького.

А тех двух курочек и петуха, что у тебя есть, ты и здесь можешь держать – у нас лоджия вон какая просторная!»

– Спасибо за приглашение, дочь моя, – говорила Айханум, когда дочь исчерпывала все доводы и замолкала, – но я не могу. Я Мумина буду ждать. Он должен прийти. Не может человек бесследно пропасть. Так не бывает, человек – не иглолка, чтобы потеряться...

Этот неизменно, повторяющийся слово в слово ответ матери приводил дочь в отчаяние. Но она от своего не отступала, при каждой встрече снова возвращалась к этому, находя все новые причины в пользу переезда. Однако мать оставалась непреклонной. Отчаявшись, Лейла однажды сказала прямо, что прошло более тридцати лет после войны. Если бы Мумин был жив-здоров, то они давно бы получили от него весточку. Ведь куда только ни писали! И отовсюду отвечают: пропал без вести. Да разве один Мумин пропал. И сын Рустама Султан. И оба сына Месмера до сих пор не дали знать о себе. А сколько их, пропавших, в нашей огромной стране...

– Но ведь Беглара – сына Самурхана – нашли же! – прервала дочку мать. – И о нём говорили, мол, не найдётся. И Мумин вернётся, и сыновья Рустама и Месмера. Все сыновья вернутся...

Эти диалоги между матерью и дочерью с зятем повторяются из вечера в вечер. И всегда кончаются ничем.

Настойчивость Лейлы немножко сердит Айханум, но всё равно она души не чает в своей дочери. Может, оттого, что одна её растила, без мужа. Муж умер, когда девочка только начинала ходить. Мумину уже было пятнадцать лет. Муж умер молодым, не проболел и неделю. От воспаления лёгких.

Однажды в жаркую страдную пору вернулся он с сенокоса разгоряченный и со двора закричал шутливо:

– Эй, невеста моя, дай-ка воды, да похолодней!

Айханум принесла кружку воды и со словами: «Куда спешишь, остыл бы немного, потный ведь, рубаха на тебе – хоть выжми!» – подала ему.

– Да, сегодня мы, как никогда, прошлись по лугу – только косы звенели! – и взял из её рук кружку, а заглянув в неё, рассмеялся: – Ох, и жадная: принесла один глоток! – и залпом опорожнил её. – Дождёшься тут любви и богатства, когда ты воду напёрстком отмеряешь! – продолжал он весело шутить. – Другой посуды не нашлось в нашем доме? Рано, невеста, жадничать начала...

– Не жадничаю я, а боюсь, как бы не простудился, – смутное беспокойство тогда уже вкралось в её душу. – Вода как лёд, а ты – как раскалённая плита!

– И к старикам не спеши меня причислять, – всё смеялся он, – холодной водой пугать. Слава Аллаху, есть ещё сила в руках, и кровь в жилах горяча. Приходи завтра на луг, увидишь нашу работу. А сейчас подай-ка молодцу воды, да в настоящей посудине!

Она принесла кувшин, запотевший от студёной родниковой воды, он долго пил из него, а остатки велел вылить ему на спину и поспешно скинул рубашку.

В тот вечер он долго просидел на годекане, подставляя грудь горному ветерку. А утром, встав ото сна, почувствовал во всём теле скованность, тяжесть. Однако, сказав, что он разогреется на сенокосе, пошёл в луга. Но с трудом дотянул до обеда. Тело с каждой минутой всё больше наливалось тяжестью, горело. И уж не помнил, как домой дошёл. Пять дней метался в бреду. «Мне холодно...» – говорил, по временам приходя в себя. Пытались как-то помочь: и тело растирали, массажировали, и в баранью шкуру заворачивали, и отварами всякими поили,

чтобы потел. Ничто не помогло, он горел, как в огне... И кончился, не приходя в сознание...

Было это меньше чем за год до начала войны. Потом война... А в сорок третьем Мумин на фронт ушёл. Двадцать седьмого мая. В третий день, как исполнилось восемнадцать. Бабушка Айханум и на смертном одре будет помнить всё до последних подробностей. Вместе с Мумином уходили на войну ещё пятеро парней. Молодые, здоровые и красивые, как женихи... А вернулся один. И тот на костылях.

Весь аул провожал: кто до перевала, кто до райцентра, так что шествие протянулось на много километров. И если бы не знали, что идёт война, не до веселья теперь, то могли подумать, справляют большую свадьбу, или несколько сразу. Или что люди идут на праздник вишен в Карубские сады. Но приглядевшись, увидели бы бледные, потерянные лица невест, заплаканные глаза матерей.

Мумин не хотел, чтобы мать шла в Хив, районный сборный пункт. Во-первых, путь неблизкий и она устанет, а во-вторых, может не сдержаться, расплакаться на людях. Он ещё дома начал шутить и по дороге часто отпускал весёлые словечки, надеясь своим настроением укрепить сердце матери. И его старания не прошли даром: мать, в отличие от многих сельчан, не проронила ни слезинки до самого перевала. Тихо шла рядом, негромко – ему одному – рассказывала, каким крепким мальчиком он рос. Она тоже никогда не видела слёз на его глазах. Он только усмехался на это и гладил её по плечу. Но на перевале она не выдержала – уронила две слезинки. Мумин взял её за плечи и, улыбаясь, сказал:

– А кто обещал мне, что не заплачет? А я-то, мать, поверил тебе!

– Не плачу я, сын мой, – изменившимся, севшим голосом оправдывалась она, краем шали утирая лицо. – Сами по себе покатались...

– Не предупредив тебя, что скатываются, – шутил он.

– Но теперь уж я не заплачу до самого райцентра! – улыбнулась и она ему.

Мумин стал возражать, он боялся, что мать переутомится. И без того разбита, расстроена, он же видит! Хотя она бодрится, скрывая усталость.

– Не ходи зря, только измучаешься... ни за что, ни про что. Сейчас не сорок первый год, сейчас наши гонят фрицев, как кроликов, сама знаешь. Через некоторое время, – увидишь! – я вернусь с победой. А может, вообще, пока до фронта доеду, война и закончится, кто знает...

– Чтoб Аллах услышал твои слова, сын мой! – встрепенулась мать, лицом просияла в надежде на добрый, счастливый исход.

Мумин приложил немало усилий, стараясь уговорить её вернуться, но она стояла на своём: «Ещё пройду – с молитвой за тебя».

– Ну ладно, – согласился он. – Только смотри, чтоб я тебя не видел там плачущей. Если не можешь не плакать – лучше не ходи. Я не хочу, чтобы ты провожала меня в слезах, не хочу увозить с собой твоё заплаканное лицо, мама...

– Ей-богу, не буду плакать, сын мой! – обрадовалась она.

На этот раз Айханум сдержала слово. Не плакала, пока шёл митинг в Хиве, и районное начальство призывало парней верно и до последней капли крови защищать Родину. Не плакала и потом, когда призывников посадили в машины, чтобы ехать в Дербент. Шептала молитву, чтобы Аллах поберёт её Мумина и всех, кто рядом с ним, и смотрела на сына... А когда последняя машина скрылась за поворотом, заплакала навзрыд. Ноги вдруг ослабли, и она села на большой

камень на окраине села. Не помнила, сколько просидела так. Да она и не хотела никуда уходить, тоскливо было возвращаться домой без Мумина...

Односельчане увели её с собой.

...Лейла своему первенцу хотела дать имя брата. Услышав об этом, бабушка Айханум изменилась в лице, губы задрожали.

— Что? Как ты могла такое придумать! — негодуяще запротестовала она. — Мумин мой!..

И в тот же день, не обращая внимания на уговоры, уехала в аул.

...Работа у бабушки Айханум продвигается медленно, над каждым узелком трудится. И глаза нынче плохо видят. Дочь выписала ей очки, говорит, хорошие. Однако в этом деле, и они не помогают. А бывало, в военные годы, с ней никто не мог соревноваться. О ней даже в республиканской газете писали. Не одного солдата её носки да варежки от холода спасали. Всякий раз, передавая тёплые вещи для фронта, Айханум говорила: «Может, моему Мумину тоже достанутся. Он сразу увидит, что я их связала, и напишет мне письмо».

Она от Мумина получила два письма. Первое с дороги, второе — когда надел солдатскую форму. В письме и фото было. В новой гимнастёрке, и пилотка к правому уху съехала. А на лице улыбка, радостная и весёлая.

За вязанием бабушка Айханум не заметила, как время пробежало. Она глянула на внука — чем он занят? — и увидела, что солнце к горе жмётся, дело к вечеру. Над парком птицы гомонили, видимо, выбирали место для ночлега. Особенно гомонили воробьи, эти маленькие, вездесущие существа. Город, притихший к концу дня, оранжевые лучи, пронизывающие густые кроны деревьев, птичий гомон, — всё это отозвалось в душе бабушки Айханум, взволновало её. «Пусть к добру будут и эти яркие лучи, и необычный гомон птичий», — подумала Айханум, убирая вязанье и клубок ниток в сумку, что лежала рядом на скамейке. Поднявшись со скамейки, она позвала внука:

— Рамазан, нам пора домой. Давай пошли! Мать будет недовольна, если задержимся.

Рамазан, выгрузив песок из самосвала, послушно приблизился к ней, взял за руку и умоляюще заглянул ей в глаза:

— Ты, бабушка, обещала, если я не буду далеко отходить от тебя, купить мороженое.

— Видал ты, запомнил! — она пригладила волосы на голове внука. — Ну конечно, конечно, куплю. Нет ли его где-нибудь поблизости?

— Да, тут недалеко, около качелей — я знаю, куда идти! — обрадовался внук. Он снова взял её за руку и повёл за собой.

— Иди за мной, бабушка. На том краю сада кафе-мороженое есть... — он заторопился — «пока бабушка не передумала», а она едва поспевала за ним. Перед входом в кафе Айханум заговорщически склонилась к его уху:

— А если мать узнает? Ведь она предупреждала, чтобы мороженое тебе не давали... От него у тебя ангина бывает.

Лицо Рамазана моментально изменилось, словно на чистое утреннее небо тучки набежали. Даже голос стал другим, словно в горле у него что-то застряло, мешало говорить.

— Всего один раз было... Нельзя же раз заболеть — и потом всю жизнь мороженого не кушать, — в глазах внука были мольба и готовность ради лакомства пойти на любой компромисс. У бабушки дрогнуло сердце. Рамазан продолжал

убеждать её: – Наш сосед и мой друг Абдул говорит, когда горло болит, наоборот, надо мороженое кушать... Тогда горло закаляется...

– Откуда твоему Абдулу знать, когда оно закаляется, а когда болит?

– У него мама доктор!

– Доктор... Думаешь, доктора все знают про человеческие болезни? Если бы так сильно знали, то сами не болели бы.

У бабушки Айханум на этот счёт было своё твёрдое мнение. Бог судит болезни человеку. Бог и спасает человека... Доктора помогают, конечно, но вылечить они не могут...

Рамазан, видя сомнения бабушки, упал духом. Он, обиженный и расстроенный, ковырял носком башмачка песок дорожки. Разнесчастный вид внука не мог не подействовать на её решение: «Если есть потихонечку, маленькими кусочками, то можно, конечно...»

– Что делать... – Айханум достала из сумки платочек, завязанный узлом. Рамазан просиял, знал, что в платочке бабушка деньги носит... вместо кошелька.

– Вот, купи себе мороженое, – сказала она, протягивая ему мелочь. – Я здесь постою.

Через мгновение Рамазан, счастливый, выскочил из дверей кафе с мороженым: он держал мягкий конусный стаканчик с розовой воздушной верхушкой обеими руками. Начал было облизывать розовую макушку, но глянул на бабушку и протянул мороженое ей:

– Покушай... а потом – я.

– Спасибо... сам ешь. Разве бабушке справиться с таким лакомством... холодным и ускользающим. Нет, эта забава – для вас, детей... – она, видя радость внука, удовлетворённо кивала головой. – Понемножку кусай. А то и правда, горло заболит. Тогда нам обоим достанется... от твоей матери.

Тем временем Рамазан направился к другой улице, совсем не той, по которой они пришли в сад. Бабушка Айханум забеспокоилась:

– Рамазан, лучше нам домой идти вот туда – откуда сюда пришли. Так вернее будет.

– Ты не беспокойся, бабушка, я дорогу знаю, – обернулся к ней внук. – Не ходят же всегда по одной и той же улице... Интересно и по другим пройти.

Бабушка Айханум некоторое время раздумывала, глядя то на дорогу, которой пришли, то на внука, уходящего по незнакомой улице. И пошла следом за ним. Раньше они ходили одной улицей и в сад, и обратно... чтоб не заблудиться...

«Подрос он, мой Рамазан, – размышляла она, еле поспевая за мальчишкой. – Скучно стало одной тропкой ходить, хочется узнать побольше о городе, о стране, о мире. Правильно, всё на земле растёт, созревает и изменяется...»

Впрочем, ей тоже было интересно на новой улице.

Бабушка Айханум разглядывала большие светлые здания, встречающих и попутных прохожих. Залюбовалась двумя молоденькими мамами, катившими навстречу детские коляски. Молодые мамы всегда и неизменно привлекали внимание бабушки Айханум. Тогда она вспоминала мужа, детей... Маленькие они были такие хорошие! А теперь, вот... Лейла часто бывает ею недовольна, сердится. Хотя, конечно, дочка она замечательная и о ней, Айханум, много заботы проявляет... И Касум человек добрый, детей любит. Любовь к детям – это тоже от Бога. Любить детей – значит, заботиться о них, помнить и знать, что из каждого из них может ба-а-альшой человек вырасти...

Незаметно они вышли на площадь со сквером или проще – аллеей с молодыми деревьями. А у входа в аллею стоял памятник воину. Бронзовый солдат с автоматом на груди, казалось, вышел из аллеи и собирался пересечь площадь. Но когда Айханум увидела солдата и направилась к нему, он остановился и чуть повернулся – пусть хорошенько его разглядит старая мать, всю жизнь ожидавшая сына с войны...

– Мумин! – тихо вскрикнула Айханум, останавливаясь. – Мой сын! Наконец-то мы встретились... Я знала... знала, что увижу тебя...

Возле бабушки Айханум останавливались прохожие. Видя, что она плачет, шепча что-то про себя, спрашивали, что случилось, чем они могут помочь.

– Говорили, без вести, – шептала Айханум, – нет, ничего на свете без вести не исчезает... не уходит, не пропадает... Даже птицы возвращаются в свои гнёзда... Вот и ты вернулся... Мой Мумин... сыночек!.. Я всегда верила... знала... ждала...

Подошёл молодой милиционер, чтобы разобраться, отчего народ толпился у памятника. Раньше никто здесь не собирался.

Бабушка Айханум достала из кармана кофты старый и оборванный по углам конверт, вынула из него небольшую фотографию, на которой был запечатлён солдат. Совсем юноша, в новенькой гимнастёрке, и пилотка съехала на правое ухо...

– Вот! – протягивала она снимок людям. – Мумин... сыночек мой...

Окружающие кивали, говорили: да-да...

Милиционер тоже глянул на снимок и взял под козырёк...

А те, кому не хотелось идти к самой толпе, но было любопытно, спрашивали проходящих:

– Что там такое?..

– Мать... старая совсем... сына встретила... Всю жизнь ждала его с войны... И теперь, вот...

А у входа в аллею, недалеко от толпы, стояли Рамазан, Лейла и Касум. Мальчик стоял между мамой и папой, держа их за руки. Они видели всё от начала до конца, но не вмешивались. Не мешали бабушке Айханум радоваться, плакать и объяснять собравшимся, что она встретила сына, которого так долго ждала! Люди сочувственно говорили:

– Талантливо сделано! – и глядели на фото и на памятник. – Похож, как две капли воды...

С тех пор бабушка Айханум живёт в городе. И часто ходит с внуком Рамазаном к памятнику Неизвестному солдату. Она-то знает, что это никакой не Неизвестный, а её сын Мумин...

Перевод с табасаранского Вл. Носова



Наследие

К 90-летию Андрея Тристана-Губина

АЛЕКСАНДР МОСИЕНКО

ОСТАЮСЬ В ТРАНШЕЕ...

Андрей Губин... У большинства это имя ассоциируется с романом «Молоко волчицы». Многие помнят бурные читательские конференции, целые полосы газет с восторженными отзывами о писателе, о его таланте. Краевой драматический театр сделал тогда прекрасный сценический вариант «Глеб и Мария», где зрители, затаив дыхание, следили за трагичной, «странной, горькой, почти патологической любовью» этих героев.

Все ждали новых произведений писателя, но они выходили в свет «со скрипом» или вовсе оставались в ящиках стола. Такое было время. Написать даже выдающееся произведение еще не означало опубликовать его. И это отбивало охоту продолжать писать. Но только не Андрею Губину, который в память о матери взял частичку от ее девичьей фамилии – Тристан. И стал Андреем Тристаном-Губиным.

Так вот, его не слишком расстраивало то, что не все им написанное при жизни автора увидит свет. Полемизируя со своим читателем по этому поводу, он однажды сказал: «На непризнание отвечаю новыми рукописями».

Роман «Траншея», только что впервые увидевший свет, относится именно к таким. Автор точно знал, что он создавал значительные произведения и не тратил времени на издательскую борьбу. Эта тяжелая участь досталась его вдове Маргарите Губиной и истинным почитателям таланта писателя. Но об этом несколько позже. Передо мной с карандашом прочитанная книга, и не терпится рассказать о своих впечатлениях и выводах.

Андрей Тристан-Губин в своем романе обеспокоен тем, что в темя и сердце самой жизни на планете Земля нацелен термоядерный частокол и «результат войны может быть только один: победа Смерти, которую Разум уже не сможет зафиксировать». Раздумывая над этим непреложным фактом, автор убежден, что не «звездные войны», а звездные тайны – путь человека. И пусть сегодня это не новая идея, как не нов и материал романа – вторая мировая война, но эта идея – требование века. Задача романа, по словам писателя, проста: идя от факта победы России над Германией, показать нравственное превосходство Русского над Немцем в жесточайшей схватке жизни.

Нет, здесь не проповедуются превосходство одной нации над другой. Герои романа – Немец с переводчицей, он же военный комендант, и Русский, пленный летчик, угнавший самолет к своим, оказываются вместе. И вместе они не раз уходят от смертельной опасности, почти сблизившись духовно. Но они враги, так как представляют собой воюющие страны. И все же в человеческом плане у них есть нечто более важное, чем идеология, – они владеют великим Искусством. Немец

и Русский – прекрасные музыканты. Переводчица, полька норвежского происхождения, работавшая на немецкую разведку, – арфистка. Эта странная троица в результате долгих диалогов пути приходит к одному: война и музыка несовместимы, хотя Пушкин славил союз лиры и меча, а Денис Давыдов, отлично владевший и лирой, и мечом, все более склонялся к лире.

Своеобразно построение романа. 12 глав, одиннадцать из которых с музыкальным названием: «Скрипка», «Арфа», «Солдатская губная гармошка», «Тамбурин» (особый вид барабана), «Гобой», «Флейта», «Виолончель» и т.д. У каждой из них свой сюжет, своя линия и – «сквозные» герои: Немец, Русский, Переводчица и Автор. И рефреном проходит мотив, желание исполнить просьбу Любимой – написать «Книгу о Любви». Чем дальше идет повествование, тем больше возникает это желание, автор помнит об этом, но слишком увлечен, слишком спешит сказать СВОЕ слово о войне, ее пагубности для всего человечества. Этот мотив перейдет и в последующие рассказы, эссе, и в заключительную повесть (уже вдовы писателя, той самой, кому он хотел написать «Книгу о любви»), помещенных под одной обложкой – «Траншея». Все продумано, все оправдано, все пульсирует! Не станем отнимать у читателя удовольствие самому пройти вместе с героями романа и остальных произведений интересный, трудный, трагический и светлый путь героев этой книги. Остановимся лишь на общей характеристике и некоторых тенденциях.

Что бросается в глаза? Редкостная образованность писателя, которая, естественно, не свалилась на него сама собой. Детство Губина прошло в крестьянской семье, в станице Ессентукской, где, говоря высоким слогом, с молоком матери он впитал в себя магию истинно русской речи. На творчестве любого художника так или иначе всегда сказывается его биография (без нее, как известно, нет писателя). А у Андрея Губина она необыкновенно интересна. Осенью 1942-го во время фашистской оккупации был пастухом, после ухода немцев работал в колхозе молотобойцем, пожарником, от паровозного кочегара дослужился до машиниста первого класса на транспортных судах Рижского морского порта. Кочегарил в одной из московских гостиниц. Ночью топил котлы, дни проводил за книгами в «Ленинке». Потом оказался в Находке, во Владивостоке. Снова работал на паровозе. И вел записные книжки своих впечатлений, наблюдений над жизнью, яростное стремление познать которую чем-то напоминало Горького. Вернулся в родные края. Работал в местной газете «Искра», по ее же рекомендации и поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, стал кинодраматургом.

Все эти обстоятельства и сформировали Губина как писателя. Природный дар, огромное количество прочитанных книг, знание жизни, профессия кинодраматурга позволили ему так динамично выстроить повествование, взять читателя, что называется, за живое.

Автор нашел потрясающую метафору – «Мой пулемет – пишущая машинка». Да, это грозное оружие писателя, с которым он не расстанется до конца дней своих. «Запад обвиняет Восток, что мы и через полвека после войны продолжаем стрелять – писать о войне, что так и не ушли с линии фронта, не вылезли из окопов и траншей. Я точно не вылез», – пишет Губин, и этому веришь. Он не вылез из траншеи, то есть не оставил этой животрепещущей темы потому, что сердце его не может смириться со смертью, которую несет война.

«Ты просила меня написать тебе книгу о любви, – в который раз обращается он к Любимой, – а писать ее было еще несвоевременно, пока смыслом жизни была смерть. Основой жизни – искусство убивать. И в этих условиях «Книга о любви» была бы ложью...»

Губина, как и его героев, волнует тема жизни и смерти. Вот Русский. Он порой упрощает ее, сводит до голого натурализма: «Чем замечателен окоп? В окопе умирать удобно: сразу и могила тебе, как заплечный ранец на Солдате...» – и, как ни

парадоксально звучит, Немец, тот самый Немец, что еще не так давно выкрикивал «хайль Гитлер», получил от него высший Рыцарский крест, тот самый Немец, что олицетворяет врага Русского, бросает ему: «Вы говорите чудовищные вещи: окоп прекрасен, окоп удобен! Вы идиот! Над нами небо, Млечный Путь, миры, а вас тянет в нору, под землю, в траншею и окоп! Первая мировая война показала человечеству, что такое окопы, колючая проволока, газы и пулеметы, — и мир в ужасе стал креститься и дал зарок не воевать больше...»

Кто-то сказал: задача искусства не в том, чтобы запечатлеть внешние черты времени, а в том, чтобы проникнуть в его глубокую суть. Этим, по-моему, и занимался главным образом Андрей Тристан-Губин. Можно долго философствовать, говорить правильные вещи о войне, но не взбудоражить души читателей. Это к Губину не относится. Вот один эпизод, из которого видны все потроха войны. Странная троица (Русский, Немец, Переводчица) идет крутогорым лесом к своей цели, встречается с лесником, егерем, который издавна был проводником, водил туристов, до войны водил и немцев. Он рассказывает троице о своей жизни. Сын его, Митя, был в группе спасателей. Однажды пошел выручать людей. И погиб. А рассказчику было в то время уже около 50 лет. Жить не хотелось после смерти сына. Потом надумали с женой родить другого сына. И получилось. Так же нарекли его Дмитрием. «Теперь ему пятнадцать годочков, — продолжает егерь. — Лежит. Вместе со старшим братом. В одной могилке. Немцы облаву делали. Искали вроде кого-то. Я в лесу был. Прихожу — мать лежит без памяти, взяли нашего Митю... И тут же отдали. Кровь у него всю взяли — для ихнего офицера. Митя им подходящий был: рослый, крепкий, красивый, светлый лицом и волосами... Три часа еще жил... Мать повесилась... Представляете: приходят в облике людей чудовища и забирают из его тела всю кровь, чтобы подкормить в пути такое же чудовище...»

Несколько позже уже и рассказывать было некому, егерь был убит в пути группой итальянцев, на которых они напоролись. Погибнет и эта странная троица. А пока выюга заметает траншею. Жмутся друг к другу трое, еще живые, но уже попавшие в стылую могильную глубину земли...

К 50-летию Победы я брал интервью у одного ветерана, и он мне рассказал такой эпизод. Немцы на подступах к Москве. На фронтовой дороге встречаются земляки-танкисты. Рады друг другу, но им некогда. Прощаются: «Ну, будь здоров, — говорит один из них. — До встречи в Берлине...»

Каким же надо быть оптимистом, чтобы сказать такие слова, когда враг уже стоял у порога столицы! И вот читаю в «Траншее»:

— До встречи в Берлине, в оперном театре, там мы исполним втроем наши «Прогулки сорок второго года в горах Кавказа». А потом вы приедете в Москву...

Эти слова произносит Русский в трагические минуты, когда и он, и Немец, и Переводчица будут заперты в музыкальной раковине городского парка. В ловушке. За несколько минут до смерти. Два этих эпизода — реальный и художественный — подтверждают верность взгляда писателя на то, что такой оптимизм во многом помог нам выстоять и победить в Великой Отечественной.

Нечто подобное уже было сказано другими писателями. Но Губин на этом не ставит точку — он задает почти риторический вопрос: неужели войны неостановимы? Какой ужасный, унижительный для разума явился термин: выживание в ядерную эпоху... Не жить, а выживать... Стыдно. При Николае, в пушкинскую эпоху лучше, выходит, было: жили все-таки, а не выживали.

В самом деле, это волнует сегодня каждого честного россиянина. Неужели же запустившие в оборот этот термин вожди не понимали смысла этого слова? Попросили бы своих советников заглянуть в словарь, где написано: «Выжить — остаться в живых после болезни, несчастья». Это его основное значение... Так стоило ли затевать такую перестройку, которая привела к несчастью, поставила перед согражданами проблему не нормальной жизни, а выживания? Такой вопрос сам по себе вытекает из последних страниц романа «Траншея».

Кроме романа, в новой книге есть еще и неизвестные читателю рассказы, эссе писателя и повесть-исповедь вдовы его – Маргариты Губиной. Невозможно без волнения читать рассказ «Книга сына о доме и матери». Его я бы настоятельно советовал ввести в школьную и вузовскую программу по литературе. Давно не встречалось такого нежного, трепетного отношения сына к родителям и особенно к матери в художественной литературе. Между тем, на собственном опыте и на опыте классиков Губин показывает, что, как великие реки начинаются с родника, так великие и простые люди начинаются с родника, имя которому – родительский дом. И как часто мы забываем об этом! Мы куда-то спешим, рвемся в науку, в странствия по свету и вдруг под конец вспоминаем с комом в горле, что самое дорогое у человека – отеческий дом (конкретный образ родины), мать. Не любимая работа, не завод, не родина вообще, а тот родник, из которого ты проистек...» И далее: «Мать – это хлеб для детей, которым сыт всю жизнь, даже если она в сырой земле». Позволю себе процитировать еще кусочек из этого умного и сердечного рассказа: «Я был последним в семье и оказался самым приспособленным к нелегкому климату планеты: шел пятый ледниковый период – оледенения душ. Мои сестры и братья трагически погибли – выстоял один я и захватил тихий закат матери».

Писатель бесконечно благодарен своей матери за ее родительский подвиг, за тот исконно русский, чистый народный язык, без которого, по его признанию, не могли бы появиться такие произведения, которые он написал.

«Да, мама прожила бы больше – если бы поменьше труда и могил, и больше ласки, тепла, добра». Уверен: вот самый большой дефицит нынешнего прагматичного бесперспективного времени. Пока не будет в наших отношениях ласки, тепла и добра, хорошего ждать невозможно.

И в романе, и в рассказах, и в эссе Губин живет тревогами своего времени. «Идея вечного мира на Земле потому живуча, что никак не может осуществиться». «Сила разума в том, что он не боится говорить правду, – в первую очередь, о себе, о природе человека...»

Мы часто удивляемся безумию атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Да, это страшно, подло, античеловечно. Но Губин приводит еще более страшный пример: «Сами японцы перед второй мировой войной устроили китайскую Хиросиму. За одни сутки вырезали в Нанкине двести тысяч китайцев – обычными мечами...»

В последнее время вся наша пресса «с легкостью необыкновенной» представляет прошлое, в основном, в черных красках. И с этим никак согласиться нельзя. Андрей Тристан-Губин говорит об этом резко: «Оплевывание прошлого – занятие малопочтенное, схожее и с фискальством, и с доносом, оно же на грани клеветы».

И завершает книгу уже упомянутая повесть Маргариты Губиной «В моем сердце бьется твое» с таким теплым посвящением: «Светлой памяти моего мужа – Человека и Поэта, Мастера и Художника, Охотника и Звездочета».

Думаю, Маргарита выполнила свой долг перед мужем. В меру сил и таланта она сказала нам, читателям, что никто никогда бы не сказал: мы увидели Андрея Тристана-Губина влюбленного, ласкового, одержимого творческим трудом, не изменяющего его Афине Палладе, нежного сына и отца, друга, жить с которым было трудным счастьем.

Без усилий Маргариты Губиной, Бог знает, сколько еще лет пролежали бы его рукописи в столе, а может быть, и исчезли бы вовсе. Теперь можно сказать без преувеличения – подвиг совершен. Конечно, многие люди искренне ей помогли. Всем им она отдает должное, слова благодарности.

В заключение же хочу сказать: «Траншея», как и другие книги Андрея Тристана-Губина, – неординарное явление в нашей литературе. Вдвойне приятно, что писатель – наш земляк. А я, читатель, просто рад, что в дни так называемой перестройки ураганный ветер не снес вместе с мусором такие жемчужины.

УГЛЫ АНДРЕЯ ГУБИНА

Водин из приездов в Ставрополь Андрей позвонил мне и сказал:
– Пойдем где-нибудь водки выпьем.

Я глянул на часы. Был одиннадцатый час, но жара на улице уже набрала полную силу. Душно было и в комнате. Нужен был холодильник, и я сказал:

– В одиннадцать откроется ресторан «Кавказ». Давай там встретимся и со-
вершим ритуал.

– На... твой ресторан, – проворчал Андрей. – Давай, как люди, за углом...

Мы встретились у продовольственного магазина и зашли в него. Взяли бутылку «Московской» и кило ливерной колбасы по шестьдесят копеек. И хлеба, конечно. Уже вышли из магазина, как вдруг Андрей сунул покупки мне в руки и, проговорив: «Жди здесь», вернулся в магазин. Через две минуты вышел с еще одной бутылкой «Московской».

– Замечено, – процитировал он самого себя, – что одного запаса всегда не хватает.

Пошли мы все же к ресторану «Кавказ», но с обратной, дворовой стороны, и уселись на какие-то бревна прямо под окнами ресторана. Из буфетного окна выглянула знакомая буфетчица Таня.

– Чего это вы тут? – спросила она, впрочем, без всякого удивления. Мы не ответили, и она скрылась. Зато очень быстро вокруг нас стали собираться бродячие собаки, учуяв острый запах ливерной. Мы кинули им по кусочку, они их проглотили и спокойно улеглись полукругом, деликатно от нас отвернувшись, но, разумеется, ситуацию взяли под жесткий контроль, так что, когда подбежала еще какая-то собака и попробовала сунуть нос в компанию, наши только головы приподняли, и та с независимым видом исчезла.

Мы выпили по первой. Закусили. Снова выглянула Таня и пожалела нас: «Да бедные ж вы, нате хоть рассольчику». И сунула в окно трехлитровую банку, в которой плескалась желтоватая жидкость, а на дне бестолково тыкался по кругу разлапистый огурец. Мы поблагодарили и продолжили свое дело молча. Я ждал, когда заговорит Андрей, полагая, что он приехал не просто водку пить в такую жару. Но он молчал, и, когда была откупорена вторая бутылка, я тоже процитировал себя: «За третьей бутылкой «Московской» мы первую вспомним любовь...»

– Да просто так я приехал, просто, – с досадой проговорил Андрей. – Тоска меня к себе приласкала, вот я и рванул. У тебя не бывает? Совершенно беспричинная тоска...

Шли годы. Андрей все чаще и все дольше жил в Москве, где был у него свой угол в коммунальной квартире, забитый книгами и рукописями. Там, как он утверждал, ему хорошо работалось. Встречались мы все реже, а после того, как мне ликующе донесли его будто бы высказывание, не вполне лестное, о моих стихах, явственно пролетел между нами охлаждающий ветерок.

У Гейне написано жене – цитирую по памяти:

*«Тебе я служить до кончины готов,
исполню желанье любое,
но если моих не похвалишь стихов,
тотчас разведусь я с тобою...»*

Очень самолюбивый народ – поэты...

Совершая явную глупость, я тоже переехал в Москву, но и там мы не сблизились, предпочитая встречам редкие телефонные звонки. Но однажды примчался в столицу прекрасный ставропольский поэт Саша Мосинцев и с порога заявил, что хочет созвать компанию на троих, имея ввиду себя и нас с Андреем. Тут же позвонил Андрею. Тот, выдержав паузу, позвал к себе. И мы покатали в Чертаново.

Лифт на десятый этаж поднимался так медленно, что я успел сочинить стихи, которые и прочитал, едва в комнату зашел:

*Черта ли тебе в твоём Чертаново,
На твоём десятом этаже?
Если б лифты строить стали заново,
То тебя б и не было уже.*

*Надо жить на родине, где любят,
Где мертвы завистливость и ложь.
На чужбине, где чужие сплошь,
Молока, мой друг, Андрюша Губин,
Даже у волчицы не попьешь.*

Андрей стихи выслушал грустно, понял, что я протягиваю ему руку и протянул свою. Потом мы подумали и обнялись. С той минуты в Москве стало жить легче. Саша в это время уже наливал...

А после, тоже через годы, наступило то трагическое утро восьмого марта. Еще в темноте ощущалась за окном тоскливая московская метелица, мелкие снежинки густо кружились в тусклом свете еще не погасших фонарей. Думая, тем не менее, поработать, я с отвращением отвернулся от окна и неохотно направился к зазвонившему телефону. Трубка голосом Риты Губиной произнесла: «Володя, вчера поздним вечером умер Андрюша. Я только что прилетела с сыном. Приезжай, если можешь, а то некому помочь. Позвоню еще в Союз писателей, может быть, кто-нибудь оттуда приедет...»

Плохо помню, как я добрался в Чертаново, как поднялся в медленном том лифте, как глядел в тихое, спокойное лицо Андрея со следами инфарктной муки. Потом, после обработки в морге, эти следы, это строгое величие смерти, превратились в макиажную жизнерадостность, в розоватую пошлость телевизионных реклам: мол, у нас и мертвые, как живые. Между тем, не должно отнимать у остающихся жить их законное право на глубокую, естественную печаль при виде последней перемены в чертах близкого им человека – естественного, пусть и трагического превращения живой клетки в безжизненную материю. Бог напоминает нам каждый раз таким превращением о временности нашего бытия, чтобы отвлечь нас от злобы, от корыстолюбия, от совершенно напрасного тщеславия, но, похоже, мы все меньше внемлем Его напоминаниям, предпочитая украшения истинной красоте...

В день кремации приехал Юра Бондарев, куратор Союза писателей России по Северному Кавказу, привез еще с собой маленького, казавшегося испуганным человека, о котором сказал, что «это один поэт, пусть побудет с нами. Он любил Андрея».

Приехала старшая дочь Андрея из Ленинграда, с нею кто-то еще. Вот и все, кто провожал Андрея в его московском углу.

К двум часам прибыл катафалк, и пришлось нам приглашать на помощь шофера, чтобы вынести гроб. Кое-как донесли до лифта, гроб там не помещался, мы поставили его наискосок, еле втиснулись сами, поехали вниз. Внизу, на свету увидели, что из угла рта Андрея выступила сукровица, Рита аккуратно вытерла ее платочком. Видно, поднапрягся Андрюша, помогая нам. Поставили гроб на табуретки, подошли от палисадника старушки, жившие в том же подъезде, стали тихо шелестеть прощальные слова: Андрей был добрым к ним.

Потом мы поехали в крематорий Хованского кладбища. За окружной дорогой стала заметнее мартовская непогода: ветер, сдувая с дороги сыпучий снег, дико вихрил его, упрятывая в кюветы. Высокие облака быстро летели с запада на восток, то пропуская в поле солнечные лучи, то вновь их пряча в темных своих глубинах.

Из прогретого ритуального автобуса мы вышли к главным дверям крематория. Рита ушла в контору выправлять бумаги, а мы стали двигаться туда и сюда, стараясь спрятаться от ледяного ветра, но кругом валялись цементные трубы, обрезки железных конструкций, затягивались пылью маленькие сугробы.

Я пошел вдоль высокой стены крематория влево, бесцельно, чтобы не стоять. Стена была без окон до самой крыши, напоминая безысходность и пустоту, состояние, столь гармонирующее с назначением строения. И вдруг, не дойдя несколько метров до конца стены, увидел надпись, исполненную синим фломастером: «Выдача праха за углом». Меня как громом оглушило. Господи, подумал я. Вся жизнь Андрея как бы за углом, где он, не щадя благоустроенности, не жалея себя, не подчиняясь никому, кроме собственных представлений о действительных ценностях жизни и смерти, то пил водку, закусывая чем придется, то после длительной, изматывающей мозг работы, валился на продавленный диван в своем коммунальном углу, то теперь вот мы его собственных прах должны будем получить за углом стены, заброшенной мартовским снегом.

Я прошел дальше, за угол. Там были плотно закрытые двери, как бы впаянные в другую стену. Сиротски гляделись близко подступавшие могилы Хованского кладбища, а слева, чуть в сторонке от стен, возвышались неровные кучи чего-то черного, почти угольного. Я подошел, поковырял ногой нечто смерзшееся в комки, и вдруг меня осенила страшная даже по нынешнему бесстыдному времени догадка. Чтобы разрешить ее, я побежал к нашему шоферу.

– Да, пепел это невостребованный, – снисходительно пояснил он. – То бомжей сжигают, то родственники подолгу не приходят, вот его и туда.

– Так ведь можно и оттуда пепла набрать, не дожидаясь своего.

– Все может быть, – согласился шофер, и незаметно было, чтобы его мучил или хотя бы вызывал интерес этот вопрос...

Казенные слова сопровождающей, казенное включение мягкой, печальной музыки давно ушедших классиков, каталка, на которой стоял гроб не первой свежести, розовый обтертый плюмаж, тихое движение каталки за низкую бархатную занавеску, последний взгляд на Андрея, накрытого прекрасной вязки персидской шалью, оставшейся от матери, и снова выход на ледяной ветер осатаневшего марта.

– Так проходит земная слава, – бормотнул Юра Бондарев, закрываясь от ветра рукой в перчатке.

– Или начинается, – откликнулся молчавший все время маленький поэт, имя которого я так и не удосужился узнать.

От автобуса махала рукой Рита. Мы ускорили шаги...

Но перед тем, как поднять чарки, Рита попросила нас выслушать прощальное письмо Андрея. До сих пор не понимаю, зачем она это сделала.

Это было странное письмо. Ни я и никто другой не вправе публично обсуждать причины гибели Андрея Губина и жены его, Риты Губиной. Одно сказать все же можно: их любви мы обязаны рождением прекрасного романа «Молоко волчицы». Все вместе это трагическая, если не мистическая загадка. Я краешком коснусь лишь одной ее стороны.

Почему в ночь на восьмое марта Андрей, уже почувствовавший приближение инфаркта, не вызвал скорую помощь, а сел за машинку и начал отстукивать, как метроном, последние минуты своей жизни то горчайшими откровениями личных отношений с близкими людьми, то медицинскими наблюдениями над собственным умиранием?

Это не было самоубийством, хотя и похоже на него. Он был христианином, потомственным казаком Терского, наиболее воинственного в России войска, и уже по одному этому убить себя не мог, как откровенно убила себя поэт-фронтовик

Юлия Друнина, но за тщательно сберегаемым желанием во что бы то ни стало сохранить от обывательских пересудов глубокую личную тайну все же довольно явственно проступает причина, носящая общественный характер. Личное он смог бы преодолеть, он был сильным человеком. Но совершенно откровенное, предательски торопливое, а потому и циничное разрушение наметившихся еще от Христа представлений о социальной справедливости он простить не захотел. Поднять, подобно Маяковскому, пистолет к виску – грех перед Богом и предками. Но вот подвернулся инфаркт. Его развитие он отказался останавливать. Когда соседи по его последнему углу, почуяв неладное, вызвали «скорую», примчавшиеся врачи лишь констатировали смерть. Симптомы ее наступления и почему-то грамотное их описание были позже обнаружены Ритой в прощальном письме. Это был протест, на исполнение которого право имеет каждый, у кого отняты все другие средства.

А спустя время, была зверски убита и сама Рита. Чистым осенним утром она вышла из дома и направилась, как всегда, в знаменитый Кисловодский парк для ежедневной пробежки. И пропала. Довольно длительные поиски привели следователей под станицу Бекешевскую, что километрах в двадцати от Кисловодска. Станичный пастух увидел в лесополосе кучу обгорелого хвороста. Что-то зацепило его внимание, и хворост он разворошил...

Версии, или, если хотите, сплетни были разные. Одни вели к ее работе на Пятигорском телевидении – Рита заведовала там отделом культуры, другие – к ее издательской деятельности. Тех и других смущало то обстоятельство, что на трупе остались драгоценности. По древним обычаям так поступали убийцы, которые хотели отомстить. Кто и за что отомстил Рите? Этого, скорее всего, мы не узнаем. Вон Дмитрия Холодова много лет назад убили, все службы государства брошены на поиски убийц и мотивов, а воз и ныне там. Во времена глобального воровства и государственных измен трудно рассчитывать на торжество доброй воли.

«Спектакль окончен. Занавес закрыт. Огни погасли. Разошлись актеры. И я уеду в самый дальний скит, где в тишине чуть слышно шепчут горы. В той тишине, которой лишь и рад, свободный от завистливого взора, я сохраню заносчивость утрат от памяти – усталого суфлера. Ледник сверкает. Синий воздух сух. И камни завораживают немо. Кипят слова, несказанные вслух. Да, близко смерть. Но далеко до неба...»

P.S. Написал я все это, скорее всего, для того, чтобы освободиться от тяжелого впечатления, возникшего во мне после смерти прекрасного поэта и писателя, нашедшего в себе мужество пойти на поиски истины в наш неискренний век.

Но из песчинок вновь камня не создашь. Тем более – не прочитать на нем древние письмена. Так, значит, утрачена истина на веки веков? И напрасно мучаются земные таланты в надежде поймать невозвратимый звук, некогда прозвеневший в хаосе мира? Он исчезает, не успев стать осмысленным, как тает внезапно возникшее облачко или бесследно исчезают ночные слезы одинокой женщины, жалоба которой напрасно была непонята на суде.

Да, я знаю, что прах Андрея был благополучно доставлен в Ессентуки и там торжественно захоронен. Над ним поплакали женщины и спели свои старинные песни терские казаки. Выпили водку и, поскольку одного запаса всегда не хватает, добавили кисло-сладкого домашнего вина. В Кисловодске именем Андрея Губина названа улица. Одно смущает: этого ли хотел от нас, оставшихся, Андрей? Или, может быть, хотя бы слабого понимания, что песчинкой, упавшей на ладонь одного человека, Истину не измерить. И, стало быть, не распаду мы должны верить и служить, но радости нашей осознанной общности, которая единственно и способна собрать развеянный ветром песок.



РОДНИК ЛЮБВИ*

О НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
НОВЕЛЛАХ Г. КОЛЕСНИКОВА

«А За окном права и солнце...»

В октябре 1964 года в редакции саратовской комсомольской газеты «Заря молодёжи» появился новый сотрудник – учётчик отдела писем Геннадий Колесников. Его сразу заметили не только коллеги, но и читатели: письма он учил на полставки, а остальное добирал гонораром – едва ли не в каждом номере появлялись его репортажи (он даже с октябрьской демонстрации умудрился дать газетный отчёт в... стихах. Да, Гена был поэтом. Самым настоящим. Когда поэтическое объединение «Молодые голоса», созданное комсомольской газетой, выступало в кафе «Юность» на Набережной Космонавтов, то Геннадий, прежде чем читать свои стихи, представлялся публике: «Автор песни «Тополя», – неизменно срывая бурные аплодисменты и расцветая душой. В середине 1960-х это была, пожалуй, самая популярная песня, не потерявшаяся на фоне целого созвездия замечательных произведений вокального искусства. За свою жизнь Колесников создал с десятков песен, но стихотворение «Тополя», положенное на музыку Григорием Пономаренко, стало визитной карточкой поэта Колесникова, уроженца Пятигорска, но оставившего яркий след и в Астрахани, и в Волгограде, и в Ростове-на-Дону, и в Москве и в Саратове. Он был непоседой, не мог долго жить на одном месте, хотя уживался с новыми друзьями, моментально становясь душой компании. В Саратове он сразу же получил прозвище «Трюльник», поскольку при встречах вместо приветствия говорил: «Дай трюльник!» Три рубля, если кто их щедро выделял, шли тут же в дело: Гена устраивал дружескую пирушку. Впрочем, не на рабочем месте: редактор газеты Виталий Васильевич Колчин не приветствовал застолий, поэтому друзья шли в ближайшее кафе или к кому-нибудь на квартиру.

Всего одну зиму прожил Колесников в Саратове, не укрепившись в редакции: жажда нового гнала его по России. Больше всего Колесников общался в редакции с художником Лемаром Таракановым, поэтом Василием Шабановым и заведующим отделом учащейся молодёжи Юрием Зверевым. Шабанов и Зверев сидели в одной комнате, в ней же, если не было срочного редакционного задания, обитал и Колесников. В начале 1966 года в Нижне-Волжском книжном издательстве (Волгоград) вышла его первая книжка стихов «Путина» (тоненькая, всего двадцать стихотворений), её он с удовольствием подписывал друзьям. Юрий Васильевич Зверев, заочно учившийся во ВГИКе, получил книгу с такой дарственной надписью: «Юрию Звереву. Дорогой старик, когда я получу Нобелевскую премию, то увезу тебя на море, где ты напишешь киносценарий о самом весёлом и самом печальном маленьком поэте».

* Коллективная повесть. К портрету Г. Колесникова. Продолжение. Начало в № 1(2007), № 2(2008), № 3(2009), № 4(2011), № 5(2012).



Он был действительно небольшого росточка – чуть больше полутора метров, а печален был из-за несчастного случая – в детстве упал в подвал вниз головой, в результате травмы позвоночника приобрёл два горба, на спине и на груди. Эту потерю организм компенсировал недюжинной силой рук. Лемар Тараканов продолжал дружить с Геннадием и тогда, когда тот уехал из Саратова.

В 1969 году художник, заработав на памятниках погибшим воинам в сёлах области, купил «Волгу», и они вдвоём объехали с гастрольями весь Кавказ и Украину. Приезжали в село или в небольшой городок, шли в клуб или Дом культуры, договаривались о концерте (Гена читал стихи, Лемар показывал пантомиму и сценки). Чтобы завести публику, Геннадий предлагал собравшимся померяться с ним силой. Показывал старинный чугунный утюг: кто сможет больше него поднять этот предмет

одной рукой? Глядя на щуплого «атлета», желающие всегда находились, но какой бы результат они не показывали, поэт, подняв на один раз больше, заводил зал: «Ради прекрасной половины я подниму ещё пятьдесят раз». Что и делал. Этим шутивым номером не исчерпывались паузы: Геннадий, обладавший исключительным чувством юмора, мастерски рассказывал анекдоты, изображая в лицах персонажи. Особенно ему удавалась придуманная им сценка «Пушкин в гостях у Сталина», где поэт читает вождю стихотворение «Кавказ подо мною» и получает одобрение, пока не декламирует строку: «Парит неподвижно со мной наравне». «Наравне? Со мной?», – переспрашивает Иосиф Виссарионович и тут же прощается с гостем, звонит по телефону и говорит: «Товарищ Дантес, приступайте к своим обязанностям».

Бывал Лемар в гостях и у родителей поэта, в том самом двухэтажном доме, в котором прошло детство его друга. Отец Геннадия тоже славился в Пятигорске искусством, но кулинарным – работал поваром в Центральном ресторане, приготавливая такие шашлыки, что пальчики оближешь. К удивлению Лемара, Геннадий отличался поразительной неприхотливостью к еде и, вообще, на бытовые неудобства не обращал внимания.

В столичном сборнике «День поэзии» за 1965 год напечатано девять стихотворений Геннадия Колесникова – больше, чем у таких маститых поэтов, как Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, Евгений Евтушенко, Виктор Боков, Александр Яшин. Купить много экземпляров этого издания Геннадий не мог, стоила книжница больше рубля (не то что шестикопеечная «Путина»), но своим коллегам-журналистам Геннадий подарил «День поэзии». Юрию Васильевичу – с такой дарственной надписью: «Юрию Звереву, который явно не оправдал свою фамилию, хорошему парню от автора. Геннадий Колесников, который смешон не только «моложавой» внешностью, но и моложавыми мыслями. Зима 1965 г. Саратов».

«Моложавые» мысли просились не только в столбики стихов, но и в прозу. Как, наверное, и всякий поэт, мечтал Геннадий Михайлович «засесть за прозу». И не только мечтал. Когда он уехал из Саратова в марте 1966 года, то оставил у Зверева, – то ли на сохранение, то ли насовсем, – самодельную книжечку под

названием «Новеллы», в эту формата записной книжки тетрадку поэт записывал небольшие рассказы. Причём начинал и, не окончив, принимался за другую новеллу, так что из четырёх произведений более менее завершена одна автобиографическая «Пощёчина». Пожалуй, и три остальные тоже основаны на воспоминаниях. В рассказе «Поединок» главному герою зоотехнику Овечкину (профессия автобиографичная – Колесников по образованию ветеринар) он дал имя Лемар: без сомнения, вспомнив своего саратовского друга Лемара Тараканова, в чём убеждает и такая характеристика героя: «Весёлый говорун».

На первый рассказ – «Исповедь» – наложила неизгладимый отпечаток атеистическая эпоха. Не станем публиковать его полностью. Однако сюжет рассказа позволил автору взглянуть на свою прожитую жизнь с позиций вечности: ему является священник и объявляет, что сегодня ночью поэт должен предстать перед Богом и предлагает покаяться в грехах. Исповедование греха воровства в этом рассказе перекликается со стихотворным признанием в книге «Путина»: «Я вор! Открыто в этом признаюсь, // И грабежи мои неисчислимы, // Я с детства грабил яблони и сливы // И, право, наказанья не боюсь», только в прозаическом варианте поэзии оказалось гораздо больше:

«Я привстал на постели. В комнату через окно лопилась луна, на стенах качались причудливые тени; на улице поднялся ветер, и было слышно, как скрипели акации.

Я посмотрел прямо в глаза загадочному священнику и ответил:

– Я вор. Неисчислимы те грабежи, которые я совершил за свои двадцать восемь лет.

Старик сдвинул брови. Я продолжал:

– У летних степей воровал я ветер, настоящий на горячих травах и ромашках. Под Москвой осенними рассветами мною не раз были ограблены берёзовые рощи. Я унёс из них горьковатые запахи увядающих листьев и коры, прощальные песни птиц и лёгкий шорох холодного тумана.

У моря я украл свежесть, у гор – таинственную тишину, а из соснового бора морозным утром нагло утащил бодрость и дыхание молодости.

Но это ещё не всё! Однажды, никем не замеченный, в то время, когда ребячились весенние реки, я набрал полные глаза солнца, и от радости у меня брызнули слёзы. Всё награбленное я прятал далеко в сердце...

Священник расправил брови.

– Мне нравятся твои речи, сын мой. Дай Бог каждому такой грех».

О том, что новелла «Исповедь» написана в Саратове, свидетельствует исповедание следующего греха:

– Ты спрашиваешь, не злословил ли я? Да! И даже сквернословил. Меня всегда приводят в бешенство дураки. И, хотя примитивность бывает иногда привлекательна, мне душно и противно в обществе дураков, как в запущенном свинарнике.

Было, что я снимал комнату в Саратове. За стеной жил один тип, который закончил три института и занимался ни чем иным, как писал научный труд на тему «Моча в Чёрном море».

Как-то, в приливе грусти, я пил вермут и напевал стихи Булата Окуджавы, аккомпанируя, как мог, сам себе на гитаре. Вдруг в дверь робко постучали. «Да!» – сердито крикнул я. Не люблю, когда нарушают мою сентиментальность. Вошёл этот тип. Его абстрактная фигура застыла в дверях. Руки у него были перепачканы чернилами, волосы растрёпаны, а на невыразительном подбородке висела лапша, надо полагать из супа.

«Извините, – буркнул он, – прошу вас, не бренчите на этой штуке... Я... Я... делаю открытие...»

Я смотрел на него сквозь сигаретный дым, и жилка на моём виске подскочила от злости. Но я сдержался и выдавил из себя улыбку: «Послушайте, сосед, – предложил я, – присядьте. Вермут освежает мозги. И, если не секрет, что это за открытие, которое вы делаете?»

Моё участие всколыхнуло его, как ветер груды пепла. Он всплеснул руками и заговорил быстро и хрипло: «Я уверен, я убеждён, что курорты губительны для нашей природы». И, жонглируя афоризмами, формулами и латынью, он понёс такое, что я впервые пожалел, что не родился глухим.

«Вы Беню знаете?» – отрубил я его красноречие.

Он смутился и не нашёлся, что ответить.

«Так вот, – пояснил я, – идите к Бениной маме!»

Поэт жалеет, что нагрубил человеку, на что священник заявляет, что это совсем не грех: сказать дураку, что он дурак. Далее следует описание кутежа по па с исповедником (именно в этой части рассказа и кощунство, и почти богохульство), недоумение читателя разъясняется, когда он узнаёт, что сценка пьянства приснилась автору:

«Что было дальше не могу сказать, по той простой причине, что в этот момент я проснулся.

Боже! Я спал на унитазе, держась за спусковую цепочку. Подо мной со свистом кашляла, фыркала, клокотала и задыхалась вода. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я вышел из ванной. Ковёр скрипнул под моей ногой. За дверью слышались шаги, голоса. Было позднее утро, и гостиница уже давно проснулась. Взгляд мой задержался на столе. Чего только не было на этом столе! Пустые, начатые и вовсе ещё не раскупоренные бутылки, изуродованная консервная банка, наполненная окурками, недоеденная колбаса, высохшие салаты, раздавленный лимон и прочее...

Моя кровать была варварски разобрана, а на соседней, неразобранной, в одежде, с ногами на подушке дрых мой лучший друг. Спал он так сладко, улыбаясь сновидениям, как спят сытые коты под свист пурги за окном, возле раскаленной плиты.

Голова моя была тяжёлой, как гиря. Я подошёл к шифоньеру, глянул в зеркало, и... честное слово, ничего омерзительней я не встречал. Казалось, у меня на плечах вместо головы покачивается огромное мочёное яблоко.

Я жадно набросился на нарзан, будто только что перешёл Сахару. Нарзан ударял в нос, вышибал слёзы, колол глотку, как утренний мороз. Я распахнул окно! Перепуганные голуби взлетели с карниза, хлопая крыльями. Качались задетые ими провода. Звенели трамваи и шуршали машины. Солнце и воробьи копошились в первой листве, до которой можно было дотянуться рукой. Весенняя свежесть хлынула в грудь – и сердце подпрыгнуло от восторга. Мир, трезвый, светлый, чистый и работающий звал к себе.

Пронзительно вскрикнул телефон. Это было так неожиданно, как выстрел в спину.

– Алло! Вы ещё спите? А мы с Танькой собираемся к вам, – щебетали в трубке.

– К чёрту! – зарычал я в трубку и бросил её на рычаг.

Я стал трясти друга за плечи:

– Проснись, бездельник! Слышишь, скотина? Посмотри, на кого ты похож!

Друг, едва открыв заспанные глаза – первое, что он сделал – свесив руку, нашарил на полу очки. Где бы и как бы он ни спал, очки всегда лежали на полу у изголовья. Подышав на стёкла, протерев их краем свисающей простыни, он нацепил очки, взглянул на меня и заулыбался.

– Хватит! Мне это надоело! – выпалил я. – Ты выиграл по облигациям кучу денег, но я здесь причём? Зачем ты заставил меня взять отпуск без содержания

и привёз в этот город? Ведь это город твоей первой любви, а не моей. В этом люксе мне становится противно, как в склепе. Мы пьянствуем целую неделю. Если ты здоров, как Жаботинский, и имеешь нервы из проволоки, то я нормальный человек. Сегодня я спал на унитазе...

У моего друга на лице не дрогнул ни один мускул. Он ценил тонкий юмор.

— Я тебе разрешаю выспаться даже на люстре, — сказал он, продолжая улыбаться, — главное в этом деле не спать в вырезвители.

Он разрядил бутылку шампанского в потолок, наполнил бокал и стал крошить в него шоколад, любясь, как кусочки, подталкиваемые газом, ходили то вверх, то вниз, натываясь друг на друга. Пузырьки, как малюсенькие рыбки, выскакивали из бокала. Он протянул мне бокал.

— Нет. Я больше не пью ни капли, понял? И не соблазняй меня. Бесполезно. Как губят человека дармовые деньги! Никогда, никогда не буду покупать лотерейные билеты, облигации и всё, похожее на это.

Я размахивал руками. Слова, словно волшебные маленькие акробаты, выбегали из моего рта, делали рондак, фляг и тройное сальто! Друг словно видел это забавное представление, потому что не переставал улыбаться.

— Ещё три дня такой бесшабашной жизни, и можно запросто Богу душу отдать.

Сказав это, я сразу вспомнил свой сон так подробно и отчётливо, будто фильм, просмотренный пять минут назад.

— Слушай, старик, — голос мой стал тихим и таинственным, — знаешь, что я придумал?

— Что? — также тихо спросил он.

— Я буду писать новеллы по мотивам своих снов.

Он посмотрел на меня с сожалением, будто я сказал, что переплыву Тихий океан на полотенце, и, перемешав иронию с ехидством, сказал:

— Ну что же, дай Бог нашему теляти волка съесть!»

Как оказалось, не суждено было нашему теляти волка забодати: Геннадий Михайлович забросил свои новеллы в прямом и переносном смысле — насколько мне известно, он их не доработал и не опубликовал, а рукописная книжечка пролежала в домашнем архиве Юрия Васильевича Зверева почти полвека. Кто знает, в каких городах ещё могут отыскаться строчки последнего романтика нашей поэзии? А новеллы, даже незавершённые, представляют для современного читателя не только художественный, но и исторический интерес, а для его земляков — и краеведческий, поскольку в них запечатлена светлая эпоха шестидесятых годов — эпоха несбывшихся надежд.

г. Саратов

НЕИЗДАВАВШИЕСЯ НОВЕЛЛЫ И СТИХИ

(Самиздат, 1966 год, г. Саратов)

*Бумажный плющ**

Я играл на бильярде в замечательном санатории «Ласточка», в Пятигорске. В самом разгаре было прекрасное майское утро. Только благодаря дурному настроению я не пошёл на Машук, как это всегда делал в хорошую погоду. Бильярдная находилась под лестницей, и в ней было прохладно и сумрачно, как в подzemелье. Её только что открыли. Маркёр щёлкнул выключателем и кивнул нам.

Мой партнёр, высокий, стройный мужчина, одетый в пепельный костюм, с огромными голубыми глазами и стремительными, как у Гамлета, чертами лица, бросался в глаза эlegantностью и красотой. По-своему он был молод, но в его густом ёжике искрилась ранняя седина, которая выдаёт пережитые душевные муки, но и увлекает женщин, умеющих ценить жизненный опыт и мужское горе. На правой щеке у него я заметил тёмный рваный шрам. «Что это? – думал я про себя, целясь в шары. – Строка о войне? След бандитского ножа, или дорожная катастрофа?»

Шрамы на лице всегда овеваны тайной и наводят на грустные размышления.

Играл он великолепно, и, когда шаром вогнал пятнадцатого в угол налево, мне стало ясно, что такой игрок, как я, не может дать ему удовольствия в поединке.

В небольшое окно протиснулся солнечный луч. Он упал на зелёное сукно и скользнул по шарам. Повторяю, утро было прекрасным, а настроение моё паршивым. Мне казалось, что за окном не поют птицы, не раскрывает своих объятий солнце, а идёт серый и унылый, как уставший осёл, дождь.

– Вы здесь отдыхаете? – спросил меня победитель, когда партия закончилась.

– Нет. Я местный житель.

– Давайте прогуляемся. Это преступление в такую погоду гонять шары.

Возможно, другому на моём месте его приятельский тон показался бы навязчивостью. Но я не в первый раз в бильярдной и знаю, что здесь сблизжаются моментально, как в поезде.

Вообще-то я хотел отказаться, хотя и страшный любитель случайных коротких знакомств, но незнакомец в пепельном костюме, вероятно, обладал магнетизмом.

Мы вышли и сразу зажмурились от солнца.

– Значит, вы местный литератор, – сказал он, протирая платком тёмные очки.

Я ошолбенел.

– Откуда вы знаете?

Он тихо засмеялся:

* Новелла не закончена.

– Просто у меня хорошая память на лица. Вчера вы выступали по телевидению. Я узнал вас ещё в бильярдной, а чтобы окончательно убедиться, спросил, отдыхающий вы или нет.

Я посмотрел ему в лицо. Теперь глаза его закрывали тёмные очки, но даже сквозь стёкла я ощущал его взгляд, насмешливый и таинственный. Его полуоткрытый рот презрительно улыбался.

Мою душу обволакивал страх. Мне показалось, что этот человек уже врывается в мою судьбу, что я не впервые вижу эти презрительные губы, этот упрямый подбородок.

Пощёчина

Сегодня я второй раз в жизни струсил. Струсил в тот момент, когда всё уже было готово, когда зубной врач занёс щипцы... Я сделал страшные глаза, рванулся с кресла и выбежал вон из поликлиники.

Была ранняя весна. От солнца на землю кругами опускалось тепло, а от земли, ещё не прогретой, в небо кругами поднималась прохлада. Эти золотистые круги наслаивались друг на друга, плавали в синеве, окольцовывали деревья. Зарождалась сирень. Почки готовы были вот-вот лопнуть и пронзительно пахли грозой и мёдом.

Казалось, кто-то на улицах города разбил огромную бочку с вином. У прохожих кружилась голова. Полупьяные пчёлы искали первые цветы. Ошалелые скворцы, закатив глаза, пели о какой-то чудесной стране, где нет метелей.

В ближнем скверике я сел на скамейку, запрокинул голову и закрыл глаза... Солнце ласкало меня, и его доброта лилась мне прямо в душу, как далёкая музыка. Ветер влажными губами вкрадчиво касался моих губ, глаз, щёк. Так мать целует уснувшего младенца.

Я вспоминал...

Память – это великое чудо, увлекательное, полное неожиданностей и опасностей путешествие в когда-то, это встреча с самим собой, слёзы и смех минувшего; это эхо того, что не возвращается никогда.

Я вспомнил маленький, зелёный, уютный и бесконечно солнечный городок с извилистыми каменистыми улицами, с весёлыми чистыми трамвайчиками, бегущими то вверх, то вниз от вокзала до Цветника, с пучеглазыми синими автобусами, у которых на окнах жёлтые занавесочки, сложенные гармошкой.

Я вспомнил тихую, серую грязелечебницу, старинной архитектуры, овеянную славой исцеления. Снова, как много лет назад, я слышал сонный лепет развесистых каштанов, непроницаемых для солнца, их плоды, выскакивающие юрким, круглым, коричневым, гладким и лоснящимся зверьком из колючего зелёного панциря.

Мне увиделся Цветник, удивительный оригинальный парк, где властвовала сама богиня покоя. Красный песок с мелкими ракушками на аллеях напоминал о далёком море. Высокие акации и сосны дышали прохладой. Узорчатая густая туя чуть вздрагивала от прикосновения солнечных лучей. Пленница-пальма за стеклянной оградой бредила субтропиками. На клумбах метался холодный огонь гвоздики, а рядом с огромной, пронизанной солнцем стеклянной галереей мерцал круглый бассейн, в центре которого бронзовый кучерявый мальчик держал над головой рыбу. Из рта рыбы тонкой струйкой била вода и, описав дугу, рассыпалась жемчужинами.

На многочисленных цветных скамейках сидели, полусидели, лежали и полужалялись бледнолицые курортники. Они приехали сюда со всех концов страны. Среди них были желудочники, закоренелые ревматики, хилые алкоголики с мутными влажными глазами и разновидности обоего пола из серии ленивых бездельников.

Они читали газеты, Гоголя и Мопассана, играли в шахматы, карты, или просто дремали и даже храпели.

Молодые женщины, спрятав под тёмными очками бесстыдные глаза, сидели в таких небрежных позах, что какой-нибудь начинающий лысеть почечник в пижаме и с полотенцем под мышкой садился напротив и, почёсывая тощую волосатую грудь, метал алчные взгляды на оголённые загорелые ноги и дальше...

Я вспомнил орла, опустившегося с распростёртыми каменными крыльями на скалу, который вонзил когти в змею, да так и остался над городом. Кто только не обнимал его за шею. Вся страна перефотографировалась с ним.

Я вспомнил Горячую гору, или просто Горячку, как мы её называли, с прохладными загадочными пещерами. Когда спускаешься к ним по узким тропинкам, неистово кричат стрижи, а потревоженные ногами камни сначала ползут, натываясь друг на друга, потом катятся, подскакивая и гремя, вниз. Спускаясь к пещерам, рискуешь застать врасплох влюблённую парочку, или азартных картёжников, режущих под деньги в «Петушках», или извращенцев.

Но чаще здесь находишь убаюкивающую тишину, дружелюбный ветерок и безобидных божьих коровок, которые с непосредственностью размножаются на прогретых солнцем камешках.

Я вспомнил Машук, с его легендарным Провалом, у входа в который маячил когда-то великолепный Остап Бендер. Воображение со скоростью Бидструпа нарисовало мне прохладные Машукские леса с зарослями ореха и кизила, с пролесками, ландышами и подснежниками, раздвигающими прошлогодние опавшие листья и несущими вдохновение. Леса Машука ежегодно второго мая пахнут шашлыками и шампанским, вздрагивают от хохота, музыки и поцелуев. Дело в том, что весь город выезжает на маёвку на просторную поляну, покрытую дремучими травами. В этих лесах охотятся на цветы, на светлые мысли и приятные раздумья, на чужих жён, целясь в них неотразимой молодостью.

Я грустно улыбнулся, мысленно возвращаясь в те места, что овеяны печальной поэзией Лермонтова, где всё, от травинки до розового неба, хранит прикосновения его израненной души.

Сквозь время, передо мной предстали скалы с автографами мальчишества. Из скал били нарзаны – холодные, тёплые и горячие, вкусные и полезные. Из всех нарзанов был у нас самый любимый «Детский». Припадёшь губами к ржавой трубе, выходящей из камня, и ждёшь, пока хлынет нарзан. Вдруг клубок газа как ударит в нос, и такое чувство, словно упал лицом на ежа. По щекам текут слёзы, и как-то смешно и хорошо.

Я вспомнил землянику на берегах озера Тамбукан, чёрно-синего и горького, с лёгкой зыбью и мёртвым дном. Это озеро, сверкающее на пути к Нальчику, растворяет камни и щедро отдаёт лечебную грязь. Иногда, обманувшись, на прозрачную гладь Тамбукана опускаются пролетающие утки и, глотнув горечи, улетаются прочь, никогда уже не возвращаясь.

Я вспомнил старый двухэтажный дом на улице Козлова, куда меня весной 1937 года принесла из роддома счастливая молодая мать и положила в люльку. Вспомнил подвал, куда я упал вниз головой, ветку клёна, на которой мы подтягивались с пацанами.

А наша школа! Разве можно вспоминать о ней без трепета в груди? Кто как, а я начинался со школы.

...Сентябрь. Тёплый и сочный, пышный и огненный сентябрь. Вот я рано утром выбегаю из зелёного парадного. В правой руке – портфель, в левой – недоёденная булка.

Бегу по улице Крайнего к трамвайной остановке и зайцем еду в школу. В шестом «Д» шумно, как в курятнике. Летаю тетради, бросаются тряпкой, бьют друг

друга по голове задачиком. Неожиданно раздаётся звонок. Весёлым невидимкой бежит он по лестницам и коридорам, выбегает на улицу, зазывает мальчишек.

Следом за учительницей в класс входит тишина. Дарья Ефимовна садится за стол, перелистывает журнал и косится, опустив очки на нос, в ту сторону, где полнолицый Дынкин, сопя, запрягает в тележку из тонкой проволоочки тройку мух.

– Дынкин! – выкрикивает Дарья Ефимовна сердитым голосом, которого никто из нас не боится. – Иди к доске!

Дынкин лениво встаёт, щурит глаза (он немного близорук) и, пару раз кашлянув, что-то мычит.

– Что?! – сердится Дарья Ефимовна, ещё ниже опускает очки и наклоняет голову.

– Я не учил.

– Садись. Единица.

Дынкин садится, шарит глазами по парте, но кто-то уже украл тележку с мухами.

– Токарев! К доске!

Вдруг открывается дверь и появляется директор школы Иван Фомич с незнакомым мальчишкой. Все встали.

– Сидите, сидите, – улыбнулся директор. Он положил широкую ладонь на белобрысую голову мальчишки и сказал:

– Вот вам пополнение. Он будет учиться с вами.

Новичка посадили со мной, и урок продолжился.

Украдкой мы разглядывали друг друга. Новичок был щуплый, опрятно одетый, с бледным скуластым лицом, с пухлыми, но строгими губами, с задумчивыми серыми глазами и совершенно белыми волосами, зачёсанными набок.

На перемене стало известно, что он приехал из Ростова и зовут его Эдик Асикаев. А на последнем уроке я уже поцапался с белобрысым, ибо был задиристым и отчаянным, как многие из хилых и болезненных.

– Чего ты тянешь? Стукнемся? – сквозь зубы прорычал я.

– Стукнемся, – спокойно ответил он, блеснув глазами.

Зазвенел звонок, я поспешно закопошился и заметил, что пальцы мои дрожат. Первым выскочив из класса, бежал я по коридору, охваченный страхом. Мне мерещились мой собственный окровавленный нос, дутая губа и синяк под глазом. Я видел перед собой презрительную улыбку белобрысого и его тяжёлые сухие кулаки.

Я струсил самым постыдным образом. Страх заволок меня в уборную. Я решил переждать, пока все уйдут. А может быть, он забудет наш грозный уговор? Но новичок, видимо, был страшно самолюбив и вовсе не хотел забывать. Он, наверное, видел, как я заскочил в уборную, потому что через несколько минут появился передо мной с недобрым румянцем на щеках.

– Ну что? Уписился? – тихо, с надменностью победителя произнёс он, вплепив мне звонкую пощёчину и ушёл. Я возвращался, презирая себя, называя себя самыми отвратительными словами, которые знал.

Было за полдень. День угасал ярко и торжественно. Дворники собирали в кучи опавшие листья и поджигали их. Вкусный синий дымок щекотал ноздри. Но я ничего и никого не замечал, ничего не чувствовал, кроме пламени на левой щеке. Я шёл и плакал от обиды. Слезы катились такие крупные и горячие, что при воспоминании о них мурашки ползут по спине. В садике Анджиевского мальчишки сбивали палками с боярыни тёмно-коричневые плоды, гоняли мяч, кричали и смеялись. Я шёл, одинокий, пристыженный, с пылающей щекой и ноющим сердцем.

Весь день не находил я себе места и под вечер ушёл за город. Свежий ветер встретил меня у Лермонтовской галереи. Цепляясь за кустарник, ветер карабкался по скалам и поднимался к Эоловой арфе, розовой от заката.

Я тоже взобрался на Эолову арфу и разглядывал даль. Внизу, под синеватым кружевом вечерней дымки лежал родной город. Слева блестел Подкумок, белели домики Горячеводска, извивались дороги; дальше огромной шахматной доской лежали колхозные поля, а ещё дальше, теряясь в небе, горели снега Кавказского хребта. Рядом со мной высился Машук. Он походил на гигантскую грудку червонного золота, окутанную синим сумраком. Над ним уже всплывала белая луна.

Птицы возвращались в гнёзда, просыпались летучие мыши, и ночь послала на разведку несколько гранёных звёзд. Ко мне пришла мысль отомстить себе за трусость. Я решил пройти вокруг Машука, один, навстречу ночи.

На кольцевой дороге камешки шуршали под моими ногами. Над головой носились летучие мыши. Вскоре надо мной сомкнулся лес. С каждой минутой сгущалась мгла. Стало прохладно и даже немного холодно. Деревья чернели, извивались и оживали. Казалось, они протягивали скрюченные руки, чтобы схватить меня за шиворот. Где-то совсем рядом раздался слабый стон. Потом почудилось, будто кто-то перебежал дорогу.

Я остановился в нерешительности, подумывая вернуться назад, но вспомнил про месть самому себе и зашагал дальше. За мной крался шелест, а впереди мигали какие-то маленькие странные огоньки. Меня прошиб пот. Я быстро оглянулся, споткнулся, вскрикнул и побежал. Ветер шумел в ушах. Звуки шагов катились в темноту, сердце колотилось.

Наконец, я заставил себя успокоиться и твердил сам себе: «Чепуха. Шелест – это туман, запутавшийся в листе. Стон – птица, проснувшаяся в гнезде. А загадочные огоньки – всего-навсего безобидные светлячки».

Между кронами появилась луна и лес начал светиться. Я окончательно поборол страх и остальной путь прошёл бодро.

Город уже крепко спал, когда я ступил на его улицы. Тополя робко перешёптывались, роняя листья. Нехотя лаяли собаки. На углах, под фонарями, облепленными жучками и мошкаркой, маячили сторожа. Заспанный отец, ворча, открыл мне дверь и отвесил подзатыльник. Но домашние оплеухи мало меня беспокоили, и я никогда от них не плакал.

На другой день я пришёл в школу и убедился, что новичок никому не рассказал о моём позорном поражении. Мы помирились и после уроков шли домой вместе. Он оказался моим соседом, а вскоре стал самым верным, самым лучшим моим другом. Теперь мы вместе ходили в школу, вместе решали задачи по математике, вместе рисовали Мцыри, вместе в спортзале учились делать стойку. Мокрые от росы, мы вместе стучали зубами на рыбалке, вместе ели вкусные пирожки с капустой, которые так искусно жарила тётя Женя, его мама. Мы вместе любили конопатую Галку, вместе смеялись, бросая снежки, и вместе плакали, затягиваясь втихую махоркой.

Но, как это часто случается, детство кончилось, и судьба разлучила нас. Где бы я ни был, в самые лучшие и в самые плохие минуты вспоминаю моего друга Эдика и уверен, что он тоже не забывает меня.

Между тем, новокаин рассосался, и зубная боль током полоснула меня, да так, что щека дёрнулась, а в глазах помутилось. Я вскочил, сделал несколько шагов в сторону поликлиники, но вспомнил зловещий блеск щипцов, специфический запах кабинета и вернулся на место. Едва я опустился на скамейку и закрыл глаза, как ясно увидел своего друга детства Эдика. Он шёл по аллее прямо ко мне. Он возник из прошлого передо мной с недобрым румянцем на щеках и тихо сказал: «Что? Уписился?» И снова, как много лет назад, влепил мне звонкую пощёчину и исчез.

Я открыл глаза и поспешил домой. Мне стало стыдно и обидно.

Солнце разбивалось на мелкие кусочки в окнах домов. Заливались скворцы. На пятом этаже, закатав рукава и бесстрашно свесившись, девушка с распущен-

ными волосами мыла стёкла. Город готовился к Маю, пахло цветами и свежей известью. Но я шёл, никого и ничего не замечая, ощущая правой щекой пламя.

Придя домой, я решил отомстить себе за трусость. Привязав к больному зубу шпагатик, я позвонил очень хорошему знакомому, что живёт через улицу.

– Алло! Коля, привет. Это я. Скорей беги ко мне. Я горю!

– Что?

– Горю, понимаешь? Пожар! Дверь заперта, а ключи мама унесла с собой. Прибегай немедленно и рви дверь что есть силы! – кричал я в трубку.

– Бегу!

Мой знакомый был чемпионом области по гребле, и я мог рассчитывать на его силу.

Привязав другой конец шпагатика к дверной ручке, я стал ждать, храбрился, но, когда услышал частый топот по лестнице, зажмурил глаза и оцепенел перед неминуемым мгновением страшной мести...

Поединок

Деревня приютилась на двух холмах, разделённых мутной речушкой, которую местные жители называли Подхалимкой за обманчивое, заискивающее журчание. Над Подхалимкой, прогибаясь, висел старенький, трескучий мостик. Если по мостику шёл председатель колхоза Похрап Похрапович Успейкин, то он под ним прогибался, как канат под Олегом Поповым. А тому, кто, не дай Бог, попадался навстречу, надо было или возвращаться, или прыгать в Подхалимку.

На одном холме, из-за которого каждое утро поднимается бодрое солнце, в нарядной избе под весёлыми вишенками ни богато, ни бедно живёт колхозный конюх Фёдор Фёдорович Тпрункин. У него рыжая колючая щетина на обветренных скулах, маленькие безобидные глазки, жилистые умелые руки, пропахшие конской гривой, и спокойное сердце, которое без этих вишен, без мутной Подхалимки, мятных лугов и храпящих в туман лошадей остановилось бы от тоски.

Не только в деревне, но и за её пределами славился Фёдор Фёдорович своей безупречной любовью к лошадям, мужицкими, грустными, пробирающими до костей песнями и молодой красивой женой, высокой блондинкой, с горячей кожей и неожиданно чёрными глазами, в которые один раз посмотришь – ахнешь, второй раз посмотришь – следом пойдёшь, третий раз посмотришь – совсем пропал! Имя досталось ей светлое, певучее, заманчивое – Полина. Бывало, идёт Полина летней деревней, бесшумно ступает босыми ногами по золотой пыли, как по облаку, несёт через плечо расписное коромысло с ведрами, полными спелых вишен; волосы распущены, сквозь сарафан просвечивается грудь... Увидит её в окно сапожник Иван Самогонов и бурчит с завистью, роняя изо рта гвозди: «Эвон какая русалка, не то что моя колодка, тыфу!» А межрайонный прораб, командированный сюда на строительство свинарника, как-то за кружкой пива хлопнул Фёдора Фёдоровича по плечу и сказал громко, как в театре:

– Эх, Тпрункин, бабу ты себе отгрохал, пальчики оближешь! Ну и везёт же тебе, рыжий ты дьявол степной, а?!

Тпрункин хлебал пиво и размышлял про себя: «Вот хоть и с образованием, а всё одно жеребец».

На другом холме, за который каждый вечер садится усталое солнце, в раскоряченной избушке, где раньше был пункт искусственного осеменения, поселился новый зоотехник Лемар Овечкин, три месяца назад окончивший институт

в большом городе и приехавший сюда по направлению. Овечкин привёз с собой два чемодана книг, семь бутылок коньяка, транзисторный приёмник и перочинный ножик, которым можно было откупоривать бутылки, вспаривать консервные банки, стричь ногти и ковыряться в зубах.

Он был высок, с густой шевелюрой, весёлый говорун. В письме к другу он писал: «Здесь пейзажи и оклад меня удовлетворяют. Решил бросить здесь якорь. Подыскиваю, старик, местечко, где построить виллу с голубыми ставнями и красным петушком над чердаком».

Однажды тёплым вечером Митька-молоковоз заметил на сеновале жену конюха с Овечкиным. И на следующий день насмешливый шепоток мышонком перебегал от одной избы к другой. Вскоре вся деревня знала о любовных проказах новенького, и конюх запил...

Случилось это летним поздним вечером после сильной грозы. Тучи раздвинулись и выпустили буланую луну. Мокрая трава фантастически светилась, и за деревней, в садах, ожили сказки. Над сердитой, булькающей Подхалимкой скрипнул и зашатался мостик. С востока на него ступил конюх Фёдор Фёдорович Тпрункин, а с запада – зоотехник Лемар Овечкин.

Ещё издали при лунном свете конюх узнал высокую фигуру зоотехника. На мгновение он остановился. Мурашки пробежали от пяток до затылка, и в нём зашевелился внутренний голос: «Никак он. Бес меня понёс к Прасковье за самогоном. Вон темень какая, сейчас шархнет по башке и... Слизко после дождя-то. Скажут, шёл пьяный да и бухнулся в реку. Молодёжь-то нынешняя – свет не видел, креста на ней нет. Может, сказать ему, что Тпрункин не такой уж и злой, что также ж любил и то понимает, что любовь, какая она ни есть, не зануздаешь и в телегу не запряжёшь. Что он, Тпрункин, ежели жинка по любви, и уступить может завтехнику, что он, Тпрункин, эх-эх, всегда жинку найдёт...»

У зоотехника зрение было, как у ястреба, и он тоже разглядел в лунных лучах конюха, и тоже на мгновение остановился, почувствовав меж лопатками холодок, будто за воротник ему бросили сосульку. Внутренний голос шептал ему: «Вот это встреча. Держись, Овечкин. Клянусь карьерой, этот рыжий дикарь разделается со мной, как с котёнком. Вот у него какие плечища, а руки кривые и короткие, как топоры. Надо ж было мне связываться с этой чертовкой. Закон на его стороне. Скажут, из-за ревности, защищал свою честь и отомстил. Да и кто увидит? Вокруг-то ни души...»

Овечкин посмотрел вниз. Чёрная река блестела и кипела, как смола в котле для грешников. Внутренний голос продолжал: «Лучше объяснить ему всё. Извиниться, дескать, по молодости, минута слабости, простое кратковременное увлечение и всё такое. Притом, она первая пристала. Он, Овечкин, приехал сюда работать, и не такой уж развратник, как это думает конюх. Девочек в колхозе много и получше этой колдуньи. Овечкин согласен жить мирно с Тпрункиным...»

Когда расстояние между ними сократилось, конюху показалось, что у Овечкина зло сверкнули глаза, а на губах появилась презрительная улыбка. А Овечкину показалось, что у Тпрункина в руках блеснула подкова...

Оказавшись носом к носу, они всплеснули руками так, словно кто-то третий, невидимый, одновременно двинул им по челюстям. Мостик жалобно скрипнул. Овечкин и Тпрункин полетели в реку...

Под водой внутренний голос сказал Тпрункину: «Завтехник – пакостник, это точно, но всё одно человек, и плавать небось не может. Надо спасать...»

В ту же минуту Овечкин, пуская пузыри, подумал: «Жалко, утонет старик. Ведь он не виноват, что ему досталась такая красивая жена. Надо спасать».

Они вынырнули и, барахтаясь, двинулись навстречу друг другу. Увидев, что Овечкин приближается, размахивая руками, Тпрункин в страхе подумал: «Утопить, каналья, хочет». Он сделал попытку перекреститься.

Овечкин, убедившись, что Тпрункин спешит к нему, подумал то же самое. Они молниеносно развернулись, каждый к своему берегу, и в ужасе бросились во весь опор прочь друг от друга. Мутные потоки едва достигали колен. Они бежали, высоко задирая ноги, размахивая руками, будто обороняясь. Спотыкались о каменистое дно, падали и снова поднимались, фыркая, вздымая тучи брызг.

У самого берега Тпрункин упал и на сушу выполз на четвереньках, отряхиваясь всем телом, как пёс. Из ушей его посыпался мокрый песок, перемешанный с мелкими камешками.

На противоположном берегу отряхивался Овечкин. Из рта у него выскочил лягушонок, плюхнулся на траву, прищурил глаз, улыбнулся до ушей и сказал: «Ква!»

*Я пишу о любви**



Ю. Звереву

Цвети, шиповник,
Дождик, мороси.
Шуми, трава,
 у дикого оврага.
Быть может, я
 последний на Руси
Бездомный,
 безалаберный бродяга.
В горах Кавказа
 детство я забыл,
Вдоль Волги всей
 легли мои дороги.
В Сибири был
 и в океане был.
И на распутье заново
 в итоге.
Прошли года.
И я не тот уже.
Порыв страстей сменили
 рассужденья.
Но до конца
 заложена в душе
Инерция эпохи Возрождения.

* Стихи, публиковавшиеся в конце шестидесятых годов прошлого века в местной и центральной прессе. Подборку, как и новеллы, подготовил к печати Владимир Вардугин, г. Саратов.

Раздольно мне,
как зареву в степи.
И, словно птица
в небо голубое,
Бросаюсь я отчаянно
в стихи,
Чтоб с высоты их видеть
все земное.
Поэзия печальна,
как вдова.
Красива и горда,
как Нефертити.
Я сердцем ей шепчу
в тиши слова,
Пою и плачу с ней,
когда вы спите.
Понятен ей
садов цветной ажур,
Стук топора
и узкий след змеиный.
Изъеден весь пороками
земными,
Я все равно
К ней чистым прихожу.

май 1968 г.



Будет день такой голубой,
На дорогах дрогнут снега.
Мне не только моя любовь,
Мне чужая любовь дорога.

Ручьевая хмыкает вода,
Под грозой очнётся ольха.
Мне не только моя беда,
Мне чужая беда горька.



Я пишу о любви
И рифмую ее со стогами.
Я пишу о любви,
А выходят сплошные дожди.

10

Приходит дождь
И в зелени звенит,
О небесах поют,
Сливаясь, струи.
Пока дождь
Не касается земли,
Он – нем,
Как неударенные
струны.
Любовь приходит,
Словно ураган,
В глазах свежо
От страсти
И восторга.
И сердце раздается,
Как орган,
А без любви –
Оно всего лишь
орган.

ПОЛНОЧЬ

Вчера мне показалось,
будто ты
Ко мне в окно
тихонько постучала.
Я вышел.
Ночь.
Слегка дрожат кусты.
И никого...
Лишь где-то, у причала,
Во сне скрипели сваи
над водой...
И на песке,
стара и одинока,
Гремела цепью,
как дворняжка,
лодка.
Задумчивый,
вернулся я домой,
Глядел в окно
и, улыбаясь с грустью,
Подумал:
«Это просто жук ночной
Ударился в стекло
пушистой грудью...»

Потом мне показалось,
 будто ты
Издалека
 звала меня на помощь.
И, бросив все,
 я в путь пустился в полночь.
Качались под колесами
 мосты.
Дымились
 опустевшие перроны,
Горячие,
 как гильзы от патронов,
И пулями
 свистели поезда,
И на ветру
 глаза у них слезились.
А мимо
 чьи-то судьбы проносились
И проносились
 чьи-то города.
Мне чудился твой голос
 впереди,
Но на пути к тебе
 леса густели,
Шатались, словно пьяные,
 дожди,
И волчьей стаей
 скакились метели...
Устав от странствий,
 я пришел домой.
И у окна,
 с горящей папиросой,
Подумал с грустью:
 «Это просто лоси
Трубят, наверно,
 ночью над рекой...»
Сегодня ты пришла ко мне.
 Давно
В людской толпе
 ты мне уже встречалась.
Так, значит,
 это все мне не казалось,
Так, значит,
 ты стучала мне в окно,
Издалека
 звала меня на помощь
В ту полночь.

КУКУШКА

Давай с тобой, кукушка,
 потолкуем.
Давай с тобой на осень
 покукуем.
Кружу один по свету,
 как звезда.
И потому не вью себе
 гнезда.
А много проживу я
 или мало —
Такая мысль
 меня не волновала.
И ты мне понапрасну
 не гадай,
А лучше мне напой
 про дальний край,
Где осень из тумана
 ветлы вяжет,
Где тишину пронзает
 крик лебяжий,
Откуда родом
 огненный цветок,
Где звезды осыпает
 на песок
Сухое фиолетовое небо,
Где рвет белуга
 самый прочный невод.
И я тебе, кукушка,
 подпою
Про женщину
 в том солнечном краю.
Она не верить сердцем
 не умела.
Она легко в лицо мое
 глядела.
С тех пор в душе моей,
 пока живой,
Ни грусти нет,
 ни песен для другой.

У РЕКИ

Я живу у реки.
С каждым днем
 голубею глазами.
Стало сердцу легко
Вдалеке от людской суеты.
Над моим шалашом,
Над моею ветлою ночами
В небе звезды цветут,
Как весной полевые цветы.
Никого со мной нет.
Ну и что ж!
 Никого мне не надо.
Я картошку пеку,
Шевеля под золой угольки.
Затихает вода.
Из лесов выплывает прохлада.
И садится луна
По соседству со мной у реки.
Навевает рассвет
Луговые прозрачные думы.
Наклонилась заря над рекой,
 словно розовый сад.
И не верится мне,
Что когда-нибудь буду
 угрюмым,
И не верится мне,
Что чему-нибудь буду
 не рад.
Возвратившись домой,
Веселы перелетные птицы.
Шепчет солнцу трава...
Так любимая шепчет слова.
Я живу у реки.
Или все это мне
 только снится.
Или мне ворожит
Глаз твоих молодых
 синева.

ПУШКИН¹

Его недостаёт природе,
Ряд гениев не так уж густ.
Всё время,
При любой погоде
В Михайловском струится грусть.
Он снится пашням,
Снится рощам,
Он морю чудится в грозу,
Луна на Пушкинскую площадь
Роняет тихую слезу...
Стоит он,
Бронзовый,
Склонённый,
С печалью болдинской в глазах.
А мир,
Живой и удивлённый,
Весь, как в садах,
В его стихах,
Певец любви,
Певец свободы
Возвышен музой над толпой,
Ему цветы несут народы
Незарастающей тропой.
И широко звучит над миром
Мелодия его души –
То, словно шторм,
Клокочет лира,
То родником журчит в тиши.
Не умер славный сын России.
В часы уединенья сам
Поэт своим пером гусиным
Себе бессмертье подписал.



¹ Геннадий Колесников. Из сб. «Автопортрет». Ставропольское книжное издательство. Ставрополь, 1986.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

АНАТОЛИЙ ТРИЛИСОВ

* *
*

Последняя осень двадцатого века.
А волны морские светлы и тихи...
Под вечер в кафешке я встретил калеку,
Он в пьяном порыве читал мне стихи,

Хромал адыгеец – костыль под рукою.
Когда же лезгинка сменила вдруг джаз,
Костыль свой отбросив, притопнув ногою,
Пустился кавказец в отчаянный пляс.

И все с удивленьем глядели на танец:
Танцор то кружился, то вихрем взлетал...
...А после спросил у меня иностранец:
«Куда же девалась его хромота?»

Ужель излечила лезгинка калеку?...»
Не чудо ль свершилось? Он шел без труда.
В последнюю осень двадцатого века
Всходила над морем большая звезда!

АЛЕКСАНДР ГОЛОВКО

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Снег падал медленно, лениво
На грустный парк и на газон.
Сутулясь, стили клены, ивы
И погружались в сладкий сон.

Своим холодным покрывалом
Снег кутал землю и дома.
И тускло гладь реки сверкала
Сквозь зыбкий призрачный туман.

Светилось умиротворенье,
Легко моя дышала грудь,
Струился тихо из Вселенной
Пушистый снег, как Млечный Путь.

И в этом сказочном круженье,
С его веселой кутерьмой,
В меня вселялось ощущение
Слиянья с вечностью самой.

СЕРГЕЙ РЫБАЛКО

* *
*

Какая ночь! Январский снег,
Как пух лебяжий, двор осыпал.
Все спит, и в лунной тишине
Не слышно шороха и скрипа.

И так светло, что от кустов
Полузаснеженной сирени,
Деревьев голых и домов
Легли причудливые тени.

Вот так стоять бы в тишине,
Застыв в саду под снежной липой...
Какая ночь! Январский снег,
Как пух лебяжий, двор осыпал.

МУРСАЛ АЛПАН

ДИТЯ ПАЛЕСТИНЫ

Сидит дитя в лохмотьях сырых
И кротко милостыню ждет...
И горестно сожмется сердце,
Когда монетка упадет.

Нет родины и мамы тоже...
Убит отец его и брат.
И падает убогий грошик
На мостовую, как снаряд.

О, мир, ответь, тебе не больно
Смотреть на то, как в стороне
Ребенок спит и видит бомбы,
И стонет жалобно во сне?..

Не знал он песен колыбельных
И добрых сказок не слышал.
И только резкий визг шрапнельный
В сознание детское запал.

Сидит на улице постылой
Средь ослепительных машин...
А кажется – что он в пустыне
Среди песков совсем один.

О, мир, скажи, тебе не страшно
Глядеть, как у твоих реклам
Он наспех ест кусок вчерашний
С слезой горючей пополам?

Перевод Марины Ахмедовой

ЛУЛА КУНИ

МИР УТЕШЕН ИЛЛЮЗИЯМИ

Иллюзии любви...
Дневные мотыльки.
Поклонники пыльцы,
До лона не дошедшей.
Ведерный перестук.
Зашептанность подруг.
Домов кошачий дух.
Разбитые бутылки...
Как выкроить любовь
Из пестрых лоскутков
Дневного бытия,
Зашарканного быта?
Как вынести любовь
На крыльях рукавов
С балконных островов
Этажного корыта?
Трепещут паруса
Интимного тряпья,
Пронзенного лучом
Заблудшего светила.

И птицы в кронах пьют
Росистую зарю,
Во влажном ветерке
Рискуя захлебнуться.
Иллюзии любви.
Цветные пузыри.
Любви чужой
Затертые пластинки.
...И крутит черный диск
Сырых подвалов писк,
Вывинчивая ввысь
Овалов прежних лица.

ГРИГОРИЙ КУКАРЕКА

МОЛОЧНИЦА

Я проснулся рано-рано –
разбудила трель звонка.
То молочница незвана:
– Вам не надо молока?..
Повторяет, только звонче,
будит утреннюю стынь,
к босоножкам свой бидончик,
обережно опустив.
Платье бело, слишком бело,
загорелая рука.
Что спросонку я наделал:
– Да не надобно пока.
Откачнулась тонким телом.
Не русалка ли она?
Как мне сразу захотелось
в степь, где млеет тишина,
где журавки в брачном танце
кружат плавно и легко,
где течет из зорь туманец,
как парное молоко,
где буренки бродят в росах,
звень пичужек в синеве,
где доярки ходят босо
по кудрявой мураве.
...На площадке ныне пусто,
не зальется трель звонка.
Не пролить бы это чувство,
как стаканец молока.

НАТАЛЬЯ ОКЕНЧИЦ

* *
*

Распускаются почки,
Просыпается лес.
Дождик – как многоточье –
В ярком мире чудес.

Свежий воздух струится,
Зеленеют поля.
Отдохнувшей птицей
Встрепенулась Земля.

И в бескрайней Вселенной
Продолжает парить,
В мире грубом и бренном
Ей так хочется жить.

ШАРИП ЦУРУЕВ

* *
*

В ночной тиши под синим небосводом,
Наедине с природой (и собой),
Мне все ясней – я человек свободный,
Поскольку, Боже, раб я – только твой.

Как воздух чист у горного истока!
Ласкает слух мой, нежно, без конца,
Здесь рядом, тонкий, одинокий,
Сладчайший голос соловьиного птенца.

И свет луны мне проникает в душу –
Я становлюсь светлее и сильней.
Гармонию природы не нарушу –
Она во мне и я, ведь, значит, в ней...

Когда осознаешь свою причастность
К Вселенной всей (ее частица – ты!),
Перестаешь судьбы своей бояться
И пребывать в плену у суеты...

А брат мне тот, кто родственен по духу,
Не так надежно братство по крови...
И потому, над смертью и разрухой,
Зову людей я к миру и любви.

Остановитесь, люди, оглянитесь!
Жизнь коротка. И бог над нами есть!
Спасите совесть, душу сохраните –
Забудьте сатанинскую вы «честь».

Увы! Глас вопиющего в пустыне
Услышать могут только миражи...
Я все ж зову в ночи под небом синим,
И обретает смысл земная жизнь.

ВЛАДИСЛАВ БУДАРИН

О ПОЭЗИИ

Какого Бога б ни просили,
Товарищи и господа,
Другого Пушкина в России
Уже не будет никогда.

Не потому, что оскудела
Земля талантами у нас...
Таланты есть, но в том и дело,
Что не до них стране сейчас.

Стране рабов нужны солдаты,
Стране рабов нужны рабы...
В календарях мелькают даты
Незатихающей борьбы.

В борьбе за жизнь, теряя силы.
Иной махнёт на всё рукой...
Поэтам места нет в России,
Господь, их душу упокой.

Живых у нас не почитают,
У нас и мёртвых-то не чтут...
Да кто их, Пушкиных, считает?
Придут, напишут и уйдут.

Ведь Пушкин был всегда опасен,
Как вспышка божьего огня,
Для тех, кто тужится в Пегасе
Признать троянского коня.

Не до талантов раньше было,
Не до талантов будет впредь...
В России смерть всегда не диво,
Не диво и поэтов смерть!

* *
*

Теперь уже в России нет мартиновых,
Да и дантесы все перевелись...
Но нет среди поэтов русских имени,
Кто б в старости безбедно кончил жизнь.

Ушёл поэт и нет причин для мщения,
(Нет человека, значит, нет проблем).
Дуэлей нет, но что за утешение
Знать, что ему нет места на земле...

Нас убивает жизнь вином, забвением,
Безденежьем, завистливой молвой...
Не выживают нынешние гении
На неприютной почве бытовой...

И остается в память их наследие,
Что как святыни будем мы хранить...
Не первые уходят, не последние,
И нет убийц, и некого винить.

ЛЮДМИЛА СТУКАЛОВА

* *
*

Пусть в небе тучи
Собрались в стаю,
И ветер жгучий
Тепла не дарит,
По стёклам ветки
Скрипят устало,
Я верить в чудо
Не перестала...
Терпенья только бы
Мне набраться
И непременно
Весны дожждаться,
Чтобы из пепла
Вновь возродиться,
Расправить плечи,
Как крылья птицы.

ОСЕНЬ

Сбежавший город. Улицы безлюдны;
Пусты подъезды и дома пусты.
Устали все
Нести свои унылые грехи,
Резиновые шарики надули
И без разбора сели в них,
Перевязались накрепко и взмыли
Печально, довольные своим
Особым одиночеством.
Сбежали отовсюду – из сел, из деревень,
Забросили хозяйства: сады в плодах
И лозы в пышных гроздьях.
Одни лишь бабки в черном,
Там, в высокогорьях,
Молитвы шепчут, рук не пряча дрожь.
Готовясь к осени, еще чего-то вяжут.
Движением неспешным – сверху вниз,
От гнева божьего спасая человечество,
И словно бабочки, касаются земли,
Обиженной полётом к невесомости.

Перевод Марины Ламар

ИРЕНА КЕСКЮЛЛЬ

СОНЕТ

Весталка. Храм. Багряная заря.
Колонны, орхидеи и аканты.
Медовый привкус ночи сентября
И ад Орфея с преисподней Данте.

Во времени причудливо сплетясь,
Вещают сны о пройденных дорогах.
И мне на плечи золотую вязь
Бросает кто-то с дальнего порога.

И вот уже достигнут пьедестал
Почти... Отыгран гимн на верхней ноте.
Но лишь богатый занавес упал –
В виду толпы стою на эшафоте.

Лишь на пути забрезжит счастья свет –
Ты глянешь вдаль, а будущего – нет.

* *
*

Кто жертва, кто палач, кто виноват?..
Вновь задышалось тяжким перегаром.
О зеках книги, горный комбинат –
Всё оказалось ходовым товаром.

Тот, кто писал о наших лагерях
И кто скупил построенные домны, –
Теперь живут в одном и том же доме
И кланяются вежливо в дверях.

Делились – политический, блатной,
Когда-то враждовали.
Нынче квиты.

Один магнат стал частью главной свиты.
Другой – стал индульгенцией живой.

МАРИЯ ФАРГИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СОНЕТ

Так и живем, друг друга пожирая,
С великой верой в торжество добра.
Мне жаль всех тех, кому цвести пора,
И меньше – тех, растерянных, у края.

Суфлер стареет. Не идет игра.
На сцене мрак и тишина сырая.
Как залу объяснить – я не играю.
Я здесь живу. А вам домой пора.

Спасаясь от бесчисленных тиранов,
Увы, не слёзы, каблуки стираю.
Успеть бы за последние семь лет,

Уже не веря в совершенство рая,
Сказать, как пахнут розы, умирая.
И как я одинока на Земле.

ЕЛЕНА КАУЛИНА

* *
*

Привычный темп,
и мысли снова те же...
И та же участь. Голова всё реже
Пытается сломаться,
словно стержень...
От холода в квартире стало пусто.
Ещё вчера, я помню, было чувство...
Всё было так, но разве так бывает?
Вернётся то, что сон перебивает...
Рука издаст воскресшие миноры...
Мы позабыли, что закрыты шторы...
Я чувствую,
когда ты здесь, ты близко...
Ты не уйдёшь,
ведь небо слишком низко...
Оно пугает нас...
Я знаю, ты дрожишь,
Когда с тобой не я, а просто тишь...

АННА ЦИЛОСАНИ

* *
*

Куда ты смотришь...
Потерянность,
 толпа и одиночество.
Мне часто хочется смотреть на небо.
Уже не помню
твоё имя и отчество.
Неужели тропинки нужны
 лишь для снега?
Не видно звёзд... Темно, как в засаде.
Война заснула на диване. Тише...
Смотри, похоже, ты не враг.
Время вздохнуло. Сердце пишет.

ЛАЛИ ЭЛИЗАРШВИЛИ



Этот свет, что льётся сквозь
деревья,
Эти песни нецветущих трав...
Этот сумрак, ароматы тленья,
Листьев, мыслей, солнца
терпкий прах.

Мы входили в этот лес бессветья,
Словно в храм, спасаясь от себя,
Стрелками-ходулями столетья
Отмеряли капли бытия.

И в чащобе суток новолунья,
Натыкаясь на добро и зло,
Шарили руками до безумья,
Смешивая смерть и серебро.

АЛИНА ТАЛЫБОВА

УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА

...Стоит фатальная зима,
И чтобы не сойти с ума,
Я запишу в блокнот про то,
Что вот прошел сосед в пальто.
Он с непокрытой головой
Спешит к соседке молодой.
Спешит, сбиваясь, –

И ПЛЫВЕТ

Под каблуками тонкий лед...
А пепельный соседкин кот
Его не любит.

Гость придет –

Кот умыкнётся на балкон
И смотрит: как стучит в окно
Окоченевшее бельё,
И на по швам плывущий лёд...
И это небо нежилое
Вверху.

А за его спиною

Хозяйка птицею летает
И осыпается цветами,
И льёт варенье из кизила
В сугроб стихотворенья зимнего...

СУСАННА АРМЕНЯН

*На высказывание Леонардо: «Как хорошо
прожитый день даёт спокойный сон,
так с пользой прожитая жизнь даёт
спокойную смерть»*

Жизнь – это путь, – сказал мудрец.
Нам суждено идти,
Не зная точно, где конец
У этого пути.

И вот, когда он завершен,
Последний сделав шаг,
Мы обретаем вечный сон.
Возможно, это так.

Последний шаг – последний стук –
И крови ток иссяк.
И слезы проливает друг,
И радуется враг.

Ты с пользой жил, ты был не зря?
Ты не попал впросак –
Ты жил, светя, ты жил, горя.
Не в тягость будет мрак.

Заснешь ты сладко, наконец,
Прогулкой утомлен...
Но только знай – другой мудрец
Сказал, что жизнь – есть сон.

АДА ДЖИЛАВДАРОВА

БАЯН

Скучаешь, рыжая принцесса.
Веснушек полный сарафан.
Стоишь под гроздьями «Одессы»
И хмуро слушаешь баян.

Когда ж проснется в доме мама,
На кухне зашипит огонь.
Под песню старого баяна
Заржет в сарае резвый конь.

В стогу голубка встрепетается,
И на цепи залает пес...
И ветер музыкой вернется.
Которую баян унес...

БАТУ ДАНЕЛИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Мыслить – прекрасно. Ведь
размышленье
Времени может ускорить течение,
В тридцать минут превращает минутку.
Подумал часок – и натикает сутки.
В мысли впусти свои, благоговей,
Радостный свет от Луки и Матфея.
Множит на трон возведенное слово
С хлебом плетенки, сети с уловом...
Вот ты наперсником Зигфрида избран,
Вот поборол ты течение Тибра,
В мыслях ты дерзок, отважен и скор!
Подвиг сверши или выиграй спор!
В мире идей ты от жизни укройся.
Мысли! Реальности больше не бойся!

Перевод Сусанны Арменян

БАХУ-МЕСЕДУ РАСУЛОВА

ДОМ ГЕРЦЕНА

А Герцен и сегодня там
Гостей радушно принимает,
Рассказам нашим и стихам
С гранитной выдержкой внимает.

Он ждёт талантливых гонцов
От всех сестёр российской музыки
С географических концов
Разъединённого Союза.

Зимой и летом у ворот
Стоит хозяин знаменитый,
Но зря он бывших братьев ждёт,
Для многих дверь в Москву закрыта.

Перевод Валерия Латынина

О РОДИНЕ

Она была из всех одна,
Как дуб, могучая страна
Своим традициям верна
И Дух в народе был...
Мне говорили, что – «навек»,
Что в ней хозяин – «человек»,
Неважно, кто он. Имярек...
Понятно вроде бы...

Когда стучала в дом беда
И шел расклад на «нет» и «да»,
Я в мыслях вновь спешил туда,
Как за советом,
Где травы путались в ногах,
Купалась речка в берегах,
И пахло сено на лугах
Июньским летом.

Мне этот край дороже стал,
Чем все заморские места.
Он, над другими, неспроста
Мной был возвышен.
Здесь птицы гордые парят.
Здесь так дурманит аромат
И белый, праздничный наряд
Апрельских вишен.

Теперь, когда в стране разлад
И беспредел, на чей-то взгляд,
Все вкривь и вкось, и невпопад.
Обидно даже!
Невольно вспомнишь времена,
Когда была СТРАНОЙ страна,
А как случилось?
Чья вина?
Никто не скажет...

Но я душой не покривлю,
Сказав, что я ее люблю
И от себя не отделию
Невестой проданной.
Ни эти хаты, ни поля,
Ни горных речек хрусталя,
Ведь эта самая земля
Зовется – **Родиной...**

ИРИНА КУДРЯВЦЕВА

ДУЭЛЬ

Ещё молчит в руке мятежной
Неутолённый пистолет.
Но на земле России снежной
Дантес уже оставил след.

И что с того, что мир прекрасен,
Окрасив кровью русский снег,
У Чёрной речки рухнет наземь
Не просто тело – целый век!

Раздался выстрел на опушке,
Заставив вздрогнуть спящий лес.
Лишь на мгновенье умер Пушкин.
И лишь мгновенье жил Дантес!

СВЕТЛАНА КЛИМЕНКО

А. ПУШКИНУ

... Что в имени тебе моём...

Какая тайна в имени твоём? –
И слава, и величие, и сила.
В нём откровенье и загадка в нём.
Россия большего у Бога не просила.

Ей Пушкина хватило на века...
Овеял он её своею славой.
Чьё выше имя было? –
А пока, землёю Пушкина
Она слывет по праву.

Он – негасимый свет в её окне,
Его язык – российского основа.
И музыкой звучат стихи во мне
Поэта – гения возвышенного слова.



МАРЫСЯ, ИЛИ «РАЗМОВА КОНТРОЛЮВАНА...»

ЭЛЕГИЯ

Вплотности населения польский продвинутый вагон вполне соответствует нашему плацкартному. Сидим, касаясь плечами друг друга. И молчим. Мы с моим соотечественником, с которым я вместе оказался в командировке в Польше – о нём речь впереди, помалкиваем по известным причинам. Политическим: паренёк из польской молодёжной газеты, который нас сопровождает, ещё в Варшаве предупредил, чтоб лишний раз рта не раскрывали. Ни в самой Варшаве, на её разом поскучевших тогда улицах и площадях, ни, особенно, в поезде.

– Не любят у нас сегодня русскую речь, – хмуро бросил он в первый же день, как нас к нему приспособили. – А то ещё и выпихнут...

Мне показалось, что он и сам не очень-то любит русскую речь: так редко, даже в нашем подведомственном ему присутствии, ею пользовался. Что позже, в общем-то, и подтвердилось: после мы узнали, что наш Кшыштоф (назовём его так) – председатель отделения «Солидарности» в самой редакции. Подпольщик, так сказать, а с недавних пор так и вообще почти что нелегал. Хотя с введением военного положения его не только не выдворили из редакции, но даже ещё и повысили в должности: был просто заведующим отделом, а стал членом редколлегии. Это вообще очень странное военное положение, какая-то незадачливая репетиция последовавшего через несколько лет нашего собственного, отечественного, ещё более незадачливого ГКЧП.

Чего стоит одна деталь: поднимаешь любую телефонную трубку, и тебе оттуда записанным на магнитофонную ленту молоденьким лейтенантским голосом сообщают:

– Размова контролювана!..

Голосок такой унылый, что даже восклицательный знак в конце скорее подразумевается, чем слышится.

Если вы контролируете, подслушиваете «размову», так и слушайте себе на здоровье! Зачем же оповещать публику заранее?

ПРЯХИН Георгий Владимирович, родился в 1947 году, известный писатель, драматург, директор Федерального государственного унитарного предприятия «Издательство «Художественная литература», лауреат Всероссийской литературной премии имени Александра Грина за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, создание особо значимых литературных произведений для детей старшего возраста, подростков и юношества.

Вот нас и в СЭСЭСЭРЕ, и в новой России слушали и слушают напропалую — и ничего, никому предварительные поклоны не бьют. И занимаются этим не только «органы» — меня, например, «слухало» сперва ГКЧП, а потом, в девяностые, прослушивал один юный олигарх (правда, я так и не понял, на какой ляд я им сдался — и «гэкачепистам», и олигарху). И тоже ничего, хоть мне и предлагали в генпрокуратуре написать на юношу заявление: олигарх со временем возрос, возмужал, стал членом Совета Федерации, натурализовался в полном объеме, да и меня не убыло: живём пока, слава Богу, посапываем.

Чуть не сказал — помалкиваем.

Впрочем, как ни «слухали», а только СЭСЭСЭР промухали — ни «слух», каким бы тонким или, напротив, грубым, топорным он ни был, ни «стук» сами по себе ничего не решают. Всего лишь ритуалы власти, но не её мускульная энергия.

Власть становится ритуальной, самообманной, и это уже само по себе является её похоронами.

Подвластному народу остаётся только **п р и с л у ш и в а т ь с я**: когда же заиграют цимбалы?

...Мы с моим соотечественником Володей (назовём его так) сидим в одном ряду с дремлющим ксендзом. На нём короткая приталенная тужурка — при полном отсутствии талии, — из-под которой (из-под тужурки) широким суконным веером выбивается сутана. На ногах у ксендза неожиданно грубые яловые ботинки. Толстые кожемитовые подошвы, видимо, пробиты ещё и медными гвоздями. Похоже, обувка осталась у батюшки с первой мировой войны. Он стар. Непокрытая голова его, как старая, ссохшаяся, до костяного блеска вытертая трубка, едва курится слабым сивым дымком. Ксендз дремлет. На коленях — лукошко с яйцами. Когда в наше купе изредка, мимоходом попадает солнце, яйца первыми отвечают ему. Руки ксендза покоятся на витой ивовой ручке лукошка. Они у него тоже явно трофейные: ладони такие крупные, да ещё и красные с морозца, что лукошко в них кажется игрушкой.

Бритый его подбородок упирается в грудь.

Этот старик производит странное впечатление.

От наших русских батюшек веет умиротворением, что само по себе вовсе неплохо. Округлые, в меру потёртые, как заподлицо вписанные — словно костяные бильярдные шары в удобную бархатную лузу — в нашу грешную мирскую жизнь. Этот же, я прямо плечом чувствую, совсем другой.

Наши священники уже одомашнены, стали принадлежностью хозяйственного двора. Не зря утверждают, что звёздный час русской православной церкви прошёл, он был в двадцатых-тридцатых, когда она подвергалась гонениям, претерпевала, как терпели за веру и её бывшие прихожане. В войну же Сталин, принужденный обстоятельствами, преодолел свою застарелую, отступническую неприязнь к ней, сумел встроить её в систему государственных усилий, и больше церковь из неё не выпадала. Годы и годы пребывала она в ложном положении: вроде бы и ко двору, но — в задних покоях (если не на заднем дворе). Не на глазах. Этакая вдовствующая императрица.

Недавно у одного крепко пожилого современного литератора вычитал чудесную русскую пословицу: «В номерах служить — подол заворотить». Прямо про горничную Стросс-Кана, да и не только про неё, но и про самого Стросс-Кана тоже.

Как и про каждого из нас.

Сегодняшний русский священник в русской же толпе кажется инородным вкраплением. А если поискать определение поточнее — **п о с т о р о н н и м** (почти потусторонним). И держится соответственно: принижено. Мы ведь и сегодня остаёмся преимущественно атеистическим обществом (в служителей Господа Бога верим ещё меньше, чем в него самого), а уж в те годы, о которых речь, и по-давно.

Здесь же, бок о бок с польским ксендзом, мы сами кажемся инородными. Причём не только мы с моим спутником, иностранцы, но и все остальные тоже. Даже сухопарая старушенция в тёмном с огромным ридикюлем времён своей ветхо-

заветной молодости на коленях — так море после позабытого кораблекрушения, столетия спустя, выбрасывает, выталкивает на берег какой-нибудь никому не нужный спасательный круг — пытающаяся исподтишка, просительно заглянуть ксендзу в глаза, кажется тут неуместной. Он с лукошком, она — с ридикюлем. Вот вам и разница между православием и католицизмом. У нас бы всё было наоборот.

Мы все тут — его попутчики.

Большой, грузный — при сухой голове, — с покойно сложенными, сцепленными на тугом животе руками, он так глубоко ушёл в себя, что только слабое шевеление седины вокруг шлычки, скрывающей не то лысинку, не то тонзуру, обусловленное валким ходом нашего поезда, обозначает, что там, под нею, на глубине, нечто живое. Он и значителен — прежде всего этой своей всеобъемлющей погружённостью в самого себя. Эта его задумчивость, сокрушённость чем-то подспудным, равновеликим объёму молчания, в котором пребывает старик, старец, создаёт что-то вроде силового поля вокруг него. Оно плавает, незримо мерцая, в нашем купе, тревожно касаясь шероховатыми, обломанными краями каждого из нас.

Холодок пробегает по спине.

Конечно, тут сказывается само время. Все знаем, какую роль в очередном, на сей раз почти бескровном польском восстании играет не только «Солидарность», но и церковь, — да церковь, пожалуй, даже в первую очередь. Недавнее избрание Кароля Войтылы Римским папою не просто подлило масла в огонь. Едва ли не главная его цель — срезонировать дальнейшее, окончательное отложение Польши от СССР. И Папа, что до конца дней останется в первую очередь политиком и только потом понтификом, окажется блестящим резонатором — аж в Кремле, в пятках самих, отдаёт, особенно в сочетании с вкрадчивыми, но совершенно гугенотскими проповедями-отповедями папиного сменщика в Варшаве кардинала Глемпа.

Не знаю, в каких чинах состоит этот польский священник — я и в православной-то иерархии не очень разбираюсь. Судя по сукну, почти солдатскому, в тёмном его одеянии — самый что ни на есть обыкновенный настоятель какого-нибудь провинциального костёла. Но для меня он уже становится олицетворением самого церковного, католического Сопротивления.

И сопротивления, в общем-то, моей стране.

По мере продвижения нашего поезда в сгущающуюся и сгущающуюся тьму за вагонным окном дед возрастает в моих глазах если и не до самого Папы, то уж до кардинала Глемпа или до папского нунция точно.

Он же безотрывно думает о чём-то своём, не обращая на всех нас ровно никакого внимания. Может, вовсе и не о политике, а о чём-то житейском. Или, напротив, исключительно божественном. Неземном. Нездедном.

Не горит желанием нас благословить.

Мне кажется, вернее, мне хочется думать, что он глубоко и горько размышляет, сокрушается, страдает по всем нам, грешным.

И католикам, и мусульманам, и даже таким православным атеистам, как я.

По нам, грешным, не замечая нас при этом непосредственно вокруг себя.

Мне импонирует его повитая сединою, уже как бы из бритого мрамора, голова, упершаяся сослепу подбородком в грудную клетку, его несуетность и его светлый-светлый, отцеженный годами взгляд из-под полуприкрытых, набрякших век.

К этому времени по профессии я уже публицист, и мне хочется думать, что дед, чьё плечо я чувствую, думает, как минимум, о судьбах Польши. Хотя мне самому, дурню, уже пора бы поразмыслить даже не о судьбах Родины — для неё события в Польше со временем окажутся тем первым аритмичным толчком сердца, который со временем и разовьётся как раз в инфаркт миокарда, — а о собственной, конкретной и единственной судьбе.

Впрочем, о судьбе, что своей, что Родины, думай не думай — покатится, как покатится.

Упирающееся в меня плечо ощущается столпом, а не подпоркою к похилившемуся деревенскому плетню.

Когда строили хлебные амбары, ссыпки, то к глухой их стене всегда при-

страивали почему-то могучие, треугольные, как корабельные переборки или рёбра жёсткости, кирпичные или саманные упоры. Флеши. В тучные годы и амбары были тучные, с крутыми нагулянными боками. Сыпь, родимая, сыпь, кормилица, земля наша, матушка, не робей, не стесняйся: не лопнет стена, не разъедется! Как бы ни пухли амбарные недра, ни разогревались зимою почти что печным, русской печи, вчерашним, летним, хлебным зноем, а ни зёрнышка не просыплется.

«Брат» — поможет. Выручит, коли что, молча подставленным, надёжно привалившимся плечом.

«Брат» — назывались такие вот кирпичные или саманные богатырские упоры. Сколько смысла! — в заурядной, в общем-то, пристройке. И ещё пронзительнее становится метафоричность старинных русских фамилий: П я т и б р а т о в ы, С е м и б р а т о в ы... У меня у самого есть родня — Пятибратовы из широкого, винного, русского Предкавказья, села П р а с к о в е я. Да только после всех наших современных катаклизмов из действительно пяти и впрямь могучих, крепких братьев осталась в живых одна — с е с т р а...

Сегодня даже такие упоры рушатся. И вовсе не от хлебной и прочей тучности.

Брат... Нет, не братское плечо я, конечно, ощущаю. Но тем не менее мне, и мне тоже, право, ехать с ним спокойнее: не пырнут! Заступится, ежели что.

Несколько лет спустя ситуация в чём-то повторится. В американском поезде, в модерновом купе, окажусь вдвоём с одним из высших иерархов русской православной церкви — митрополитом Ювеналием. Он жив и сейчас и по-прежнему играет в патриархии видную роль. Тогда же мы с ним вместе очутились в свите у советского Президента, он же Генсек, Горбачёва. Отправляясь с визитом в Штаты, М.С. наряду с другим разнообразным народом взял с собой и нас. Меня по должности. Я работал в его аппарате — а вот то, что он пригласил с собой и митрополита, было внове. Тот уже одеянием выделялся в череде отутюженной партноменклатуры. Не то что не «один из нас», но и не один из них тоже: американцы пялились на него пуще нашего.

Представить, что Хрущёв или Брежнев взяли бы в поездку по Америке с собой кого-то из русских священнослужителей... Да это и представить невозможно! Горбачёв же ломал стереотипы. И в этом плане тоже: как-то в Германии, сопровождая его и Раису, я также оказался в компании теперь уже с другим и тоже очень положительным русским митрополитом — Питиримом. Этот седовласый, иконописный старец, сошедший с картин запрещённого тогда и не очень популяризируемого сегодня Константина Васильева, приехал отслужить панихиду по советским военнопленным, похороненным на провинциальном баварском кладбище. Горбачёва на панихиде не было, Раиса же и Ханне-Лора, жена тогдашнего германского канцлера Коля, печально стояли рядом, красиво выделяясь в подавляюще мужской, официозной толпе, хотя и были одеты вполне подобающим случаю образом. Кажется, шло начало лета — я запомнил, что среди молодых колосьев остро цвели маки. Полевые птички вполголоса вплетали свои незамысловатые иноязычные трели в красивую и плавную, тоже вполголоса, русскую речь. И немцы, и наши довольны своими первыми леди: те, не пытаясь тягаться с Питиримом, по очереди сказали перед братской могилой по несколько в меру проникновенных слов, поклонились, были естественны, сдержанны и миловидны. Никому из нас и в голову не могло прийти, что обе умрут так рано. Журналистка Ханне-Лора от какой-то странной боязни, болезни света (чем-то подобным страдал Марсель Пруст) — по некоторым другим глухим слухам, просто не выдержав болезни, покончила с собой. Наша же, Раиса — от л у ч е в о й болезни, что тоже как-то, хотя бы названием, связано со светом.

И мужья, похоронив их, надолго переживут своих симпатичных жён, на которых, вообще-то, изначально лежала печать отстранённости, которую мы раньше принимали за жеманность.

И с Питиримом, и с Ювеналием не раз встречался и после. Ювеналий —

может, в предопределении с именем — с годами не менялся и не меняется. Невеликого росточка, с неожиданно чёрными бровями и азиатским разрезом тёмных глаз, с красивым, хотя и тонковатым, женственным голосом, — его природа кажется совсем иной, чем природа Питирима. Если в Питириме больше ф и з и ч е с к о г о , то в Ювеналии — метафизического. Во всяком случае — книжного. Питирим при своём значительном росте стал с годами истончаться, как истончается, подъедается временем всё физическое на свете. Да тут ещё к старости добавилась злобная опухоль — она, в конце концов, и свела в могилу ставшего старше своих лет, белого, как лунь, и почти просвечивающегося на просвет — так просвечивает, натяни её, любая старенькая, застиранная м а т е р и я — митрополита Волоколамского и Юрьевского. В Ювеналии же за эти двадцать с лишним лет почти никаких заметных перемен: персонажи, как и духи небесные, не стареют. Всё та же умеренная щуплость, всё тот же росточек — всего в пригоршню взять можно, всё тот же немного дребезжащий тембр голоса... Когда-то на американском перроне я видел занимательную картинку: маленьким шагом идёт впереди, с митрополичьим посохом, мой будущий вагонный попутчик, а за ним вежливо, не опережая, редко шагает статный юный послушник в чёрном, торжественно неся на вытянутых руках белоснежный, с алмазным крестиком в челе, парадный клобук шефа, что, будучи водружённым на законное место, сразу добавляет владельцу, в л а д ы к е роста.

Не один я — находившиеся на перроне американцы, напоминаю, тоже с любопытством уставились на эту чинную троицу: на семяющего владыку, похожего для них на выходца из восточной сказки, на служку и, едва ли не с наибольшим вниманием, на величаво плывущий по воздуху — вот он уж точно не семенит! — царственный головной убор. На эту матерчатую, парчовую византийскую корону циклопических размеров, компенсирующую в своём владельце всё и вся.

Не меняется — года два назад, в такой же осенний день, как сейчас у меня за окном, в одном из соборов Новодевичьего монастыря слушал его чудесную речь памяти Раисы. Исполнялось пятнадцать лет со дня её смерти.

Только обласканная жаркими, длинными, как только что отточенные ножи, свечами позолота на митрополичьем облачении в осенней несцеженной стылости храма казалась ещё насыщеннее, гуще и ярче.

Осень... Если не патриарха, то — митрополита.

Мы вполне по-светски беседовали с ним в купе американского виповского состава. Говорили, что в идеальных представлениях о коммунизме есть нечто общее с христианским вероучением.

— Непонятно только, почему Михаил Сергеевич до сих пор не уберёт из вашего партийного устава норму об обязательности атеизма? — заметил, прищуриваясь, мой собеседник.

— Для кого обязательную? — уточнил я, будучи тоже сам себе на уме.

— Ну, для каждого из вас, коммунистов-атеистов...

Это было незадолго до очередного и последнего партийного съезда, и я тогда как раз входил в группу по подготовке новой Программы и нового партийного Устава. (Правда, где они теперь, та программа и тот устав, и для кого они теперь программа и, особенно, у с т а в? — а ведь сколько бумаги и нервов на них извешено!)

— Посмотрим, посмотрим, — ещё больше сощурился митрополит, приподымая на свет фарфоровую чашечку с чаем, настолько тонкостенную, что чай в ней просвечивался, как коньяк в дорогом бокале. Было на что «посмотреть».

Я знал, что в ряде «коммунистических» стран, в первую очередь в Польше, этого пункта в Уставе не то, что в последнее время, а вообще, изначально не было, и давно собирался протолкнуть это изъятие.

Забегая вперёд, скажу: особого труда это не потребовало. На костёр идти не пришлось: яблоко созрело, и яблоко упало.

Это уже не об уставе — он давно уже был стропами, удерживавшими в своих дырявых сотах один только воздух.

В Польше такого пункта и быть не могло. Проведи его кто-либо отчаянно

смелый самолично — и в партии не осталось бы ни одного коммуниста, кроме него самого.

Да и сам — под вопросом.

Какая большая разница между ними: между умницей митрополитом, пополнившим свиту Г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а р я, и местечковым, если вообще не деревенским, патером, ксендзом, угрюмо сгорбившимся сейчас рядом со мной!

Патер — я вижу, как заискивающе, словно перед самим Господом Богом, заглядывает ему в смежённые веки на осеннюю, подвядшую муху похожая бабулька супротив меня.

В России церковь всегда ищет поддержки у власти, в Польше же власть, любая, искательно ловит, как и моя старушенция супротив, пухлую церковную длань.

С моим советским спутником мы помалкиваем, как и предписано нам ещё на перроне. Два партизана. Молчим ещё и потому, что плохо знаем друг друга. Это сейчас, годы и годы спустя после той поездки, а может, и вследствие неё, мы дружны и откровенны друг с другом. На тот же момент, который я сейчас, два десятилетия спустя, описываю, мы только ещё принимаемся друг к дружке.

Из Москвы вылетали в ночь. И как раз за несколько часов до нашего вылета в Варшаву здесь объявили о введении военного положения. Поначалу делегация планировалась весьма внушительная, человек шесть-семь. Но когда пришла пора садиться в самолёт, из всей делегации мы с моим теперешним спутником оказались вдвоём. У всех остальных членов делегации вдруг обнаружились какие-то срочные, неотложные дела на Родине, а кое-кого и здоровье неожиданно подвело: золотуха, наверное, а то и понос. Я присмотрелся к парню, которому мне предстояло составить компанию. Малый как малый. Невысокого роста, но хорошо, вкрутую сбитый — так даже из масла в конце концов получают весьма твёрденький сыр, — в тёмном костюме и даже, в отличие от меня, в полночь уже в галстук. Пионера без галстука в те времена ещё можно было увидеть, а вот комсомольца, вернее комсомольского работника — никогда. А спутник мой был из ЦК комсомола. Делегация должна была состоять из журналистов и комсомольских работников. И в принципе паритет был соблюден. Я, стало быть, — журналист, он — комсомолист.

Я смотрел на него и думал: научились-таки в КГБ подбирать кадры!

И по этой причине предпочитал держать язык за зубами. Особенно после того, как визави мой сообщил о спешно готовящемся в верхах Указе о переименовании города Калининград в город Калёнинград.

Кстати, о молоке, масле и сыре. Пахту, которая образовывалась в нашей деревенской, ручной маслобойке (железную ручку её приходилось крутить часами, пока в ней, деревянной мини-шарманке, не загустевало), называли с к о л о т и н о й.

Сколотина. Так что, друзья мои, на моей малой, да и на большой родине не только людей, но даже и масло — сколачивают.

Ну и поколачивают, конечно. Но это уже повсеместно, по всему миру, как же без этого, особенно нынче.

Утомительным было не занудное верчение тоненькой железной рукоятки само по себе — невыносимо целый час сиднем высиживать на месте, под материнским мимолётным приглядом, когда душа так и рвалась на улицу, на волю, где ждала тебя тысяча куда более восхитительных дел...

В общем, есть причины помалкивать. Особенно — мне.

И вдруг, под внимательным ксендзовым взглядом польский наш сопровождающий друг просыпается, передёргивает со сна плечами, подымается и, помаргивая, зовёт меня в тамбур.

Не спутника моего дорогого, а меня. Может, потому, что перед отбытием я на Варшавском вокзале всё-таки успел хлопнуть рюмочку «выборовой».

И я тяжело, как заилившаяся чугунная баба (так и хочется сказать: путаясь в сутане), скрипя коленками, тоже приподымаюсь и (под тем же неожиданно

проснувшимся ксендзовым взглядом) тащусь вслед за моим персональным хитрющим контрреволюционером в тесный коридор нашего валкового, как сказал бы Набоков, германского вагона.

И мы с поляком утверждаемся с двух сторон вагонного, в палец толщиной, окна.

Невнятно лопочет, ропщет за моей спиной вагон. Вроде одно усилие, и я начну различать, понимать этот пока неясный, пограничный для меня говор с его засильем шипящих в ущерб нашему, русскому полнозвучию. Но мне для этого не хватает именно последнего усилия, воли и сосредоточенности. Мои мысли тоже косят — куда-то в разные стороны. Вот помрёт, думаю, Брежнев — не будет ли и у нас военного положения?

Персональный поляк мой тоже приваливается к окну.

Интересно: одно и то же мы видим с ним или разное?

Его негромкий, по-русски, вопрос, высказанный в окно, в толстенную, мёртвую, пуленепроницаемую мембрану вагонного окна, меня ошарашивает:

— Как ты думаешь, скоро ваш Брежнев помрёт?

Чёрт подери, да они сговорились что ли? Оба мои спутника: и советский, и антисоветский?

— Что ты имеешь в виду? — спрашиваю, не отлипая от окна.

— Ну, как что? — в окно же, в сумерки, в косо отлетающие чьи-то золотые, точнее — больше серебряные пока, глаза, проговаривает поляк. — Он же у вас на ладан дышит. Вся Европа знает... И даже Америка, — добавляет после паузы с нескрываемым злорадством и даже с каким-то угрожающим намёком, чертяка!

Далеко смотрел, похоже, поляк. Куда дальше меня, желторотого, хоть и были мы тогда ровесниками. Ровесниками, но он уже тогда, в восемьдесят первом, знал нечто такое, для чего мне ещё надо было повзрослеть на целый девяносто первый год.

До которого оставалось ровно десять лет. Даже месяцы совпадут: декабрь 1981-го и декабрь же девяносто первого...

Мне становится обидно за Леонида Ильича: свой своему поневоле брат. И я нарываюсь — сказывается, наверное, и рюмочка на вокзале:

— А что? Лучше Каня, чем Ваня?

Поляк отрывается от окна и в упор, с яростью воззревает на меня.

Кто такой Ваня — современному читателю пояснять не надо, хотя в скором времени, наверное, соль в подобного рода остротах окончательно растворится, истаёт, пропадёт, ибо Ваню уже, похоже, никто и не страшится. А вот насчёт Кани два слова сказать надобно. После отставки Владислава Гомулки, одного из столпов восточно-европейского социализма, обвинённого, помимо всепольской голодухи, каковая, если честно признать, не шла ни в какое сравнение с советским развитым недоеданием, ещё и в антисемитизме (печально знаменитое: «Евреям, которым Израиль дороже Польши, надо уезжать в Израиль» — и те послушно рванут, благо историческая родина их, похоже, голодухи никогда не знала и не узнает), здесь началась партийная чехарда. Коммунист Эдвард Герек, несмотря на свои крутые, шахтёра-репатрианта, плечи (в своё время немало повкалывал, выдавая «на гора», для сугрева соседнего германского капитализма, на шахтах Рурского бассейна) тоже не удержался. И вот тогда-то всплыл, правда, совсем ненадолго, как уже обречённый утопленник, этот самый Станислав Каня. Если у Герек были широченные, рабочие плечи, то у Кани широченной, вальяжной, оказалась совсем другая, нерабочая часть тела — он и впрямь просто обречён был уйти под воду, в небытие, продержавшись на плаву, по-моему, меньше года. Но это случилось совсем уж в канун генерала Ярузельского — тоже репатрианта, но вкалывавшего в молодости на алтайском лесоповале. Единственной альтернативой генералу мог быть, естественно, только маршал. С другой фамилией — например, Куликов, командовавший военной группировкой Варшавского договора. Чехословакам

шестьдесят восьмого года хватило генерала, Польше, с учётом польского гонора вообще и российско-польской исторической ретроспективы в частности, потребовался бы несомненно маршал.

Ще Польска не сгинела!

И вот тут-то, с учётом этой весьма реалистичной альтернативы и перспективы, сами же записные зубоскалы поляки и запустили на весь мир, особенно восточно-европейский, остроту, которую я сейчас с полутрезва и припомнил:

— Лучше Каня, чем Ваня!

Патриот и демократ — любой поляк, ещё со времён белорусского поляка, точнее полещука Фёдора Достоевского, есть одновременно то и другое — пепелит меня взглядом.

Я вспоминаю, что я всё же гость, и не варяжский. При этом почему-то спиной, шкурой под демисезонным пальтецом ощущаю на лету твердеющий ксендзов взгляд и с совершенной, мгновенно отрезвляющей ясностью понимаю вдруг, что дедуля, не православный-то, прекрасно понимает по-русски. Невозможно так по-русски молчать и при этом — не понимать.

И бросаю примирительно:

— Не кипятись.

— Дурак! — является мне ответом.

Гримаса-то без сомнений презрительная, пшековская, но тон вполне приемлемый. Тоже, можно сказать, международный. Миротлюбивый — не хватает, конечно, чтоб морду мне начистили прямо здесь, в вагоне. Причём никто иной, как сопровождающий.

Хозяин — гостю.

Хоть я всего-то и процитировал его же языкатых соотечественников.

Мы хмуро возвращаемся на свои места.

Ксендз вновь смеживает свои тяжёлые веки.

Я свои прикрываю тоже — кажется, на сей раз пронесло. У меня есть друг, который говорит: я столько раз пожалел в жизни о том, что сказал, но ни разу в жизни ещё — о том, чего не сказал. И, тем менее, всякий раз болтает лишнее.

Этот друган сидит во мне самом.

Мы троём дружно зажимаемся, советский же спутник мой как раз в этот миг и очухивается от дремоты.

— Где мы?

— In Poland, — с глупым смешком отвечаю я.

Конечно, мой немецкий оставляет желать лучшего, но на одну фразу, на одно-то слово меня всегда хватает. Не зря ведь в детстве и в сельской школе, и, после смерти матери, в интернате мне преподавали две прирождённые немки: меня даже на краевую олимпиаду по немецкому вывозили. Молодцы немки! Не бог весть какие красавицы, но на одной был женат сам директор нашего совхоза, нашенский тогда царь и бог, надо сказать, на удивление справедливый, хотя, по-божественному, и крутой, по фамилии Эрлих. Если не ошибаюсь, в переводе с немецкого — ч е с т н ы й. А на другой — так сам районный прокурор, фронтовик, добродушный гигант по фамилии Молибога.

Честный директор и прокурор — М о л б о г а! Это же надо!

И где только они отыскиали их — в данном случае имеются в виду отыскиали немки — в нашей глухой Ногайской степи?

Мой будущий друг, — раззява полностью, хоть и совершенно трезвый, потому как от рюмки «выборовой» на вокзале предусмотрительно отказался, забывший про конспирацию, вновь впадает в дрему.

Поезд втягивается в ночь, как сытый суслик в нору.

В конце концов оказываемся в каком-то селении. Поезд стоит здесь полторы минуты, чтобы немедленно проследовать дальше, в Германию, причём Западную, празднично светящуюся где-то там, за невидимым нищенским кордоном. Разлезается по швам — как раз по кордонам, по швам, и разлезается — социализма.

Где-то через эти же роковые десять лет мне предстоит наблюдать последний военный парад Германской Демократической Республики. Западная, стало быть, просто Германия (К слову сказать Bundesrepublik можно читать не только как Федеративная, но и как Объединённая, Союзная тоже — вот когда ещё западные немцы, и только немцы ли, заложили объединённую Германию. А Восточная, надо же, — Демократическая).

Для красного словца насчёт парада можно было бы написать и «принимал». Но принимали, разумеется, Эрих Хонеккер и Михаил Горбачёв. Мы же, свита того и другого, две слабо смешиваемые, как водка и пиво, свиты, два кордебалета при сём присутствовали. Парад почему-то проходил вечером. Во всяком случае — во второй половине дня. Не знаю, было ли это связано с некоей пафосной немецкой традицией: ночные шествия, факелы, подсвеченные валькирии — тоже как чёрные факелы. Не знаю. Скорее, это как-то связано с расписанием М.С. Всё-таки он здесь главный гость, но прилетел почему-то поздно и довольно рано улетал. До неприличия рано. Улетали мы прямо с банкета, на всём протяжении которого Горбачёв почему-то демонстративно общался, в основном, с Эгоном Кренцем, вторым секретарём, бывшим вожаком немецкого комсомола — М.С., наверное, и знал его по комсомолу, — нежели с Эрихом Хонеккером, седеньким, растерянным старичком, который всё время озирался, недоумённо поводя головой, как глухонемой, хотя русский знал не хуже Кренца. Просто Горбачёв «всю дорогу» поворачивался не к нему, а к более молодому и, как тогда казалось, прогрессивному и растущему, а дед во время этих «бесед» выглядел позабытым и вынужден был то и дело как-то напоминать о себе, жалко задирая свою седую и лысую — на фоне таких-то цыганских кудрей Кренца! — из этой своей немоты и позабытости.

Я тогда ещё вспомнил, как относительно недавно, три-четыре года назад, работая в «Комсомолке», получил выволочку в секторе печати ЦК за то, что будучи ведущим редактором номера, поставил в номер интервью своего же главного с Эрихом Хонеккером (главный находился в командировке в ГДР), который в то время — и в то, оказывается, тоже! — пребывал в опале: без совета с Советами, инкогнито съездил в Западный Берлин на свидание со своей же старшей, уже на пороге, родной сестрой...

Мало ли что мог увидеть!

И рассказать — Советам...

Банкет в помпезном зале с мраморными колоннами был в разгаре, когда М.С. неожиданно поднялся и, с трудом догоняемый семенящим Хонеккером, резво двинулся к выходу. У двери что-то коротко сказал догонявшему и запыхавшемуся, сухо приобнял его — это вам не брежневские засосы! И дал понять: достаточно, если его до аэропорта проводит друг Эгон. А он, друг, геноссе Хонеккер пускай остаётся с гостями: негоже, мол, хозяину покидать празднество с первым же линяющим с него гостем, пусть и таким важным.

Видимо, о чём-то хотел договорить с Кренцем ещё и в машине, наедине. Со временем Михаила Сергеевича и самого подведёт именно это неуважение к старикам...

Растерянный Хонеккер поплёлся назад, в зал, мы же, свита М. С., вынуждены были тоже повскакивать со своих мест и рвануть вдогонку за своим Генсеком.

Это была несомненная демонстрация со стороны Горбачёва. Но вот только непонятно перед кем: перед немцами — восточными, западными? Перед Хонеккером, перед Кренцем, который вскорости, пусть и на миг, всё-таки станет Первым, или перед кем-то ещё, на кого через десяток лет злорадно намекнёт мне в поезде мой польский коллега?

...Шурша громадными шинами, катились боевые машины пехоты, грохотали танки, тоже советского производства, «коробками» и шеренгами маршировали бравые парни в хаки с, казалось бы, крепко схваченными автоматами в руках, по самые локти обтянутыми белоснежными перчатками, что в слепящем свете прожекторов казались ещё ни разу не стиранными бинтами.

Им засучить бы рукава — и картина была ещё достовернее: сейчас же наши автоматы, завоевавшие, только не в нашу пользу, весь мир, точь-в-точь, что те самые шмайсеры...

Находясь на наспех сколоченных трибунах неподалёку от Горбачёва и Хонеккера, я наблюдал за инсталляцией без особого подъёма. Что-то мешало. То ли какая-то давняя, генетическая ассоциация, то ли нечто другое, совсем сегодняшнее?

Тем более, что густая толпа по обе стороны улицы — по-моему, это была Унтерденлинден — крепко повита темнотой. И поэтому казалась ещё более густой и слитной, чем на самом деле. Толпа выкрикивала, скандировала, дружно взрыгивала что-то совсем не духоподъемное.

Среди этих её мерных, явно под чью-то дирижёрскую палочку взрыгиваний даже я со своим интернатским дойчем явно различал одно, но весьма убедительное:

— Freiheit! Freiheit!

Мало им, видите ли, демократии — требовали ещё и свободы.

И обращались почему-то истошно не к солдатам с перебинтованными руками, что, вообще-то, было бы куда логичнее. А к нашей деревянной трибуне-временке. К Горбачёву. В данном случае многотысячные людские толпы собрал даже не сам парад. Собрала трибуна. Собрал Горбачёв. Не старинная улица, превращённая на время в плац, а именно трибуна и оказалась в центре внимания. Сценою оказалась. И М. С. на ней — главным действующим лицом. В толпах же, собравшихся кучно под знаменитыми берлинскими липами, просто зевак, похоже, тоже не было. Там тоже тесно сгрудились лица. Действующие. Завтрашнего дня.

Нечто похожее увижу чуть позже в Пекине.

На Тяньаньмэнь.

События на этой площади также совпали по времени с приездом Горбачёва. Китайцы так хитроумно прокладывали маршруты перемещений М.С. по Пекину, что они ни разу не пролегли через неё, самую большую в мире и до отказа запруженную протестующей молодёжью.

М. С. в те весенние дни ощущал явный дискомфорт.

К тому времени он уже почувствовал себя любимцем публики и в СССР, и за его пределами. И люди рвались к нему через все кордоны и загородки, и он их не сторонился, не робел, открыто и смело шёл на контакт. То был счастливый миг и в его судьбе, и в судьбе громадной части мира. Они на какое-то мгновение нашли друг друга. Я уже несколько раз писал в разных местах, что во времена Горбачёва (их даже временами назвать нельзя, эти жалкие крохи со стола времён, что оказались даже мизернее, чем собственно «горбачёвский период» власти) народ и власть оказались ближе всего друг к другу, на расстоянии вытянутой руки. Вон, в Горбачёва даже стреляли прямо с Красной площади — во власть, с самого средоточения власти, куда уж ближе? Я и сам, один из тогдашних представителей «высшего эшелона» вполне и неоднократно мог получить непосредственно в морду, причём прямо на той самой Старой площади, которую сейчас, с окончательной победой демократии, и огораживают — ну, не от иноземных же захватчиков? Стремительно, трёхметровыми железными пиками, точь-в-точь, как вокруг Летнего сада, которые никаким народным приступом не возьмёшь: повиснешь, распоровши брюхо.

Но это был и почти тот же самый миг, когда человеческая надежда и её же персонифицированный, очеловеченный облик вновь оказались почти вплотную друг к другу.

Миссия и мессия.

Не знаю, как насчёт мессианства, но м и с с и ю свою Горбачёв, несомненно, если и не осознал, то — ощущал. Купался в людских массах восьмидесятых, как золотая рыбка в океанском прибое. Толпа же, независимо от национальности, и несла его бережно на высоко вытянутых руках, как флаг. Чтобы вскорости, как то и водится у людей, швырнуть его жёваной тряпкой себе под ноги.

Увы.

Горбачёву, который во всех своих тогдашних поездках ставил в положение хуже женского и свою, и чужую охрану тем, что любил останавливать свой бронированный утёг посреди любой улицы и запросто подойти к любому скопищу зевак, конечно же, аж зудело подруть и к Тяньаньмэнскому.

И Тяньаньмэн его ждала.

Даже на островках, в дельте реки или в сплетенье каналов, где располагалась резиденция, в которой он остановился, по вечерам были слышны отдалённые, но очень внятные, тысячеголосые возгласы:

— Гор-ба-чёв! Гор-би!

Горбачёв их слышал. Улавливал своим южным музыкальным слухом. Я тому свидетель. Он с группой своих сопровождающих, в каковой вместе с Лёней Филатовым, Валентином Распутиным был и я, прогуливался в ожидании Дэна Сяопина, который должен был прибыть на дружеский ужин, когда издалека, из центра города, но явственно-явственно — в вечерней предвесенней неге — донеслось это журавлиное, подлётное:

— Гор-ба-чёв!

Всё же китайцы чаще звали его Горбачёвым, нежели Горби. Русский язык им привычнее.

Призывы Горбачёву льстили: он даже и наше, временных, нижестоящих спутников по его короткому задумчивому променаду, внимание на них обратил. Акцентировал:

— Слышите? Зовут...

Как будто где-то в глубине души опасался: а вдруг не слышим? Тугоухие...

Мы, конечно, слышали, хотя подзуживать его, разумеется, не хотели. Как-никак понимали, где мы и кто мы. Почему мы? Поднебесная уже тогда грозно расправляла крылья.

— А что я могу сделать?

Сказал это просто и грустно.

Ему несомненно жаль было тех, на площади, и он наверняка догадывался, какая судьба их скорее всего ждёт. И чувствовал, всеми фибрами души и тела, к а к бы они его там встретили. И как старшего единомышленника, и как спасителя. Причём последнее в данном случае можно писать и с большой буквы. И он, в общем-то, знал что им сказать. И их диалог прогремел бы на весь мир и даже на долгие-долгие годы вперёд. И в пространстве, и во времени. Его, конечно, так и подмывало...

Но он ещё лучше нашего понимал: К и т а й.

И кое-что ещё, не менее существенное: Д э н С я о п и н.

Которого, в меру, не по-китайски улыбчивого, маленького, но с ещё выпуклой, не старческой (может, подложной, на ватине?) грудью и с большой — уж точно не подложной! — головой с вымеряющими, большими и странно светлыми, тоже не китайскими, глазами, он сейчас и ждал. Нервно прогуливаясь по ещё сквозному восточному саду, как Наполеон перед Ватерлоо.

...Да, ещё обращали на себя внимание дэнсяопиновские залысины, даже промоины в реденьких, зализанных, рыжеватых волосах. Ещё б нарукавники, и — ни дать, ни взять — главный бухгалтер.

Мировой романтик Ленский, тоже, правда, со значительными залысинами на круглой, красивой, лещиннообразной (имеется ввиду орех, чинарик, а не куст) голове, ждал мирового Главбуха.

В гости.

Взаимное хлебосольное гостеванье и есть самая жёсткая разновидность дипломатических сражений.

Мини-Тильзит.

Горбачёв пробыл тогда в Китае несколько дней. Причём улетали мы не из Пекина, а из Шанхая. Дэн очень хотел, чтобы М.С. увидел этот город, уже тогда поражавший воображение всех, кто привык считать Поднебесную всего лишь закоснелой провинцией мира, очень нахваливал ему тогдашнего градоначальника Шанхая.

Его звали, если не ошибаюсь, Цзян Цзэминь. Всё остальное вы и так поняли: именно этот мэр и стал потом мэром всего Китая. Он же после, по-моему, и хоронил легендарного Дэна.

И все дни пребывания М. С. и в Пекине, и даже в Шанхае студентов на площади не трогали. Но стоило советскому правительственному ИЛ-62 взлететь из Шанхая, с точки роста «модернизированного» Китая, площадь стала обречена.

ИЛ-62 улетел, а на площадь, лязгая гусеницами, вскоре вошли, если не ошибаюсь, Т-72.

Стон и плач столбом встали над Тяньаньмэнем...

Дэн Сяопин в тот последний дружеский вечер был невероятно любезным и домашним, умиротворённым. По-моему, пришёл даже не один, а с дочерью — за неимением жены. Ужин давали в официальной резиденции М.С., но от имени Дэна Сяопина. Очень красиво, даже с восточной изысканностью обставленный. Однако камерный, домашний, уже хотя бы потому, что проходил не в закрытом помещении, а на затканной восточными зацветающими лианами веранде.

...Возгласы насчёт свободы на Унтерденлинден были, конечно, намного слышнее, чем отдалённые призывы с Тяньаньмэня, потому что выплёскивались прямо в лицо М.С., освещённому на трибуне не меньше, чем марширующие белоручки с автоматами внизу: он был на сцене у рампы, сцена же, на которой внизу клубились толпы, рампою покамест не снабжена.

ГДР, конечно, не Поднебесная. И Хонеккер, разумеется, не Дэн Сяопин.

Однако.

И Горбачёв призывам не внял. Жест солидарности с толпою он, по существу, сделает позже — когда досрочно сорвётся с торжественного ужина.

Но это будет уже запоздалый жест.

И толпа, почти не заметив и не оценив его — она ведь испокон веку любит direktakсьон — сама назавтра встанет уже под рампу.

Зрители окончательно станут лицами действующими. Исполнителями.

История время от времени сама, как бы в укор и назидание властителям дум, вызывает их на бис.

Из полутьмы.

И сразу же — тьмы и тьмы. Помните: «Нас тьмы и тьмы»?

О, сегодня происходит нечто похожее. Африка и Греция — только начало. Всё мало-помалу перекинется (дай Бог, чтоб помалу) и на Западное полушарие, да и на Восточное тоже. Мы подошли к дискретности одной идеологии, безудержного потребительства, и к зарождению, вернее, возрождению другой! Хотя бы относительного р а в н о п р а в и я. В том числе и в потреблении. Чего не достичь без урезания appetitов кучки обжор. Похоже, рановато похоронили коммунизм, да к тому же и не в том положении, не в той позе, в которой, скажем, завещал похоронить себя Брежнев.

И лидеры, поверьте мне, найдутся. Либо совершенно новые, либо замечательно перелицованные.

Побывав недавно в Киеве, я вспомнил, как два десятилетия назад кучки людей на его улицах, завидя выходящего к ним из «Зила» Горбачёва, истошно вопили: — Щер-биц-ка-го — на пен-зи-ю! Щер-биц-ка-го — на пен-зи-ю!

Щербицкий, следовавший чуть поодаль от Горбачёва, постаревший, уставший. Почти как Хонеккер — только голову вверх не задирает, потому как и так был выше ростом, чем М. С.

Я слышал, как вечером того же дня Михаил Сергеевич в сердцах, но почти про себя повторял:

— Нет, Щербицкого я им не отдам!

Кто его, даже его, послушал?

И сегодня на тех же улицах кричат по существу то же самое:

— Геть!

Люди ищут, пробуя на зуб, всё новых и новых лидеров, которые соответствовали бы либо глубине их страданий, натуральных или мнимых, либо силе их заблуждений.

Неореволюция, обозначившаяся когда-то в мини-эпоху М. С. (по времени, а не по взлёту надежд), вновь подступает к горлу двадцать первого века.

* * *

...Итак, мы оказываемся в каком-то глухом селении на самом западе Польши. Возможно, нас специально засунули сюда. От греха подальше. Вплотную к капитализму. Заводят в частную гостиничку, где мы только успеваем бросить чемоданы. И тут же торопят на какое-то общественное мероприятие. Даже не покормивши ужином. Правда, здешние активисты совершенно свободно болтают с нами, не в пример варшавянам, по-русски. Может, потому что вокруг безлюдно и темно, хоть глаз выколи. А может, как раз в силу близости капитализма. Вот он, высится во тьме, как непотопляемый авианосец — так тогда казалось — под сонным боком. Им ли тут опасаться двоих незадачливых советских пропагандистов?

Всё равно победим!

Два молоденьких местных активиста, без умолку болтая (как и мой когда-тошний престарелый домовладелец, точно так путая польские слова с русскими, причём и те, и другие кажутся мне просто моей же покорёженной речью) весело везут нас по спящему, пустынному польскому местечку на, как они выражаются, «бельведер».

Я смутно припоминаю, что значит «бельведер» — что-то связанное с дворцами и знатью.

... — Что это ещё за Бельведер? — спрашиваю я.

— Сейчас увидишь! — регочут провинциальные активисты.

Парню же из Варшавы явно не по нутру такая наша взаимная болтливость и наше взаимное дружелюбие. Он задирает воротник пальто, хотя в микроавтобусе — минивэнов тогда ещё и в помине не было — тепло и уютно. И вновь погружается в дрему.

Но нашим новым сопровождающим до него, похоже, и дела нету. Я давно заметил, что в вопросах великого брожения умов, революции и контрреволюции столица и провинция, Париж и Вандея, всегда далёконько отстоят друг от друга.

Машина легко взбирается на взгорок и подъезжает к какому-то сарайного типа строению, правда, часто и насквозь простроченному ярко освещёнными окнами.

Нас вытряхивают из микроавтобуса, широко распахивают перед нами скрипучую амбарную дверь:

— Проше, панове!

И мы гуськом, неуклюже входим.

И — невольно зажимаемся. Даже наш главком из Варшавы.

Потому что прямо из щелявого предбанника попадаем в ярко освещённый зал. Судя по всему, зал кинотеатра. Я замечаю в дальнем его конце полотно экрана (гигантская простыня, обнародованная после неудачной брачной ночи) и сцену. Деревенский клуб. Так было когда-то и в моём селе: и кино, и танцы-шманцы, и хор Пятницкого — всё в одном месте. Кроме обжиманцев: они за углом. Но в данном случае зрительный зал перекроен. Вся середина его освобождена от стульев, и поперёк неё установлен длинный-длинный стол, а может, ряд составленных вместе столов, покрытых вместо скатерти аккуратно пришпиленными к столешницам листами толстой и прямо-таки вощёной ватмановской бумаги.

И на столах — это я с дороги и с голодухи даже с зажмуренными глазами учуял — глубокие тарелки с отварной картошкой и всем к ней причитающим.

Включая выборову.

Но и это ещё не всё.

Между блюдами с едой и бутылками с выпивкой вдоль стола то там, то сям стоят простые глиняные вазы, кувшины с ветками рябины, унизанными яркими гроздьями ягод. Красных, оранжевых и даже чёрных. Дёшево и сердито! У татов говорят: у хорошего хозяина не только жена, но даже собака во дворе должна быть красивой. Не знаю, как там насчёт хозяйственности, но если верна эта грубоватая присказка, то поляки и есть самые главные таты на свете. Особенно — полячки. У них даже оконные переплёты в самых что ни на есть бедных хатках повторяют своей обыденной геометрией Христово распятие.

С этого места подробнее.

Зажмуриваемся мы, конечно же, не только от яркого света и предвкушения долгожданного перекуса.

Мы входим, вваливаемся, можно сказать, и они звонко хлопают в ладоши. Прямо как долгожданным — это при военном-то положении. Как будто мы Филипп Киркоров и Дима Билан (кажется, оба к тому времени уже родились). Фронтальная агитбригада, чёрт подери, на передовой борьбы с социализмом.

Вот почему мы с моим спутником, неуклюжие увальни, в своих мешковатых совковых пальто — притом, что девушки сплошь в декольте — и остолбеневаем. Столбенеет, кажется, и наш варшавянин. Он, похоже, тоже не знал, куда нас везёт.

А девки при этом ещё и хохочут. Полнозвучный грудной смех перекачивается из конца в конец стола как обольстительная изнанка их же рукоплесканий. Я на миг вспоминаю того давнего пожилого поляка в лифте. Какие чудесные славянские лица! Штук семнадцать Барбар Брыльских, едва разбавленные двумя-тремя функционерами мужского пола. Ясно, функционерами: когда мы сбросим, наконец, свои пальто на руки смеющимся провожатым из микроавтобуса, на нас с приятелем окажутся точно такие же жалкие галстуки на резинках и пиджачные пары.

Стулья тоже кинозальные: они сбиты общей планкой, и, чтобы рассадить нас, всем собравшимся приходится сперва встать, отодвинуть оба ряда от стола и только потом уместиться вновь.

— Дорогие наши советские друзья! Вас приветствует молодёжь местечка такого-то! — встал расположившийся во главе стола один из парней, что и привезли нас сюда.

У меня тотчас мелькают две коротенькие, куценькие мыслишки. Первая: долго-го мы тут не слышали таких слов! И вторая: какая-то странная молодёжь — почти сплошь однополая. Ну и пусть! — отмахиваюсь от этой своей мыслишки, — это даже и лучше, интереснее!

Дают слово и контрреволюционеру из Варшавы, который тоже примостился подальше от пенкных пань, в торце стола.

— Выпьем! — обречённо произносит он.

Два раза нам с приятелем повторять не надо. Мы ведь все свои скудные комсомольские командировочные давно оставили от безделья в гостиничном баре «Леха Валенсы». Странное дело: вроде военное положение, вроде наша взяла, а нам в этой ночлежке на каждом шагу, от первого попавшегося швейцара и до последней, полуночной подавальщицы, действительно с гордостью нащёпывали:

— У нас всегда останавливался Лех Валенса!

А ведь он, зараза, уже с полгода как на нелегальном положении. Неужели на нелегальном и здесь? Может, и сию минуту садит пиво (немецкое!) где-нибудь здесь же, за стенкой?

Шахтёры, конечно же, предпочитали водку. А вот приходящие им на смену электрики наверняка пиво, что уже на полпути к героину: смена смене идёт!

Гостиница была полна. Но из советских мы тут были одни — вот если бы танки вывел не Войцех Ярузельский, а Анатолий Куликов, нас была бы туча, — но не думаю, что обслуживающий персонал и полякам, всем и каждому, объявлял:

мол, тут проживал (ет?) Валенса. Мне кажется, они с умеренным польским гонором оповещали об этом исключительно нас, двоих советских командированных.

И это было тоже польское сопротивление — на сервильном, гостиничном уровне.

Фельдмаршал Суворов стал особо приближен ко двору не в связи с Альпами, а после разгрома Костюшко — по-моему, даже именно после этого и получил генералиссимуса. А потом скорым пешим маршем, прямо из подвластного Екатерине царства (было королевством — стало, по русской «транскрипции», — царством) во главе своей оперативно-тактической мобильной группировки был отправлен венценосной самодержицей в Оренбургские степи, на поимку русского казака Пугачёва. Вот так: давишь фронду в почти чужом, дальнем углу, а она, треклятая, вылезает чирьем в собственном твоём заду. (В былом троне польских королей, как о том недавно написал мой друг публицист Анатолий Юрков, Екатерина велела прорезать дыру и использовала его как толчок над ночным горшком).

Знали бы все эти швейцары-горничные-подавальщицы как, пользуясь отъездом с православной нашей Москвией и, как нам тогда казалось, почти недостижимостью для неё, зубоскалили мы с моим приятелем в том же польском гостиничном номере над тем же нашим родным, современным нам престарелым Ильичом! Сейчас-то, задним числом, мне даже кажется: чрезмерно зубоскалили.

Я всегда не против посмеяться над своими, да и над самим собой. Но не люблю, когда это делают чужие.

...Самое удивительное, что и нашим хозяйкам, похоже, два раза предлагать не надобно. Пир закипает горой — грех ведь позволить картохе окончательно остыть.

Говорит мой приятель. Он и не ждал, когда ему предоставят слово. Просто задирает ладонь вслед за варшавянином и от нетерпения аж пальцами шевелит.

Я уже догадываюсь, о чём он, подлец, сейчас речь толкнёт. И не ошибаюсь.

— За красавиц, собравшихся за этим столом! — восклицает он, поднимая стакан, и победительно смотрит — сверху вниз, поскольку уже встал в полный рост — на меня.

Ну да. За кого же ещё и можно пить после стольких дней воздержания в польской гостиничке.

Кто б отказался.

Мы, мужчины, дружно встаём — даже варшавянин медленно, словно тайный гомосексуалист, поднимается — вслед за моим соседом-поночёмщиком (номер-то у нас в Варшаве один на двоих, это здесь, в польском Мухосранске нас, похоже, расселяют). Так что, ещё вопрос: кто есть кто? Я вместе со всеми опрокидываю стопку, а сам лихорадочно соображаю: какой же тост сказать мне? — ведь приятель буквально вынул его из моего рта. Наверняка следующим предложат выступить мне.

Ну, не за польско-советскую же дружбу!

Но мне везёт. Следующее слово дают всё же не мне, а второму из пареньков, доставивших нас в Бельведер. И он произносит то, что и должен был произнести. За нас двоих, пришельцев из Советского Союза! (Мне кажется, что я и сейчас живу в этом иммиграционном качестве).

Хлопаем. Картошка уже обжигает даже меньше, чем водка. Тут вообще есть, над чем порезвиться: грибы маринованные и солёные, мочёные яблоки, от одного взгляда на которые слюна течёт аж по подбородку, колбаса и даже кендюх. Это тоже, пожалуй, разновидность колбасы, только вместо свиной кишки в ней используют для начинки свиной желудок. Требуха — последний раз я это пробовал в детстве. Зарежут свинью и самое вкусное блюдо назавтра — кендюх.

В общем, местечковый польский социализм в самом что ни на есть развитом виде.

Чего, спрашивается, протестуют, выкомариваются? Впрочем, эти, кажется, ничего, не митингуют. Сидят почти смирно.

— Слово имеет наш друг Сергей Гусев.

Надо же — даже фамилию разузнали и запомнили.

В общем, чаша сия не миновала и меня.

И я поднимаюсь с полным стаканом, но с совершенно пустой головой. И ляпаю первое, что приходит в голову:

— За добрососедство...

Публика явно скучнеет.

— ...Имею в виду — за моих соседок справа и слева.

И попеременно, с заданным стаканом в руке целую, наклоняясь, в щёчку и левую, и правую.

Застолье закипает...

* * *

— Вот тут я и лежал, — вдумчиво сказал Сkläров, вперившись в пологую ложбинку неподалёку от шоссе. Засунул руки в карманы синенького, простенького чиновничьего плащика и замолчал.

Мы неловко топтались у него за спиной, понимая полную свою ненужность в этом месте и в этот час. Понимать-то понимали, но делать нечего. Не разбредаться же по выгону, делая вид, что ищем какие-нибудь польские лютики-ромашки. Время такое, ноябрь, что никаких тебе однолетников-многолетников. День какой-то незрячий, пустой и промозглый. Слава богу, хоть за шиворот не льёт. А Сkläров — наш общий, самый большой начальник. Возглавляет делегацию, в которую вхожу и я. Делегация из четырёх-пяти человек. Но сейчас, по прошествии четверти века, отчётливо помню только самого Сkläрова, его помощника — моего земляка-ставропольчанина, который, кажется, прямо-таки родился чьим-то помощником — настолько расторопен, услужлив и приспособлен жить чужой значительной (хотя бы на его взгляд) жизнью. Ну и, конечно, самого себя. Разумеется, с нами ещё и несколько поляков: Сkläров — заведующий отделом пропаганды (тогда отдел назывался ещё пропагандой, а не идеологическим) ЦК КПСС, большая шишка, ему положена свита.

Правда, на шишку никак не тянет.

Никак не подходивший своей тяжелой осёдлостью на роль Харона.

Ведущие номер редакторы «Комсомолки» (главный или его заместители) иногда поднимались по вечерам наверх, к правдинскому начальству: взять пораньше, не дожидаясь ТАССа, копию официоза, а то и подсмотреть, посоветоваться, как и где «Правда» размещает его. Подстраховаться у старших товарищей. Пробавлялся порой этим и я. Бывал и у Сkläрова — он довольно часто вёл номера «Правды». В тихом и просторном, светлого дерева, кабинете сидел под зелёной лампой, как на препараторском стекле, совершенно невозмутимый человек. Сфинкс. Сфинкс в нарукавниках. Представляете, если бы на передних лапах египетского сухопарого сфинкса были бы ещё и чёрные саржевые нарукавники?

Что ж, материалы бывали и такие, что и перчатки б не помешали.

С нами, комсомолятами, Сkläров бывал неизменно доброжелателен, немногословен и сух. Завтрашние, ещё полупустые правдинские полосы, точнее — их выкройки (рукав наживлён, воротника ещё нету) висели на стене. Подходи, подглядывай. Мы часто брали у него официозные снимки, не доверяя собственным фотографам. Всякие там заседания, президиумы. Наши ведь всегда пытались снять с выкрутасом, с «живинкою», а в «Правде» официальные карточки все на одну колодку, не подкопаешься.

Зато как же был злорадно счастлив наш замечательный фотокор Илюша Гричер, фронтовик, весельчак и бабник, окончивший свои дни где-то в госпитале для одиноких в Израиле — я всегда считал, что одиноким можно быть только в большой стране, оказывается, в крохотной одиночество ещё одиночнее, — когда однажды утром вбежал в наши собственные, комсомолкинские начальственные кабинеты, потрясая «Правдой» над головой:

— Посмотрите: у них же два Горбачёва!

В самом деле — два. Один стоит за трибуной, читает доклад, а второй, на этой же заглавной фотографии, чинно сидит у него за спиной, за длинным столом президиума и внимательнейшим образом слушает собственное же выступление.

— ...А вы нас учите, карточки у них занимаете...

Смеху тогда было! Но Горбачев, не оправдав тайных надежд Илюши Гричера, говорят, тоже посмеялся:

— Генеральных много не бывает...

И гроза миновала. А представляете: два Брежневых?

А Сталиных? Тут даже представить страшно!

Не знаю, как другие, но лично я при всей его доброжелательности и даже отстранённости от любых посетителей всегда входил в полуночный кабинет Складорова с некоторым внутренним напряжением. Так близок казался он мне к большой политической кухне. И кабинет — прямо-таки смежный с кухней, и его хозяин.

Как будто входил если и не к великому инквизитору, то уж точно — к великому магистру.

Знал бы я тогда, переступая время от времени складоровский порог, что моя судьба в какой-то степени окажется вскоре связанной и с его судьбою.

В конце восьмидесятых Юрия Александровича уже с должности заведующего отделом ЦК отправят на пенсию. У отдела появятся новый заведующий и новые заместители заведующего, в том числе и я.

А пройдёт ещё несколько лет, и часть кабинета, который когда-то так впечатлял меня, вообще перейдёт ко мне.

И вот мы встретились со Складоровым вновь. Я оказался в его делегации. Повидались с генералом Ярузельским, участвовали в каком-то двустороннем «круглом столе» (пытаясь сметать на живую нитку его разъезжающиеся половинки). Потом переместились в Силезию. И здесь после встречи с партийным комитетом одной из шахт Складоров вдруг попросил отвезти его на какой-то определённый километр тутошнего пригородного шоссе. Помощник, понятное дело, просто не мог оставить патрона в покое, остальные члены делегации от нечего делать тоже увязались за ними. Так мы и оказались здесь. В сотне шагов от пустынного шоссе, под пустынным незрячим небом, среди жалких кустиков пожухлой, сивой, цвета ноябрьского неба, чужеземной травы.

— Вот тут я и лежал, — повторил Складоров, ещё глубже засунув руки в карманы. — Пока меня не подобрали свои...

Голос у него вообще тихий и ровный. Но тут проскользнуло что-то такое — как галька на речном перекате, — что мы, мгновение потоптавшись позади него, всё же отступили и молча разбрелись кто куда.

Кроме помощника. Он так и стоял с шедовой суконной шляпой в руках. Вроде как только что снял её с собственной головы.

Быстрее всех нашлись поляки:

— Юрий Александрович! У нас в машине кое-что есть...

Складоров обернулся с ничего не понимающим, отсутствующим взглядом. Глаза у него светлые, русской речной волны, повторяющей цветом слезу, но в данный момент и в них обозначилась рябь.

Ветер босиком пробежал.

Я увидел другого Складорова.

А ведь он, оказывается, был батальонным разведчиком. Ростом вышел, а вот мяса, похоже, так и не набрал.

Если не ошибаюсь, шестьсот тысяч таких, как он, девятнадцатилетних и старше, полегло, не поднявшись, по польским буграм и буеракам.

По курганам горбатым, по речным перекатам.

Вот почему Россия до сих пор не может подняться с колен, позабытая в придорожной канаве второй мировой.

А тут ещё и третья подкрадывается.

Революции всегда идут если не рука об руку, то — рядом с войнами.

Я убеждён в неизбежности революций. Только в результате них последние,

в конечном счёте, становятся первыми, что — единственно — и предопределяет развитие человечества. Пока первые релаксируют, упиваясь комфортом, который и дарует им это самое первенство, и если о чём и заботятся, так только о сохранении статус-кво, последние скручиваются — в том числе обстоятельствами, а не только уязвлённым самолюбием, — в пружину, чтобы рвануть. Пробить небесную твердь. Они возносят не только сами себя. Жизнь заключается не в самой взбесившейся (с точки зрения всеобщего статус-кво) комете и даже не в её ядре, а в шлейфе, который она выносит, как задранный подол, следом.

Теория эволюции — это не более чем разновидность религии, чьё главное предназначение, как известно, примирить бедных с бедностью, с их собственным положением, с богатыми и с властью в конце концов (которая всегда почему-то у богатых: как только те же вчерашние бедные приходят к власти, они тоже тотчас становятся богатыми).

Скачок в развитии человечества происходит даже не в момент закипания, а исключительно в миг — длящийся — кипения, когда и не поймёшь, где верх, а где низ. Кто внизу, а кто — уже наверху.

С какого насеста на тебя каплет.

А вот войны — мне до панической дрожи в суставах хотелось бы надеяться, что этот эпилептический пароксизм в общечеловеческом организме не так уж и неизбежен.

Но...

Печально, однако факт: ничто нас так не делает более зрячими, как опыт войны. Может, потому, что он даже страшнее и непреложнее, чем эксперименты революций (и контрреволюций тоже).

Шёл, повторяю, восемьдесят седьмой год. И про должность Складорова я уже не раз упоминал. Не говоря уже о стране «происхождения».

Вообще-то, страна происхождения у него ещё более обширная, чем тогдашний СССР — в о й н а.

Парторг растерялся.

— А вообще-то, не могли бы вы оказать мне одну услугу, — пришёл на выручку ему Складоров.

Вот тут он и сказал насчёт того самого километра. Вспомнил.

Да.

Тут мы и поехали.

Не знаю, о чём думал Складоров, угрюмо прохаживаясь по пустому, выхолонувшему и бесприютному польскому выгону, где даже пожухлая трава, бурьян хрустели под ногами, как чьи-то юные и давно истлевшие косточки. О себе молодцом, окровавившим когда-то этот жёсткий, всключенный полог чужой земли, как девицы в его — тогдашнем — возрасте кровянят чужие постели первой своей, ещё невинной, плацентарной кровью?

«Руда» — старинное, славянское наименование крови. По-моему, так же звучит она и по-польски. Гоголевский пасечник Рудый Панько не просто Рыжий, а К р о в а в ы й Панько. И даже, возможно, с польскими корнями. Кровями. Руда, в первую очередь, железная (она даже цветом похожа) — тоже от «крови». Хотя в шахте, в которую на следующий день спускались-таки мы со Складоровым, добывали всё же не железо и даже не уголь, а соль.

С о л ь — какой подходящий маршрут выбрали для бывшего батальонного разведчика!

По-моему, она даже на зубах у него скрипела.

...Или он думал о себе — завтрашнем?

Либо о том, как бы избавиться от этой нашей докучливой шайки за его спиной?

С ним, завтрашним, пенсионером, мы даже жили какое-то время по соседству на казённых дачах в Успенке, что в Подмосковье, по Рублёвскому шоссе. Сейчас бы нас с ним туда и на порог бы не пустили. Тем более, подгнившего порога моей

тогдашней деревянной дачки тысяча девятьсот сорок седьмого года рождения (моя ровесница!) уже наверняка и в помине нету. Там теперь сплошь гнездовья чиновного олигарх-состава, что чем дальше, тем больше напоминают некие средне-вековые фортификационные сооружения.

Заходил он ко мне и на улицу Правды — удивляюсь, почему это её до сих пор не переименовали в связи с изменением общего положения в стране? Я, как уже упоминал, сидел тогда в кабинете, принадлежавшем некогда первому заму главного редактора «Правды». Правда, в склярские времена «Правда» (которая в кавычках) располагалась в другом здании, по соседству, и склярский кабинет, соответственно, тоже. Но он с большим интересом оглядывал эти апартаменты, и даже по паре рюмочек мы с ним (вру: конечно же, как минимум, по три, понашенски, по-православному) тут пропустили.

Он, мне показалось, даже не постарел — он ещё больше п р о р е д е л, как прореживается крепко изношенная драповая ткань. Те же глаза его как будто бы стали видны насквозь. Кроме воздуха — ничего. Чуть-чуть только заслезились после рюмочки.

Вряд ли он жив сейчас.

И помощника, моего неунывающего земляка, что так торжественно носил следом склярскую шляпу, тоже давно нету на свете. Помер, как жил — легко и непринуждённо: прямо на фундаментальных гранитных ступеньках Счётной палаты, где тоже работал у кого-то на подхвате. Как на древнегреческом портике. Ничего страшного, никакая проверка ему не грозила — он сам тогда был из проверяющих. Просто тромб, говорят.

Грустно.

Жизнь ему в своё время отравляла только его первая жена, с которой он давно пребывал в разводе. Она завзятая «демократка» (все разведённые, говорят, находят себе новое амплуа — если не удаётся заполучить нового мужа, вот и она нашла) и в разгар горбачёвской перестройки, считая, что её державный земляк дивигирует к диктатуре (это так же смешно, как смешны были когда-то обвинения в диктатуре Александра Керенского, правда, страшно льстившие ему самому), она устроила в родном Ставрополе публичные похороны самой себя.

Улеглась в деревянный гроб и велела четверым своим адептам (таковые, как известно, были даже у зануды Зинаиды Гиппиус) пронести её по улице Ставрополя.

Адепты старательно, пока не вмешалась милиция, исполнили.

На боках гроба, с двух сторон значилось: «демократия». Собственноручно усопшей и написанное.

Такое вот значительное имя она сама себе и выбрала задолго до неолиберальных времён.

А ведь муж уже тогда работал в ЦК. Может, бывшая жёнушка больше всего и хотела насолить именно ему, а не недосягаемому Горбачёву. Но как раз в ЦК — в отличие от ставропольской, тоже провинциально старательной милиции — на «похороны» никакого внимания и не обратили. Муж за жену, даже бывшую, не отвечает.

Жена публично, на открытой сцене, умерла понарошку, а вот Лёша публично, на гранитных, почти древнегреческих подмостках — всерьёз.

Та распахнула глаза, как только притрюхали упитанные ставропольские милиционеры — в ожидании мученической славы. А этот — навеки.

Даже самые остроумные выверты, сюжеты жизни в конечно счёте печальны-печальны.

Была бы курочка, а сварит и дурочка.

Помню, что и прилетели мы тогда в Польшу, и улетали из неё обычным рейсовым самолётом. Маленький такой аэропланчик. По-моему, ЯК-40 или ЯК-42. Нам отвели первые ряды в первом салоне, сделав из него нечто подобное «бизнес-классу». Когда летели в Варшаву, довершил создание «бизнеса» всё тот же мой земляк. Сидя позади всех, раскрыл свой безразмерный, потёртый и мятый

«помощнический» портфель и вынул оттуда бутылку. Разлили в пластмассовые — даже чокнуться невозможно — стаканчики, один из них молча и робко пододвинули и Склярору. Он отодвигать не стал.

На обратном пути свой походный кожаный погребец земляк так и не раскрыл, не расщерепил. С нами летел генеральный конструктор «ильюшиных» Новожилов: в Польше упал самолёт советского производства. Погибли люди. Новожилов, подавленный и пасмурный, летел с расследования, сидел в самом первом ряду вместе со Склярорым. Они о чём-то вполголоса переговаривались. До меня, сидевшего позади них, чаще всего доносилось слово «двигатель».

Ох, уж эти наши двигатели...

В целом же в салоне стояла скорбная и насторожённая, на высоте в десять тысяч метров, тишина.

И только тут я неожиданно, совершенно не к месту, подумал, что возвращаюсь, похоже, из тех самых мест, где несколько лет назад меня так нежно учили танцевать...

* * *

...Поцеловал-то их я, но во всём остальном куда проворнее оказался мой тогдашний комсомольский спутник.

Как только за нашими спинами захрипел магнитофон, он вскочил и весьма церемонно пригласил полячку, сидевшую между нами, на танец.

Тут надо дать сразу несколько пояснений.

Во-первых, магнитофон з а х р и п е л не потому, что польского или советского производства — какая-нибудь «Весна», а не «Грюндиг» — а потому, что оказался т я ж ё л ь Высоцким. Его, Высоцкого, хрипатый рык и вскинулся у нас за спиной, как первый вопль новорождённого младенца, получившего первый в жизни шлепок по мокрой ещё и по по-старушечьи сморщенной — как и его крохотные, розовые, едва распутившиеся легкие — заднице.

Если б он знал, сколько ещё хлёстких пощёчин по одному и тому же месту получит в жизни, он бы — то есть, каждый из нас — наверняка не начинал бы с такой сумасшедшей ноты. Оставил бы её напоследок — хлопнуть дверью.

Во-вторых, я имел на полячек в целом значительно больше прав, чем мой спутник.

Ну да. Это ведь я ещё в году шестьдесят втором или шестьдесят третьем репетировал в интернате «Сцену у фонтана» с Мариной Мнишек. Ну, не с самой Мариной Мнишек, а с Анной Шлапак, девочкой всего классом старше меня, но уже с растопившимся шоколадом в огромных карих глазах и с пухлыми, сочными губами.

И казённая интернатская кофточка так выпукло распята на ней — между нею и мною — как будто тоже что-то репетирует в изнеможении, сама по себе, независимо от нас. Ну, скажем, досрочное сошествие с креста. Дотронься я незаметно хотя бы одним пальцем до скромной её перламутровой клавиатуры, и главная героиня окончательно выйдет, вылупится, вылуцится, как ядро из скорлупы, не только из Ани Шлапак, но и из самой Марины Мнишек.

Потому как ведьма живёт в любой и каждой из них, независимо от того, только ли репетируем мы с ними жизнь или уже проживаем её.

Ладная, скороспелая Аня, кажется, пришла в интернат из детского дома — может, и потому ещё и в её фамилии, и в этом её досрочно о с я з а е м о м — как будто некто невидимый уже пробует её на ощупь, перекаывая, как горячую картофелину, в чутких и ласковых пальцах — есть что-то не то молдавское, не то и впрямь польское.

Коварная панночка! Это она на последней репетиции дерзко заявила нашему интернатскому пожилому хуруку Тихону Тихончу, что целоваться на с ц е н е со мной не будет.

Втайне мне давно хотелось поцеловать Аню Шлапак, и это был бы первый поцелуй в моей жизни, потому как даже мама меня не целовала: это как-то не принято было в нашей крестьянской семье, да и мама рано-рано, спозаранку покинула этот белый свет.

Не выгорело. Не обломилось. Наш спектакль — на двоих действующих лиц — расстроился. Ибо сразу после своего запальчивого заявления (сцена за сценой) Аня, оставив совершенно обескураженными и меня, и даже видавшего актрисульские виды Тихона Тихоныча, выскочила в дверь так, как будто убегала не только из-за кулис, не только со сцены как таковой, но даже из самого интерната.

Вот этого ей, по-моему, хотелось больше всего.

Тихон Тихоныч, в прошлом актёр Воронежского театра имени Алексея Кольцова, по-гоголевски остолбенел. А я понуро поплёлся вслед за Аней, в настёжь распахнутую дверь гладильной комнаты, в которой мы как раз и репетировали.

И поднялся к себе в «спальню» — на шестнадцать рыл, не раздеваясь, не разуываясь, спрятался под солдатским суконным своим одеялом.

Исчез.

А надо бы, дураку, не на третий этаж, а на улицу, за кирпичное крыльцо спального корпуса, где, говорят, до самого отбоя почему-то плакала навзрыд Анечка Шлапак.

Не репетировать, идиоту, надо было, а ещё раньше — тренироваться в отсутствие Тихон Тихоныча.

Теперь вы понимаете, какой долгожданный шанс подбрасывала мне судьба через двадцать лет, зимою одна тысяча девятьсот восемьдесят первого?

И вдруг — этот чёртов мой спутник, доселе сидевший тише воды, ниже травы!

Возле меня, конечно, ещё одна полячка, с левой руки — ведь я и её, наклоняясь, целовал где-то между ухом и носом.

Но в том-то и суть, что из них двоих я до сих пор — сорок лет! — помню только ту, что справа.

И дело не только в несколько тяжеловесном — это я и люблю в женщинах более всего и совершенно не ведуся на кукольные мордашки — профиле Анны Герман.

Как всякий крепко близорукий человек, я очень чуток на запахи. И если профиль даже той, что справа, виделся мне в тумане, запах, притаившийся у неё под мочкою зарозовевшего уха, я уловил безошибочно.

Ландыш!

У девушки, за которой ухаживал лет двадцать с гаком назад, за ухом пахло точно так. Я, по природной близорукости своей, можно сказать, на этот самый ландыш и повёлся. На этот самый, который, как я позже, на галантерейном прилавке, узнал, назывался — «Лесной ландыш». Не абы какой, а лесной. То есть даже не садовый, а самый что ни на есть натуральный. Аборигенный.

Вечеринка тем временем идёт своим чередом. Тосты перемежаются с танцами. И те, и другие становятся всё более свободными. Я раньше и не представлял, что под Высоцкого можно не только молчать, не только петь, подпевать, не только орать, заходиться в спорах, но и танцевать. Ничего, танцуют, причём всё пластичнее и пластичнее.

И мой соотечественник едва ли не гибче других.

Мой соотечественник — с моею соседкою.

Высоцкий накрыл тогда не только всю страну, вырываясь, как сжатый пар, едва ли не из каждой распахнутой отечественной форточки. Он и весь соцлагерь накрыл. Сжатость пара, видимо, достигла такого предела, что он, пар, вырывался уже из ноздрей. Высоцкий, уловив это настроение, создавал, участвовал в создании предощущения если и не взрыва, то, во всяком случае, порыва — как тогда казалось — к свободе. Редкое совпадение амплитуды таланта с амплитудой почти что всеобщих ожиданий.

Народ танцует не под музыку, поскольку музыки у Высоцкого нету. Народ танцует под слова, поскольку слова-то у Высоцкого есть, причём всеми ожида-

емые слова, хотя и не всеми выговариваемые, потому как тут надобен талант. И здесь, в Польше, на границе с ФРГ, под военным положением (иго которого, правда, покамест ну никак не ощутимо) они звучат с особой, прокламативной выразительностью.

Будь он просто певцом, а не поэтом, или просто поэтом (бывают ли они п р о с т о ?), а не актёром вдобавок, он был бы не столь заразителен.

Высоцкий оказался оркестром, в котором даже литавры поразительно в духе ожиданий сочетались с русской жалейкою.

Тем тотальнее получалось воздействие (помните: «надежды маленький оркестрик?...» А тут человек вроде махонький, а гудок прямо-таки всеподъёмный, паровозный) на брожение умов и сердец.

Белла Ахмадулина писала о «неописуемом зобе» пожилой и рыхлой Ахматовой, в котором таились, теснились божественные слова и звуки. В данном же случае гортанью много чего подспудного судьба избрала лужёную, не по росту, глотку тощего Высоцкого. Полякам же он вдвойне родня — не только по их и его извечному фрондёрскому духу, не только по фамилии, но и по кошащему, обольстительному, гаремному облику его персональной полонянки Марины Влади.

Я смиряюсь со своею участью отставной козы барабанщика. И впрямь — барабанщика: меня уже раза три поднимают, как самого свободного за столом, для возглашения тостов. И в одиночном своём вольнодумстве дохожу даже до такого: — За героя второй мировой генерала Ярузельского!

Публика вначале замирает — даже танцующие на миг обращаются в довольно фривольные парные статуи, — а потом разражаются хохотом и аплодисментами.

Любого поляка назови на публике героем, и публика, если и вострепнётся вначале, то тут же всё тебе простит и проводит рукоплесканьями.

Так безвестный поручик Великой Отечественной, пробивавшийся в составе советских войск к себе на родину, с которой не видался с юношеских лет, получил от меня героя.

В самый неподходящий момент.

Пройдут годы, его попытаются судить — причём Александр Квасьневский, с которым я также повидался в одной из своих поездок в Польшу — тогда ещё весёлым и разбитным редактором студенческой газеты, предлагавшим мне «закусывать» выборов чашечкой чёрного кофе, — но из суда выйдет пшик.

Лет через двадцать я вновь увижусь с Ярузельским — на семидесятилетии Михаила Горбачёва, в банкетном зале на тот момент недавно открывшейся в Москве, на Тверской, гостинице «Мариотт». Он сидел в компании с Михаилом Сергеевичем, за соседним круглым столом, сухощавый, негнувшийся, с девичьей прямизною спины — с п и н к и ! — каковую юные аристократки приобретают не столько путём гувернантских внушений, сколько посредством их тайных, но весьма жёстких, простонародных шпыняний — в потылицу, в бок и, само собой, по хребту. Уже по одной этой вышколенной посадке, а не только по сдержанному, тонкогубому лицу — кстати, отдалённо напоминающему постаревший кошачий облик Марины Влади — видно, что этот человек, в отличие от наших державных великороссов, способен пройти даже сквозь строй шпицрутенгов.

...Ближе к полуночи мой удачливый спутник настолько смелеет, что уже танцует с нашей с ним соседкою с бокалом красного вина в левой руке. Правой бережно ведёт её за талию, а в левой учтиво держит бокал, время от времени предлагая отпить по очереди из него.

Но та гибко, с грудным, придушенным смехом, отводит, запрокидываясь головой, избыточные — даже для её лица — как лепнина на потолке, губы от стекла.

Будь хрусталь, может быть, и срослось, не отводила бы.

Нельзя сказать, что я не свожу с них глаз. Хотя на кого же мне здесь и смотреть? За кем же ещё и присматривать, как не за своим соотечественником? Он — за мною, а я, соответственно, за ним.

Я даже не вижу, не улавливаю момента, когда бокал, простенькое штампован-

ное стекло, подносимое к сочному, насыщенному теплом и жизнью, нежно «жато-му», как сжимают его поцелуем, материалу совсем другой природы, даёт неверный ход.

Я только мгновенно оборачиваюсь на это грудное, анныгермановское, нежное и мгновенно же угаданное мною:

— Ах!..

Прямо скажем: очень скорбное. Ничего ведь так не созвучно, не сродственно нежности, как скорбь. Искренняя скорбь и незаёмная нежность — одной природы.

Вино и кровь.

Даже чересчур скорбно. Оборачиваюсь и вижу, что краска, тоже цвета вина в бокале, бросилась ей в доселе белое, крахмально-холёное крупное лицо, а на роскошном, жемчужного цвета, тоже породистом, фирменном платье расплзается точно такое же пятно, как и на её яблоневого — под сенью девушек в цвету — щеках.

Удачливый мой соперник тоже густо краснеет, роняет, как мгновенно оторванную, правую руку, только что тонко и уже почти по-свойски обнимавшую бутонную девичью талию, и виновато, растерянно, низко опускает ещё вполне кудлатую голову.

Тушется, шепчет ей что-то извинительное, точнее извиняющееся, а она, с лёгкой досадливостью освободившись и от правой его руки, и от левой — с докучливым бокалом — быстро проходит на своё место. Рядом со мной. Мешкотно берёт салфетку, а другой ладонью тщетно нашаривает на столешнице соль.

И даже Высоцкий — на конях привередливых — запинаясь. Тишина повисает на какое-то время в зале. Потом, правда, всё возобновляется с новой силой. Причём первым приходит в себя даже не ближний мой незадачливый соотечественник, а совсем к тому времени, к году тому уже дальний — Высоцкий.

Кони понесли.

А спутник мой усаживает даму на облезлый стул и какое-то время виновато и неуклюже — куда девалась лёгкость, с которой только что гарцевал — топчется вокруг неё.

Но она почему-то сразу поворачивается ко мне и всхлипывает.

Я наливаю ей. И себе. Выборовой — от неё, знаю, никаких пятен не бывает.

И мы, чокнувшись, дружно выпиваем. Она — так прямо пополам со слезами.

«Береги платье снову, а честь смолоду!» — приходит мне на ум нравоучительное пушкинское. Но я, хоть уже и изрядно нагрузившись, вовремя затыкаюсь.

— Ты почему меня бросил? — говорит она, всё ещё всхлипывая, и теперь уже сама наклоняется к моему уху.

Я, конечно, не вижу, но чувствую, что ухо у меня резко краснеет.

Мы, оказывается, выпили с ней на брудершафт. Правда, я и сейчас помню, что «брудер» по-немецки — брат. Стало быть, на швестершафт. На швестер-брудер. Что, вообще-то, меня уж не очень устраивает: хочется большего.

В жизни и такое случается: танцуют девушек одни, а поят совсем другие.

— Ты зачем меня бросил?

Тон такой, как будто я её действительно бросил, причём лет пятнадцать назад.

Не успеваю оправдаться, как она крепенькой-таки, почти кашубской (Гюнтер Грасс. «Жестяной барабан») рукою берёт меня под локоток и выводит в круг.

— Я не умею....

— Молчи! Я научу.

О, меня уже не одна учила — ничего не вышло. Но я действительно молчу: теперь ведь ясно, как дважды два, кто тут воеводина дочка Марина Мнишек, а кто — всего лишь Лжедмитрий. Гришка Отрепьев.

Она плотно увлекает меня, а я получаю полную и вполне интеллигентную возможность в упор рассматривать — сквозь лиловое пятно, поскольку оно пришлось прямо сюда (можно подумать, что соотечественник целился в это место не только проницательным взглядом) — её высокую и полновесную.

В общем, это ещё один, третий, что ли, по счёту вариант, когда я танцую: когда меня выдёргивают из-за стола.

Вот тут-то, сладко дыша мне в алое ухо, она и говорит, что платье только вчера п р и н е с л а из Германии крёстная.

— Я как будто знала, что кое-кого встречу...

Плачет мне прямо в плечо, и это самые сладкие слёзы, катившиеся когда-либо по скромному, в катышках, сукну «Большевички».

Мне бы надо пообещать ей златые горы — в будущем, в будущем! — но я только ещё прилежнее шаркаю ногами. А ведь предшественник мой скакал, как бес! И, уверен, уже обещал.

Но я как будто уже знаю, что будущее вообще, всеобщее будущее будет у нас раздельным. И только в пахучее ухо спрашиваю, проявляя галантную осведомлённость:

— Лесной ландыш?

— Чего-чего? — взглядывает она, отстраняясь головой, как только что от чужого бокала, мне в глаза. В очки: — Чего?

— Ну, духи, — бормочу, приникая к уху.

— Кристиан Диор! — победительно, уже без слезы в голосе смеётся она. И добавляет:

— Тоже из Германии.

Чего мы хотели, чёрт подери: у них даже духи в восемьдесят первом уже были из Германии! И тоже наверняка — пешком. Крёстные — всё к тому времени уже перекрестили.

А вообще, странные эти польские женщины. Они всегда относятся к русским лучше, чем польские мужчины. Самые нежные рассказы знакомых мне фронтовиков — о том, как они проходили Польшу. Это касается фронтовиков и с литераторскими лычками — самые романтические, даже идеалистические рассказы и у того же Астафьева, и у того же Богомолова, которых я неплохо знал при жизни, — о Польше. О войне с немцами и о страстном перемирии с полячками.

Перечитайте «Зосю».

Впрочем, не только к русским.

Красавица Валевская выиграла для Польши самую некропролитную битву с Наполеоном.

Ограничившись двумя собственными каплями на миткалевых простынях.

Жаль только — родить не смогла.

...И не только польские. Вспоминаю переводчика Вальдо: видимо, лишь только женщины, грешницы любых национальностей, особенно тех, которые л е ж а т на перекрестьях больших дорог, пограничных, полнее всех, к р о в ь ю своей понимают, что войны не бывают вечными.

Расходимся поздней-поздней ночью. Меня, конечно, подмывает подвезти новообретённую кралю. Но вдруг, не ко времени очнувшийся варшавянин довольно трезво отрезает:

— Нету места.

Хотя место в микроавтобусе, конечно же, нашлось бы. Хотя бы у меня на коленях.

Напроситься «проводить» я просто не отваживаюсь. Одной рюмки, как всегда, наверное, не хватило.

В целом же прощание вышло шумным — если б не бдительный варшавянин, мы, наверное, вповалку и заночевали бы в клубе.

Всё же одна бутылка оказалась вынесена и на улицу.

В бумажные стаканчики, теперь уже в бумажные, разливают вторая моя давешняя соседка. Которая слева и которая до этого весь вечер неотступно молчала, колко присматривая за общим ходом дел.

— На посошок! На посошок! — приговаривает она. — Спасибо от всей нашей швейной фабрики!..

Я держу свою кралю за руки, и причитающийся бумажный стаканчик мне всовывают прямо в зубы. Но насчёт швейной фабрики я всё-таки улавливаю и воп-

росительно заглядываю в шоколадно-карие.

— Ну да! — смеётся та. — Мы шьём кальсоны на пана Белковского...

Видимо, что-то такое изобразилось на моём лице под фонарём, украшавшим парадный клубный вход, что она, расхохотавшись, зачастила:

— Ну, мастерская у нас, частная. Принадлежит пану Белковскому, счетоводу в банке...

Я поперхнулся — я ещё не знал, что банковским счетоводам в скором времени и в моей стране всё будет принадлежать. Даже такие вот крали.

— Хватает?

— Чего? — переспрашивает она.

Мне нравится это её картавое, шипящее «чево?».

— Кальсонов. Пану Белковскому.

— Да он их и не носит! — прыскает она. — Мы вашим шьём — Варшавскому договору...

Меня, конечно, настораживает это достоверное знание девушкой исподнего пана Белковского. Осведомлённость. Но в целом отношение к кальсонам у меня лояльное. Я сам их два года носил, с шестьдесят девятого по семьдесят первый, в девичьем городке Тейково Ивановской области, где мы, солдаты, тоже были нарасхват и напрокат, поскольку там тоже на всю округу — одни швеи да ткачихи. Хлопок ткали, а портянки шили.

От имени швейной фабрики. А я-то думал — от имени всея Польши! Всё правильно: белошвейки всегда и везде смелее своих соотечественников. И даже соотечественниц. Контактёры. Парламентарии в юбках или без них. Или в таких вот чудесных фээргэшных, сперва счастливо, а потом горько оплаканных вечерних платьях.

Значит, и в этом местечке мужичков так не хватает, что двоим русским обрадовались, как родным. Ясно. Как божий день — этой кромешной уже ночью. Нас потому и привезли сюда, чтоб хотя бы на несколько часов подраднообразить жизнь крохотного женского трудового коллектива. Всё кальсоны да кальсоны, а тут хоть дух живой, сапушной появился. Провеял.

Меня уже тянут в машину, и почему-то больше всех усердствует даже не варшавский функционер, а свой, родимый, соотечественничек. Ревнует, видимо.

И она потихонечку всё же вынимает, выпрастывает свои горячие ладони из моих лап.

Я наклоняюсь к ней. Поцеловать. Причём целюсь, насколько это возможно в моём состоянии, прямо в пышные, лепные, уже чуть сжатые кем-то до меня губы. Но она опять осторожно отстраняется и вдруг мелко-мелко, не по-православному, а по-католически, слева направо крестит меня.

И я тоже трезвею и уже сам, добровольно, совершенно молча лезу в дверку микроавтобуса. Где уже сидят все мои спутники: и советский, и в меру антисоветские.

Руку от растерянности не поцеловал — до сих пор сожалею. И ещё забыл сказать о том, чему меня к тому времени уже крепко научила жизнь: вино, как и слёзы, — отстирывается!

* * *

...А Ярузельского опять пытаются судить — уже какой по счёту президент?

Январь 2012 г.

ВОСЕМЬ ПОДВИГОВ КАЗАЧКИ

ОЧЕРК

Дом, в котором живёт любовь

О чудесах, которые может творить любовь, написаны тома книг. Что-то в них правда, а что-то вымысел... Но вот в истории, о которой хочу рассказать, нет ни слова выдумки. Я узнала о ней благодаря Владимиру Ивановичу Казакову, заместителю директора филиала №1 Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, который и познакомил меня с супругами Бронниковыми из станицы Баклановской Изобильненского района. По должности – чиновник, а по сути – поэт и художник. Кстати, выставка его лирических пейзажей и радостных натюрмортов недавно экспонировалась в холле Ставропольского Дома народного творчества. О Бронниковых он сказал просто: о ТАКИХ надо книги писать. Тридцать лет назад после страшной аварии Виктор Бронников остался в живых. На уровне бытовых представлений – это чудо, а с медицинской точки зрения – редкий, достойный отдельного исследования прецедент. А вот как определить то, что совершила его жена Людмила, отвоёвывая мужа у смерти, не знаю, как и назвать...

Дом на улице Красной в станице Баклановской Изобильненского района, куда мы приехали в солнечный весенний день, – заметный: добротно отремонтирован, с асфальтированным двором и виноградной тенистой беседкой.

Хозяева – Людмила Алексеевна и Виктор Николаевич Бронниковы, поджидали нас у калитки. Он в инвалидной коляске, она рядом. Вот только совсем не похожи они были на «несчастников», как в соцстрахе иногда называют людей, получивших травму на производстве. Оба улыбчивые и доброжелательные, а позже выяснилось, ещё и остроумные, ироничные, живые собеседники. Вполне современные немолодые люди – владеют компьютером, но книги от этого читать не перестали, их домашней библиотеке позавидует любой библиофил.

– Здравствуйте в вашем доме. Мы вам солнышко привезли. Берёте? – наводит мосты Казаков, и Виктор тут же парирует: «Заходите и заносите».

– Машина ваша? – не торопится Владимир Иванович. – А почему во дворе старая «Ока», а не новая «Лада», которую мы вам от соцстраха недавно вручили?

– Мы старых друзей не бросаем. Лоска, правда, нет, но «Ока» трудяга, любой груз перевезёт и в любом уголке пристроится.

Казаков не сдаётся: «А новый транспорт испытали уже?» Оказывается, не успели. Но осенью супруги собираются ехать по путёвке ФСС в Пятигорский санаторий.

– Вот тогда и испытаем.

Тональность начатого с шутками да прибаутками разговора полностью поменялась, когда наши новые знакомые подошли к истории, которая когда-то вкрутую поменяла их жизнь. Это случилось в 1981 году в городе, который в советские времена указывали только на специальных картах. Краснокаменск, выросший в Иркутской области рядом с урановыми рудниками, считался стратегическим секретным объектом. Виктор был молодым перспективным специалистом – главный геолог рудника; молодожёны после окончания Иркутского геологоразведочного института работали и строили планы на будущее.

Приближался конец месяца, шахтёрам надо было выполнять план. Как это часто случалось, Виктор отправился на рудник, чтобы отыскать место с «хорошей» рудой.

– Дело тут в чём, – пояснил Бронников, – план по руде шахтёры выполняют всегда, а по металлу нет, – иначе говоря, добытой руды может быть много, но она пустая, значит, приличной зарплаты не будет. Я стал осматривать забои. В одном прибор определил солидные залежи металла. Но чтобы добыть руду, требовалось зачистить выработку.

Вместе с водителем Бронников отправился «на разведку». И как раз в этот момент наверху произошёл взрыв, пошла мощная ударная волна.

Первый камень ударил по каске и сбил Виктора с ног. Что было потом, ему рассказали много позже. На место, где он стоял, обрушилась кубовая в две с лишним тонны каменная глыба, буквально пригвоздившая молодого человека к земле.

– Сотрудники мужа позвонили мне на работу и сообщили, что Виктору в шахте придавило ногу, – вспоминает Людмила Алексеевна. – Я приехала. Шла операция. Все бегает, ищут четвёртую группу крови. У Виктора тоже была редкая четвёртая группа. А я сижу и всё ещё не понимаю, что кровь-то ведь для мужа ищут. Вышел хирург, я к нему: «Как операция, как нога?» А он в ответ: «При чём тут ноги-руки? Вы спросите, жив ли вообще ваш муж?» Я тогда сознание потеряла, а очнулась почти седая. Девятнадцать суток он лежал в реанимации, и мне каждый день втолковывали, что Виктор умрёт. На нём живого места не было. Переломан позвоночник, повреждён четвёртый грудной позвонок, раздавлены ноги. Он два года лежал трупом, ниже груди ничего не чувствовал. Вызвали из Читы нейрохирурга, он осмотрел мужа и сказал, что больного надо отключать от аппаратов, жить не будет. У меня опять шок. Бросилась к нашему хорошему другу, начальнику Виктора. Кричала не своим голосом: «Не дам, хоть убейте, он живой, будет жить!»

Вечоркин, главный инженер комбината, с трудом увёл Людмилу, которая явно была на грани срыва, и клятвенно пообещал ей, что мужа будут лечить, из Москвы вызовут лучших специалистов. Слово своё сдержал. В Краснокаменск прилетел столичный хирург. Операция на позвоночнике закончилась успешно, снова появилась надежда. Но уезжая, хирург объяснил: необходима целая серия операций. Их могут сделать только в Москве, но, чтобы доставить туда больного, врачи должны вылечить пролежни.

– Всё тело у Виктора было в пролежнях, – рассказывала Людмила, – сплошные чёрные раны. Представляете, за 19 суток в реанимации его ни разу не перевернули. При этом каждый день докладывали министру энергетики Славскому, который лично курировал ход лечения мужа, что всё возможное делается. Как на самом деле «боролись» с пролежнями, я видела. Приходила медсестра, перекистью покапает и уходит. А что стараться, если Виктор был уже много раз приговорён к смерти.

Чудеса-то, как оказалось, бывают

Вначале Людмила надоедала хирургам – надо же что-то делать с пролежнями. От неё отмахивались, как от надоедливой мухи («женщина, не мешайте работать»). Понимая, что с каждым днём и без того слабая надежда на выздоровление мужа истлевает, Людмила решилась на невозможное. Выспросила у медсестёр всё, что касается лечения пролежней, перевернула в библиотеке гору литературы и, сделав запас необходимых медикаментов, однажды вечером осталась в палате Виктора... Последним страшным открытием, заставившим действовать без промедления, были черви, которых увидела в ране. Её муж мог просто сгнить заживо. Что поддерживало её тогда? Может, практика, полученная на «военке» – медкафедре в институте, а скорее всего, отчаяние, но она решилась! Аккуратно скальпелем (благо, онемевшее тело мужа не ощущало боли) вырезала всю почерневшую ткань. Продезинфицировала раны, перевязала их и обессиленно опустилась на стул. «Операция» была закончена.

Когда утром во время обхода врач выяснил, что произошло, он, словно котёнка, в чём была, выставил Людмилу на улицу и строго-настрого наказал персоналу: «Эту сумасшедшую близко не подпускать к больнице!» И ещё были страшные слова – теперь, дескать, точно нет никакой надежды на положительный исход, «в таких случаях» ткань не восстанавливается. В халате, шлёпанцах на босу ногу Людмила добежала до комбината. Ворвалась в кабинет главного инженера Вечоркина и прорыдала: «Степан Гаврилович, меня выбросили из больницы, я мужу пролежни вырезала». Как тот улаживал конфликт, она не знает, но помнит, что именно в тот день её нашла незнакомая женщина. Гостья была краткой. Сказала, что знает о её беде, и протянула Людмиле бутылочку с бальзамом – прикладывайте к ранам, они затянутся. Жидкость пахла смолой; что это было за чудодейственное средство – неизвестно, но оно действительно помогло. Вопреки всем страшным прогнозам ткань начала восстанавливаться. Врачи сделали пересадку кожи, и на пролежнях восстановился кожный покров. А когда раны поджили, друзья погрузили Бронниковых на московский самолёт.

В профильной клинике «среднего машиностроения» (позже – атомной промышленности), куда определили Виктора, условия были отменные – отдельная палата, финская кровать с сеткой для купания. Всё замечательно, кроме одного – специалиста-хирурга, который мог бы продолжить операции на позвоночнике, в отраслевой клинике не нашлось. Людмила бросилась к доктору Жестовскому, сделавшему Виктору первую операцию, но тот объяснил, что по характеру травмы помогут только хирурги Юмашевской больницы или (что совсем невозможно) – Бурденко. Там, сказал он, работает самый лучший в Москве и в СССР хирург Лившиц, но очередь к нему расписана на несколько лет вперёд.

– Я тут же метнулась в Бурденко, – восстанавливает ход событий Людмила Алексеевна, – а там и разговаривать не хотят, у нас, говорят, на восемь лет вперёд операции расписаны. Она могла бы ждать и десять, но года бы не продержался прикованный к постели, парализованный муж. На следующий день Людмила отправилась в Министерство здравоохранения.

К министру за пропиской

Сейчас в это трудно поверить, но заместитель министра здравоохранения страны, на приём к которому Людмила попала без всяких приключений, по записи, выслушал посетительницу и, похоже, не лукавя объяснил, что даже если бы Виктор Бронников был Героем Советского Союза, не в его силах назначить внеплановую операцию в клинике Бурденко. Не до лукавства было и Людмиле, поэтому вопрос поставила прямо: что в таком случае можно сделать, чтобы мужа

прооперировали? Тот только плечами пожал – устраивайтесь туда на работу, тогда, как мужу сотрудницы, мы дадим вам направление на операцию без очереди.

Сказать – одно, а вот сделать в Москве что-то быстро и без денег трудно. В клинике санитарки были нужны, но лишь с московской пропиской, вопрос о которой решался в самых высоких эшелонах власти. Сейчас в свободной России и помыслить невозможно, чтобы попасть на приём к Первому лицу. А в «тоталитарном» государстве СССР Людмила записалась и попала в приёмную – да, да, к генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу. Просителей там оказалось много. Ближе к вечеру вышел охранник и заявил, что рабочий день закончился. Вначале вместе с другими она покорно двинулась к выходу, но когда была уже у двери, вдруг отчётливо поняла, что уходить ей некуда и надеяться больше не на что. Остановилась как вкопанная и громко произнесла, что её вопрос касается жизни мужа, поэтому, пусть её хоть на части режут, она, Людмила, никуда не уйдёт. После короткой заминки из кабинета вышел недовольный товарищ и стал высказываться в том смысле, что, дескать, все провинциалы почему-то хотят жить в Москве, а столица не резиновая и всех не выдержит. Едва сдерживая себя, Людмила ответила, что Москву терпеть не может, жить в ней под пытками не согласилась бы. Но ей надо, чтобы жил муж, которому срочно требуется операция. Без (самой временной из всех временных) прописки её не могут взять на работу в клинику санитаркой. А это единственное условие, при котором операцию мужу сделают там, где надо, и быстро. То ли, чтобы избавиться от экзальтированной просительницы, то ли торопились куда-то, но произошло второе чудо – ей дали разрешение на временную прописку. Уже на следующее утро Людмила была у «своего знакомого заместителя министра здравоохранения». У высокого чиновника, по её собственному образному выражению, «глаза выпали» от удивления, когда он увидел документ на прописку. Ещё бы! По собственной питерской студенческой жизни помню, как трудно было добиться прописки за деньги, а тут практически с «первого захода» без взяток и звонков из высоких кабинетов был решён основной вопрос «немосквича» в столице.

Взять приступом – это как?

В клинику Бурденко Людмила устроилась быстро. Работы там было – под завязку, знай, успевай. Семьдесят мужчин, все лежачие. Обиходить каждого, помыть, покормить, да ещё и слово надежды подать, мол, всё будет хорошо... Медсестра отделения, куда попала Людмила, сразу объяснила, что всю зарплату та должна отдавать ей – за то, что «устроила К СЕБЕ на работу». Теперь задача состояла в том, чтобы из 12-й медсанчасти (клиники) Министерства среднего машиностроения перевести мужа в Бурденко. Со статусом «особо секретной» службы, на которой он состоял, доступ в другую больницу, а тем более в такую, где на 70 процентов клиенты были иностранцами, представлялся в то время делом практически невозможным. В отраслевую спецбольницу готовы были вызывать любых врачей, но Виктору требовалась операция, а не консультация. И по «уже протоптанной тропинке» Людмила снова отправилась в Министерство здравоохранения. Это было 4 октября 1982 года, в день её рождения. Людмила выстояла очередь к министру, вошла в кабинет и, чтобы не растерять запала, разом на одной ноте выдала: «У меня сегодня день рождения, сделайте мне такой подарок, дайте направление на операцию мужа в Бурденко. Вы обещали!»

Потрясённый чиновник почти не сопротивлялся. Направление ей дали, но предупредили, что этого документа недостаточно, нужно разрешение из отраслевого министерства. Впрочем, на этот раз Людмила обошлась без официальных визитов. Запустив многоходовую комбинацию бытовой дипломатии с участием среднего медперсонала, втихую перевезла мужа из одной больницы в другую

и уложила на приготовленную для него заранее постель. Через медсестру, которая оценила трудолюбивую санитарку, безропотно отдававшую ей зарплату, договорились о срочной операции под контролем начальника нейрохирургического отделения Лившица. Операцию сделали практически на следующий день. Мужу убрали металлические пластины и произвели ревизию спинного мозга. Только тогда в первый раз за всё время доктора официально «позволили» Виктору Бронникову жить. Но срок определили строгий – не больше семи лет.

– Я, конечно, рыдала, – говорила Людмила. – Мне семь лет мало. Сыну было семь лет, дочке полтора – их растить надо...

Не у нас, в других городах и странах, уже тогда, когда с Виктором Бронниковым произошло несчастье, для людей, получивших тяжёлые травмы, существовала специальная Скорая помощь. Если операция на позвоночнике делалась в течение первых суток, при благоприятных обстоятельствах двигательные функции у пострадавшего восстанавливались. Правда, стоили (да и сейчас стоят) такие операции денег, которых у советских людей никогда не было. А вот великие Лившицы были. Позже хирург-виртуоз уедет в Америку. По слухам, и сегодня работает в собственной клинике, куда забрал из России весь штат сотрудников, включая санитарок.

После операции дело пошло на поправку: у Виктора появилась чувствительность и даже подвижность в руках, в туловище. С энтузиазмом человека, получившего шанс начать жить заново, Виктор стал усиленно тренироваться. Вот только ноги не хотели подчиняться. В это время его и «нашли» «атоммашевцы». Первым делом, спешно вернули в родную клинику.

– Меня вызывали в КГБ, – вспоминает Людмила. – Как они на меня кричали-топали! Человек пять в военной форме. А я сидела и блаженно улыбалась. Главное, что к тому времени «НАС» УЖЕ прооперировали.

– Это были времена Андропова?

– Да. Москва пустая. В магазинах никаких очередей. В парикмахерских вылавливали нарушителей трудового порядка и допрашивали с пристрастием. Меня однажды тоже поймали – в парикмахерской. Загнали в какую-то машину, начали «пытать». Почему голову моешь в рабочее время? Я спросила, а где мне её мыть, если «живу» рядом с обездвиженным мужем в больнице. Показала документы, они извинились и отпустили.

Когда страсти поутихли, Людмилу вызвал главврач и предложил повезти Виктора в санаторий. Здравница в Крыму, где отдыхали космонавты и «среднемашевцы», оказалась райским уголком. Море, солнце, пальмы. И прекрасные врачи, тренажёры – одним словом, все условия для восстановления. Виктора определили в отдельную палату, а Людмилу с детьми поселили в гостинице. Наконец-то все члены семьи после долгой разлуки собрались вместе.

– Помогло лечение?

– Вы видите, он живой. Разве что движение в ногах не появилось. А руки, пусть перебитые и сломанные, но действуют. Всего муж перенёс 7 операций.

Две коляски или шантажом по чинчванству

Из приморского городка Саки супруги снова вернулись в 12-ю медсанчасть, в Москву, которая за два проведённых здесь года стала почти «родной». Виктору требовались протезирование и продолжение реабилитации. А какая реабилитация без коляски. В те годы даже нашу, отечественную технику передвижения для инвалида трудно было достать, но Людмила твёрдо решила «выбивать» маневренную и удобную – югославскую.

В очередной раз она отправилась к начальству, но теперь к своему, «среднемашевскому». Как только чиновник услышал, что ей надо, тотчас возвысил голос.

Он размахивал руками и кричал: «Что вы о себе возомнили, да кто он такой, ваш муж... В ножки должны поклониться за то, что хоть что-то даём... Все садятся в наши коляски, и он сядет, как все». Это было последней каплей. Её Виктор был не КАК ВСЕ, а единственный, неповторимый, её родной человек. «Всех», как его, не хоронили заживо почти год. Все, как он, не находились между жизнью и смертью. У всех есть ноги, чтобы ходить, и руки, чтобы работать, а Виктор только-только начал шевелиться. Тяжеловесную коляску он с места не сдвинет своими изуродованными руками (только на пальцах пять операций сделали).

И тогда она закричала, что не уйдёт из кабинета, пока ей не дадут бумагу на выдачу нормальной техники. Что вот сейчас разорвёт на себе платье, и все услышат – её пытались изнасиловать... И тогда товарищ большой начальник сам выкатится из своего начальственного кресла и без всякой коляски покатится далеко-далеко... Последняя фраза пришла в голову сама собой, будто кто-то толкнул – именно так нужно говорить с высокомерным партократом, другого языка он не понимает. (Когда это было! Сегодня у чиновников ничего не осталось: ни стыда, ни совести, ни страха).

Никогда ни до того, ни после она не шантажировала людей. Позже врач объяснил – это было шоковое состояние, которое случается при крайнем напряжении сил и нервов. Почти истерика. За этот случай ей стыдно до сих пор. По форме. А по сути... Людмила Алексеевна заливается хохотом, вспоминая, как буквально на глазах всемогущий чиновник сжался, даже ростом меньше стал. Куда только делись вся важность и спесь! Лишь растерянno бормотал, что всё можно уладить, не надо только кричать. Тут же выяснилось, что на складе есть как раз такая техника, какая нужна её мужу. А Людмила продолжала добивать «врага» на его территории: Виктору требуется не одна, а две коляски – домашняя и прогулочная, – мстительно сообщила она. Клятвенные заверения, что потом, позже выдадут прогулочную и слушать не стала. Сейчас, ни минутой позже – иначе она зовёт на помощь. Так в руках Л. Бронниковой оказался очередной документ на выдачу техники для передвижения Виктора, а правильнее сказать – пропуск мужу жить дальше...

– Сейчас с колясками есть какие-то проблемы? – прервав рассказ, обеспокоился Владимир Иванович Казаков.

– Ну, что вы, всё нормально, – успокаивает его Людмила Алексеевна. Как-то получили от ФСС не очень удобную коляску, подножка не снималась. Нам тогда сказали, сами покупайте, какую надо, а потом оплатили всю стоимость. Это было года четыре назад. Мы купили технику и получили компенсацию. Жаль, что ситуация изменилась и компенсации теперь частичные. Но ничего – выкрутимся.

– Знаете, какую коляску я мечтаю ему приобрести? – мечтательно сказала Людмила. – С аккумулятором, с собственным ходом, но она жутко дорогая, 60 тысяч стоит.

Последний «островок»

Спрашиваю, а кроме спецлечения помогало ли хоть как-то в решении проблем, которые выпали на нелёгкую долю Бронниковых, государство?

– Государство – это ведь, в первую очередь, люди, которые от его лица выступают, – пожал плечами Виктор. – Когда жили в Забайкалье, деньги нам не пересчитывали лет семь. Практически никак не решался вопрос с лекарствами. Везде и во всём нам отказывали. А вот здесь, на Ставрополье, всё как-то само собой разрешилось. Только приехали в станицу, только встали на учёт, звонит сотрудник филиала №1, назвалась Ларисой Станиславовной Щекотиной, спрашивает, почему не приносим документы на оплату лекарств. Мы удивились, а что, лекарства государство оплачивает? Оказывается, «травматикам» – и «оплачивает», и обеспечивает ещё разными техническими средствами реабилитации.

– При социализме с соцзащитой всё было ясно, – вступает в разговор Людмила. – А когда в Краснокаменске в перестроечные годы нас передали в соцстрах – мы просто растерялись. Не только все прошлые льготы потеряли, но от нас потребовали, чтобы мы ещё и вернули в фонд какие-то деньги. Уже здесь, на Ставрополье, Лариса Станиславовна нас воодушевила: мол, нечего сидеть сложа руки, надо подавать заявление в суд и оспаривать неправильные расчёты. На суде Щекотихина лично присутствовала. И представьте, нам вернули 30 с чем-то тысяч рублей. Сумма для тех лет немалая, а нам деньги (строились ведь!) позарез были нужны.

«Забайкальский след» напомнил о себе ещё раз. Бронниковы получили извещение, что Виктору от фонда выделили спецавтотранспорт – «Оку». Новость радостная, но ультимативное требование немедленно забирать машину тогда здорово напрягло. Ещё и пригрозили: даём на размышления два месяца, не приедете – льготу потеряете. Людмила запаниковала: как ехать, в Баклановской больная мать, на кого оставить маленького внука?.. Обратилась за помощью к работникам филиала №1. Каким образом шли переговоры, трудно сказать. Знаю одно – работники аппарата отделения Фонда также подключились к решению вопроса, и в течение полутора месяцев проблема разрешилась.

– Мы были в санатории, звонят из филиала №1 и сообщают, приезжайте, забирайте свою «Оку», – рассказывает Виктор. – Наконец-то мы вздохнули с облегчением. Естественно, с автомобилем стало во много раз легче. И работать, и отдыхать, и выезжать на природу.

– Кто за рулём?

– В основном, я, – сознаётся Людмила. – Муж у меня лихач, гонщик.

– А что, машина маневренная, – не спорит супруг. – Она и за 100 километров сумеет...

– Лихачить можно было в Забайкалье, там если и задавишь кого, то только суслика, – смеётся Людмила Алексеевна. – Здесь другие транспортные потоки.

Я смотрела на этих улыбчивых, славных людей, оттаивала в тёплой компании под улыбчивым солнцем и думала, что вот это своё благополучие, свой тихий зелёный день, и эту радость жить они как никто заслужили, выстрадали. И вот ещё о чём подумалось. Из простых людей со скромным достатком, пожалуй, только ленивый сегодня не ругает государство, которое с лёгкостью бросает человека на произвол судьбы. И правильно. И поделом ему. Но вот ведь какая штука: несмотря на все препоны и рогатки, Виктор Бронников выжил именно на «государственной медицине» и на государственных дотациях, которые выплачивал и продолжает платить ему как «застрахованному лицу» Государственный фонд социального страхования РФ. Слава Богу, кусочек социального государства у нас всё-таки ещё действует, и всё ещё есть сердечные люди, например, из филиала №1 Ставропольского регионального отделения фонда, которые работают не за страх, а за совесть. Правда, в последнее время поговаривают, что могут приватизировать и этот последний из государственных «островков».

За добро и помощь Бронниковы по сей день душевно благодарны всем, кто помог им в трудный жизненный момент. Но такие уж они по характеру люди, что не только за своё готовы встать горой, но если на других людей, на родную станицу надвигается БОЛЬШАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, пусть и в лице огромного государства, не раздумывая, встанут на защиту.

«Крик души» услышала страна

Через много лет после сражений за жизнь мужа Людмиле Алексеевне ещё раз пришлось выдержать крутое противостояние. На этот раз с властью – от сельской до краевой и дальше. Это случилось два года назад в Баклановской, где семья Бронниковых живёт, как сейчас говорят, с начала «нулевых». 22 мая 2010 года по старым, вышедшим из строя трубам, в дома к станичникам перестала поступать вода. Бывший колхоз «Кубань», в собственности которого находились пруд и насосная станция, запустел. Закрыли детский сад. Министерство образования края запретило школе работать на привозной воде, хотя раньше вода из оросительного пруда была ещё более низкого качества. Пояснили: если к 1 сентября положение не изменится, занятий не будет.

Дело, в общем, житейское. Отключают воду, закрывают школу, потом фельдшерский пункт и клуб. Ну, вымерла бы ещё одна деревня – не велика беда – сколько их уже стёрто с лица земли российской... Однако в этот раз всё обернулось по-другому. Поначалу Бронниковы, как и их соседи, попытались решить вопрос частным порядком. В поисках воды пробурили на огороде две скважины. Безнадёжно. С колодцем затея не удалась. А жара уже в мае установилась жестокая. Местные власти пообещали, что цистерны с привозной водой будут доставлять прямо во дворы. Куда там! За месяц водовоз промелькнул по улице пару раз, не больше. Труднее всех пришлось инвалидам и старикам – об адресной помощи им никто и не подумал. Между тем, за воду люди продолжали платить немалые деньги по 125 рублей с человека.

– У нас каждый месяц в станице был триллер – сбор денег за воду, – рассказывала Людмила. – Каждый раз отдавали по 250 тысяч рублей, а куда уходили деньги, никто не знал.

Приведу выдержку из сюжета, прошедшего в августе 2010 года по Первому общероссийскому каналу: «В выжженную пустыню превращается станица Баклановская в Ставропольском крае. Вода для местных жителей стала настоящей роскошью. Краны и трубы там уже давно проржавели. Людям приходится экономить каждую каплю. И что самое ужасное: в подобной ситуации оказалось сразу несколько близлежащих сёл».

Этот сюжет и десятки других – в газетах, по радио, телевидению полились как из рога изобилия после того, как об этом рассказали федеральные СМИ. А они появились после акции, которую предприняла Людмила Бронникова. Вначале она писала жалобы в местные и краевые органы власти. А когда поняла, что, кроме отписок, чиновники ровным счётом ничего не собираются предпринимать, по интернету разослала десятки писем, в которых был крик о помощи. Обращение ушло также к Президенту и премьер-министру РФ, в ведущие СМИ страны.

«Крик души» – под таким заголовком газета «Комсомольская правда» от 19.06.2010 года дала текст письма целиком. Как документ вполне достойный истории, приведу письмо Людмилы полностью. Вот оно.

«Здравствуйте, дорогая редакция! Обращается к вам жительница станицы Баклановской Изобильненского района Ставропольского края Людмила Николаевна Бронникова. Пишу вам от себя и от моих односельчан с просьбой помочь в нашей большой беде. Мы живем практически без воды. Много лет мы пьем техническую воду, но сейчас и такой нет. Как нам говорит глава нашей станичной администрации Сергей Николаевич Алексеев, насосная, которая качает воду из канала в наше водохранилище, принадлежит одной организации – бывшему колхозу «Кубань». Насос куплен другой организацией – «Золотой Нивой». А деньги за воду и полив с населения собирает третья – администрация станицы. Когда в так называемом водоёме (нашем болоте) заканчивается вода, пополнение ее не производится, поскольку вышестоящие организации не могут

между собой разобраться в отношении собранных с нас денег. Мы же становимся заложниками этой финансовой неразберихи и вынуждены месяцами сидеть без воды. Сейчас стоит жара в 30 градусов, люди не могут ни скот напоить, ни огороды полить, ни элементарно помыться. Санэпидемический порог – критический, мы не можем понять, почему эта ситуация тупиковая? Куда деваются деньги, которые мы исправно платим за воду? Наши станичники уже обращались к руководству страны с просьбой разобраться в этой ситуации. Но их письмо было перенаправлено к губернатору Гаевскому, которое он отправил в Изобильненскую администрацию. Где оно теперь? Полтора года назад для водопровода были куплены очистительные емкости, чтобы у нас была качественная питьевая вода, но, говорят, эти ёмкости валяются у въезда в станицу. Ситуация с водой, на наш взгляд, кардинально может измениться, если нас передадут «Водоканалу», который будет давать питьевую воду и следить за водопроводом. Этот вопрос обсуждается уже семь лет на каждом отчетном собрании администрации станицы. Нам клятвенно обещают, что проблема решится то в этом году, то в следующем, то весной, то осенью. Но ничего не делается. Кому выгодно не передавать нас этой организации – мы не можем понять. У нас, жителей станицы, складывается впечатление, что всё происходящее похоже на геноцид казачества. Мы со страхом вспоминаем, как морили голодом наших отцов и дедов. И сегодня ситуация аналогична – нам не дают воду, без которой жизнь невозможна! В стране много проблем, но есть такие, без решения которых могут погибнуть люди, животные, вся наша станица. На сегодня такая проблема – у нас в Баклановской».

– Здесь был такой переполох, – вспоминает Людмила Алексеевна. – Один из районных руководителей приехал к нам в дом. Прокурора привёз, замов своих – человек 15. Вышел из себя: «Не смей жаловаться в Москву!», – кричал он. А я ему в ответ: жаловалась, жалуюсь и буду жаловаться, пока вода из крана не потечёт. Потому что вы через Москву нас лучше слышите. Там и дел-то всего: надо было 600 метров труб проложить – водопровод полвека назад был сделан.

Он мне:

– Ты откуда приехала? Из Забайкалья? Вон отсюда, в своё Забайкалье!

Я ему отвечаю:

– Я здесь родилась, здесь все мои родичи-казаки похоронены, и я здесь жить буду до самого конца, хотите вы этого или нет!

К слову сказать, когда на Ставрополье нагрянули высокие гости из Москвы, местные власти стали разговаривать с Бронниковыми совсем другим тоном. Воду провели буквально за десять дней (причём получили её и близлежащие сёла); открылся детсад, занятия в школе возобновились. Вроде как жизнь наладилась. Но до сих пор не даёт мне покоя одна мысль. Почему именно обращение Бронниковой на какое-то время оказалось в центре внимания ведущих федеральных СМИ и лично премьер-министра России В.В. Путина, который побывал тогда на Ставрополье и сдвинул с мёртвой точки, казалось бы, неподъёмный вопрос. Жалобы в столицу идут со всех концов страны даже не килограммами, а тоннами. Может, сыграла роль боевая казачья решимость селян во главе с Бронниковыми, а может, именно приписка насчёт «геноцида казачества»?!

По деду и отцу терская казачка, Людмила Алексеевна родилась в станице Гаевской, что недалеко от Баклановки. Мать, кубанская казачка, приехала на Ставрополье по распределению, всю жизнь проработала директором школы. И сегодня Людмила помнит рассказы деда, рассудительного, уважаемого в станице казака, как в начале тридцатых люди в этих местах вымирали семьями; как судили их за горсть семечек, украденных с колхозного огорода, чтобы спасти от голодной смерти детей. Из шестерых в те страшные годы в семье остались трое, опухли

от голода и умерли два сына с дочерью. Понимание того, что семья – святое, и нужно до конца биться за родных и близких, Людмила впитала с молоком матери. Именно поэтому когда та, заболев, наотрез отказалась уезжать от родных могил к ней в Забайкалье, семья Бронниковых задёшево продала четырёхкомнатную квартиру в Краснокаменске и переехала в Баклановку, где в тесной двухкомнатной хатке жила старенькая мама Людмилы.

Слушая захватывающий рассказ жизни одной отдельно взятой семьи, как было не восхититься сплочённостью этой маленькой общности. «Крепкая семья – крепкая держава» – неглупым человеком придумано. Государство будет стоять до тех пор, пока способна устоять семья. Вот когда она рухнет, тогда действительно – ВСЁ! Рассказываю о Бронниковых, а память то и дело подсказывает иные примеры, когда сын судился с отцом, отвоёвывая от семейной квартиры индивидуальные квадратные метры, а теперь его дети подали в суд, отбирая квартиру у своего отца. Деньги, власть, зависть, агрессия сплошь и рядом разрушают семьи. А на самом деле разрушают НАС. Учёные мужи уже на полном серьёзе разглагольствуют, что, дескать, институт семьи изживает себя. Недавно на одном из федеральных каналов, предпосылая свою очередную телепередачу, известный критик А. Гордон сделал такое вступление: «Я ненавижу политику! Два приятеля пришли ко мне в гости. Сначала поругались, потом чуть не передрались из-за того, что происходит у нас в стране. Я много думал и понял, что неблагополучно не в России, неблагополучно у меня в доме». Не очень люблю передачи Гордона, но вот с этим посылом не согласиться не могу. Неблагополучно в наших домах. Посмотреть – окраины ставропольских городов заросли пригородами, которые в народе прозвали Санта-Барбарой. Дома большие, красивые. Но, в основном, безлюдные какие-то. Разве так должны выглядеть счастливые дома? Построить дом – не просто вложить деньги, дом не получится, если в него не вложить любовь.

Беда одна не ходит

Жизненная задача «построить дом, посадить дерево, родить сына» в Баклановской, куда приехала семья Бронниковых, сама собой реконструировалась в программу-максимум: «Перестроить домишко, вырастить детей, посадить сад».

– Сейчас не понимаю, как мы могли жить в скученности и тесноте маленького родительского дома, – вспоминала Людмила. – Семья разрослась, ещё и внук маленький появился. Одна коляска встанет (мужа или ребёнка) – и войти в дом уже невозможно. Поэтому с 2000 года начали строиться. Главное было решиться: кредиты, рассрочки... Но я сказала мужу: давай лучше построим что-то и будем понемногу расплачиваться, чем погрём с деньгами и в доме, который вызывает только досаду и дискомфорт. Придумывали, как тут всё переделать вместе. Я организовывала, а Виктор планировку и подсчёты делал, сколько понадобится кирпича, шлакоблоков, досок... Денег хватило только на стройматериалы. Предложили мастерам: вы начинайте работу, а мы вам будем платить каждый месяц по результатам. Те долго сомневались, а потом взялись, работу в станице уже трудно было найти.

В это время семью настиг очередной страшный удар: в Краснокаменске погиб старший сын Бронниковых, который работал в Забайкалье начальником криминальной милиции. Не пережив смерти любимого внука, вскоре скончалась и мать Людмилы Алексеевны. Артём погиб, но в Забайкалье остались двое его детей; невестке-вдове, внукам надо было помогать. А тут дом недостроенный. Холода на носу, значит, хочешь-не хочешь, надо было продолжать начатое.

– Может, потому и выстояли, что жизнь не давала нам ни минуты передышки, – размышляла Людмила. – Был момент, что денег не было уже и на стройматериалы. Мы честно сказали об этом строителям. А они приходят на следующий день и успокаивают нас, вы не волнуйтесь, мы и займы можем работать,

а стройматериалы сами найдём. Рассчитаемся, когда будут деньги. Так и заканчивали строить дом – на взаимном доверии.

Оглядываю просторные комнаты, на современный манер выделенное в зале кухонное место с барной стойкой; арки вместо дверей, сверкающий навесной потолок и не могу удержаться от восхищения: «Как у вас тут всё здорово продумано, красиво».

– Мы жили в такой тесноте, что делать новое жильё лишь бы как уже не могли. Очень хотелось, чтобы у нас был дом, который приносит радость.

И во дворе у Бронниковых всё сделано по уму. За оградой-сеткой новый хоздвор, куры-петухи, свинарник. В огороде каждое дерево посажено собственноручно хозяйкой, есть всё, что душа пожелает: слива, вишня, черешня, кизил, алыча, малина, смородина... Ещё одно строение во дворе – территория хозяина. Мастерская и спортзал одновременно. К потолку подвешена груша. На столе, подоконниках – резные фигурки, затейливые вазы, стилизованная «из народного быта» посуда. Разные хитрые станки и станочки. Первое ремесло, которое освоил Виктор, выйдя из больницы, – столярное.

– Я ведь активный инвалид, – не без гордости объяснил Виктор. – На компьютере работаю и со станками дружу – по железу, по дереву могу. На подлокотник коляски станочек поставлю, тюк-тюк и пошло дело. На левой руке – как-никак четыре рабочих пальца (третий, правда, без движения).

– Он вообще молодец, – вставляет слово Людмила Алексеевна. – Наличники на окна сам вырезал. А в девяностые, очень трудные годы, благодаря Виктору, детей выучили. Тогда ему приходилось сутками сидеть за станком. Выполнял токарные работы, делал разделочные доски, скалки, толкушки, бигуди. И для души кое-что... Вон стоят его работы, подсвечник, ваза, а это наш домовый.

– После того, как «сломался», я заочно закончил народный университет искусств имени Крупской в Москве... Пробовал рисовать, резать по дереву, делать чеканку. В санатории в Саках был кабинет трудотерапии, там меня этим и заразили. Латыш Снокс, бывший архитектор, инвалид из Малаховки, сказал мне, что чеканкой в городе заниматься трудно, стучишь молотком, людям мешаешь; самое безобидное – это дерево. Я стал пробовать и то, и другое. Приклады заказывали, несколько штук сделал для охотников и отказался – зайчиков, птичек жалко. Самое выгодное было деревяшки строгать для парикмахерских на «химию». Тысячами делал бигуди и на этом зарабатывал. Нам надо было выжить, – смеётся. – Сейчас ничего практически не продаю. Художник должен быть голодным.

Так у нас принято

Сознаюсь, перебирая подробности поступков, совершённых Людмилой во имя спасения любимого человека, дома и родной станицы, я пыталась примерить их на себя и понимала: нет, ни я, ни сотни других женщин, думаю, не смогли бы повторить то, что сделала она. Всякий раз – это было подобно прыжку в пропасть. Вот когда понимаешь, что слова «подвиг» и «подвижничество» имеют общий корень. Жаль, что слову ПОДВИГ в нынешней жизни места не нашлось. Люди перестали верить в него, поэтому и не знают такого слова. Одна надежда, что пока жива жизнь, есть в ней место и чуду, и подвигу, когда, забыв о себе, люди совершают ПОСТУПКИ, намного превышающие их силы и возможности.

Женщина с подёрнутыми сединой волосами, васильковыми глазами и вулканом неукротимой силы внутри, оказалась настоящей подвижницей. Сколько там было подвигов у мифологического греческого героя? Двенадцать? И все ради собственной славы, ради себя любимого. То, что совершила Людмила, я тоже называю подвигом, но не ради славы или собственного благополучия совершаемым. Тогда ради чего? Историю знакомства Людмилы и Виктора Брон-

никовых я сознательно оставила на финал. Потому что, как мне кажется, именно в ней – ответ на поставленный вопрос.

Они познакомились в Иркутске, в общежитии института, куда оба поступили учиться. А Иркутск для начала самостоятельной жизни Людмила выбрала, что называется, «методом тыка». Причиной стал гордый неукротимый нрав, который рано обнаружилась в выпускнице с блестящими математическими способностями из баклановской средней школы. Это случилось сразу после окончания школы и непростого разговора с родителями. Повод, как она сегодня понимает, был пустячным, но судьбоносным. Когда её, золотую медалистку, вызвали на сцену получить награду и спросили, кем она хочет быть, она только пожала плечами: «Не знаю». Строгая мама, директор школы, позже возмутилась: как это так, все знают, а её дочь-медалистка – нет.

– Я осердилась, говорю, вот включу радио, какой город назовут, туда и поеду. Включаю, передают сводку погоды: «В Иркутске холодно...» Вздохнула и сообщила – вот и мой город.

Родители были в шоке, но такой уж у Людмилы характер, если что решила, умрёт, но сделает. Приехав в Забайкалье, с лёгкостью поступила в геологоразведочный институт.

Людмила и Виктор учились на разных факультетах и курсах, вполне могло случиться, что так и не столкнулись бы, но выпал случай. Как-то с подругой они распространяли театральные билеты. Зашли к парням в общежитие. Виктор вспоминает:

– Это было вечером. В комнате нас было четыре человека. Сидим, делаем свои дела. Входит молодая симпатичная девушка. Я как глянул – так и понял: ОНА! (Хотя в школе до этого четыре года дружил с девушкой). Говорят же про любовь с первого взгляда. Вот со мной это и произошло. Она начала объяснять, что распространяет билеты в театр. Так хорошо и искренне говорила. Спрашиваю, как спектакль называется? Она называет его, а у меня всё так и обрывается: «Моё сердце с тобой».

Людмила Алексеевна вносит пояснения:

– Я в школе была секретарём комсомольской организации. Когда попала в институт, естественно, оказалась в комитете комсомола. Получила общественное поручение – распространить билеты. Самой мне общежития не дали, жили с подругой на окраине города. Захожу в комнату старшекурсников. Все чем-то заняты, а один стоит на стуле и что-то в шкафу ищет. Все сразу от билетов отказались; тот же, что был вверху, задаёт мне вопрос: «А какой спектакль?» Я ему отвечаю: «Моё сердце с тобой», по Вампилову».

– Ну, если так, – говорит, – то конечно, билеты возьму, – и падает со стула прямо на меня. Я испугалась. А он встал, отряхнулся и вытащил деньги, купил все билеты, которые у меня были. В театре, где сидела, потом целый ряд пустовал.

– Это правда? – спрашиваю я.

– Купил на все места, чтобы исключить соперников.

– Такого не бывает, – говорю Людмиле. – Я думала, что таких, как вы, не бывает, но таких, как Виктор, оказывается, тоже не бывает.

– Конечно! Он меня спросил, а вы сами-то идёте? Я даже объяснила, какой у меня ряд, какое место. Прихожу, а рядом – никого, все места пустуют. Он, оказывается, для себя взял билет на галёрку и оттуда меня поедал глазами...

– Галёрку взял, чтобы оценить её как следует, – по-хозяйски замечает Виктор. – И конечно, смотрел. Там, в комнате, видел ЕЁ только вблизи, а мне нужна была перспектива.

– Потом он и меня забрал на галёрку. Мы досмотрели спектакль и – всё!.. Через неделю приходит ко мне, говорит, пойдём в загс. Я думаю, шутка, а сама отвечаю – пошли. Приходим, а в загсе выходной. Говорю ему, видишь, не судьба.

А он во вторник опять приходит. Серьёзная женщина в загсе меня спрашивает: «Девочка, ты откуда? А мама знает, что выходишь замуж?» Отвечаю: «Нет». Она больше ничего не говорила, только вздохнула: «Сейчас май, а зарегистрироваться придёте 6 ноября». Представьте, 6 ноября подходит, а жениха нет.

— Я на кольца деньги зарабатывал, — с достоинством поясняет Виктор. — Без колец какая свадьба?

— Подъехал мой жених в самый последний момент. В загс мы доехали на такси, а когда возвращались домой, город готовился к празднику, дороги размечались. Назад мы добирались на трамвае. И весь трамвай нас поздравлял. Мы ехали так красиво. Кто-то бутылку шампанского достал. Пили за наше счастье. Мы прожили безоблачно одиннадцать лет. Вначале родился сын, потом дочь. Строился наш молодой город, в котором, в основном, были такие же, как мы, молодые. Мы помогали друг другу, как привыкли в студенчестве: вскладчину организовывали праздники с друзьями, вскладчину (то есть взаймы) покупали мебель для квартиры... Виктора все знали — он был одним из самых молодых руководителей прииска. В 1981 году, когда случился обвал в шахте, в одночасье всё изменилось.

К слову сказать, недавно узнала о беде, постигшей наших близких друзей, живущих в США. Муж моей знакомой, американец, руководитель крупной строительной компании, оказался жертвой несчастного случая на производстве, практически лишился ноги. Уверенный в себе, успешный бизнесмен, он не был застрахован от несчастного случая, пришлось платить за лечение наличными. После нескольких заоблачно дорогих операций и долгой реабилитации семья по доходам сравнялась с самыми бедствующими. Именно русская жена и её родители собирали деньги, необходимые на последнюю операцию. И вот представьте: однажды американец, переживший страшную беду, КАК У НИХ ПРИНЯТО, трагическим тоном объявил своей молодой и красивой русской жене, что поймёт, если та покинет его, калеку, и найдёт себе нового спутника жизни. К чести всех наших русских женщин, та вначале оскорбилась, а потом объяснила, что только подлые и низкие люди бросают в беде близких. Тем более — любимых. Родных.

А у нас так принято

Помнится, уже прощаясь, я задала Людмиле вопрос: «А если бы, как в повести у А. Гайдара «Горячий камень», появилась возможность прожить жизнь заново, начать всё с нуля, согласились бы?» И как мудрый старик из детской сказки, так поразившей меня когда-то, Людмила Алексеевна ответила: «Ни одной минуты своей жизни, которые я провела с Виктором, я не хотела бы поменять даже на самую счастливую и благополучную жизнь».

Вот так. Значит, есть ещё в стране нашей люди, для которых самый большой грех — предательство; самое непростительное качество — отчаяние; самый лучший день — сегодня; самая большая потребность — в общении; а самый большой дар, который ты можешь дать или получить, — любовь.





БУДЕМ ЗНАКОМЫ:

МЕНЯ ЗОВУТ ВЛАДИМИР ВОРОКОВ

ЭССЕ

Все должно начинаться с начала: река – с истока, гора – с подножья, сын – с отца. В Библии говорится, что род людской начался после изгнания Адама и Евы из рая за то, что они попробовали запретный плод.

Наука же предполагает, что человек произошел от обезьяны. Я видел обезьян в зоопарке и подумал: «Уж лучше бы от Евы...» Но знаю, что мать моя – крестьянка из Малой Кабарды – не ела запретных яблок в раю. И миллионы других женщин не жили в божьих садах. Они рожали нас в муках и столах, как первобытные мадонны.

Мы же, появляясь на свет, плакали – то ли от страха, то ли от удивления.

С тех пор пройден немалый путь. Мы обошли километрами нашу планету. Может, падали под копыта коней, может, спотыкались на ровной дороге...

Миллионы женщин не так давно подарили миру миллионы мужчин и миллионы других женщин, подарили мое поколение. Поколение, которое уходит, но которое еще трудится.

Мы давно стали взрослыми.

Сегодня кто-то из моих друзей несет службу в Таджикистане, кто-то работает в Париже... Одни живут в Москве, другие – в Минске. А этот погиб на севере. Перегонял трактор по неокрепшему насту и провалился под лед.

Сегодня я чувствую, как тяжесть ответственности за судьбу страны все ощутимее ложится на наши плечи. Эта ответственность и заставляет меня писать о тех, кто до нас жил на земле и завещал нам честь свою. Они сказали нам:

– Мы – ваша судьба точно так же, как вы – судьба тех, кто после вас перешагнет пограничную черту жизни.

Мои мысли о вас, из чьей крови мы зарождались, и о вас, кто зарождался из нашей крови.

Мне уже столько лет, что можно сказать: «Пришла пора вспомнить молодость». Ибо и день жизни уже на исходе (хотя вечер ее, я полагаю, еще не настал), и зима не вiski, а уже голову одела в белый цвет, а осень уходит, уносится вслед за журавлиным клином. Но я еще не сижу на завалинке со стариками, не дымлю с ними самокрутку, не говорю: «Эх, годы!» Я еще в пути и готов преодолеть крутой перевал. Не знаю, сумею ли взойти на вершину Эльбруса, как раньше, но до «Приюта одиннадцати» уж точно дойду. А может, и до Скал Пастухова.

Расул Гамзатов много лет назад сказал: «Всякую песню в горах начинают с музыки». Вот и я начну свой рассказ с детства. Ибо именно оно, детство наше, является самой красивой мелодией.

* * *

Я родился в Нальчике 2 января 1936 года. Еще не убрали разукрашенные елки, когда меня принесли в дом моего отца – Халида.

Один из первых наркомов Кабардино-Балкарии, затем министр, крупный руководитель народного хозяйства республики, он помнил, как мир однажды разделился на красных и белых.

– Было то же село, – рассказывал он мне, – и те же люди, и та же обыкновенная земля. Но уже не было голубого неба, зеленой травы и желтого солнца. Они, конечно, были, но люди уже не замечали их.

И когда Халид, окончив ЛУГ и рабфак, начал свою трудовую деятельность, он делал все, чтобы люди замечали и зелень травы, и желтость солнца, и алость полевых цветов.

Удавалось ли ему это?

Думаю, да. Он тянул радио в балкарские аулы, создал первый симфонический оркестр в Кабардино-Балкарии, внедрил в Нальчике первую автоматическую телефонную станцию. Он и его великие друзья сделали для страны много.

Да, я родился в Нальчике. Но когда меня спрашивают: «Откуда ты родом?», – я отвечаю: «Из Чегема».

* * *

Бабух и Пата, моих бабушку и дедушку, очень любили в Чегеме, и они любили людей. Прошло столько лет, но, когда я приезжаю в родное село, соседи не называют меня по имени, а зовут внуком Пата. Прошло столько лет... Бабушки не стало раньше, Пат пережил ее на несколько лет. Перед смертью сказал детям:

– Будьте всегда с людьми.

Это и было его завещанием. И еще попросил:

– Когда понесут меня по последней дороге, накройте черной буркой. Пусть все видят, что хоронят мужчину.

Его просьбу выполнили. Пата несли на кладбище мимо плетней и калиток, у которых застыли женщины, прижав концы косынок к глазам.

Последняя дорога, последние шаги по земле. Мы не делаем их сами. Эти грустные шаги мы поручаем друзьям. А они надвигают папахи на глаза, не смотрят друг на друга в эти минуты, чтобы не выдать набежавших слез.

Это неправда, что горцы тверды, как скалы. Они очень мягкие люди. Просто горцы умеют скрывать слезы.

Дед учил меня не плакать никогда. Он очень сердился, если я плакал. Даже пятилетним мальчишкой, упав с лошади, я боялся показать ему слезы. И в тот день на кладбище мои глаза были сухими. Я знал, что над легендой не плачут. Легенду слагают, как песню жизни.

Сегодня я слышу музыку дедовской песни. Я вижу эту музыку, как землю, траву, зарю.

* * *

Люди выносят из детства материнскую песню, запах родного очага, любимую сказку...

Я тоже помню и материнскую песню, и запах родного очага, и сказку об оловянном солдатики. Боже мой! До чего же прекрасная сказка! И вспомнил я слова мудреца: «Кто не полюбил очага своего и улицу, на которую он вывел скакуна, чтобы начать путь в дальнюю дорогу по имени Жизнь, для того не существует понятия Родина».

Я помню улицу своего детства. Наверное, у каждого есть такая улица.

В Нальчике я окончил среднюю школу, университет, поступил на работу. Да что там на работу! Жизнь телевизионную начал здесь. Да так и остался в этой жизни до сих пор.

Окна моего города смотрят на Кавказские горы. А это ко многому обязывает. Стараешься быть выше, красивее, сильнее. Разве это плохо?!

Плывут облака над горами. Много дней, лет, веков. То опускаясь на плечи вершин, то кутая в свою шаль их подножия.

Здесь, в горах и на ближних равнинах, живут кабардинцы и балкарцы, издревле деля горе и радость, хлеб и песню.

Я очень люблю свой народ. Дед и отец научили меня любить все человечество, братство людей. Я им за это благодарен.

Я родился в семье Халида и мамы моей Марии вторым. Старшей является сестра Галя, которую люблю больше себя. А младший брат Валерий, названный в честь великого летчика Валерия Чкалова, погиб пяти лет от роду. Попал под машину. Тогда и машин-то в Нальчике было десятка два-три. А вот надо же! Судьба.

Сколько перевалов было на моем пути!

В молодости это тяжелые испытания на беговых дорожках страны. Рекорды, награды, победы... Как нелегко они давались! А затем учеба, работа.

Творческая работа – дело особой важности. Где предел хорошего и где самая низкая планка? Кто это знает? Кто ответит на такие вопросы? Никто!

Раньше я много читал. Лермонтов, Байрон, Л. Толстой, Пушкин... И, конечно, А. Дюма со своим д'Артаньяном, миледи, Ришелье...

Повзрослев, я полюбил Гамзатова, Кулиева и лишь гораздо позже великого Кешокова.

Когда я начал писать? Думаю, что делаю это всегда. Но первое опубликованное стихотворение относится к студенческим годам и посвящено сестре Гале.

На телевидении было не до стихов. Репортажи, очерки, фильмы. И лишь через много лет телевизионной работы появилась моя первая книга-эссе «Обыкновенное человеческое мужество». Эта книга о тех людях, с которыми я встречался и которых полюбил на всю жизнь, – о табунщиках, чабанах, альпинистах, врачах и, конечно, поэтах. Их-то, поэтов, я всегда обожал.

Потом у меня появится много книг. Но та была первой, а потому главной.

Но вот перелистаны страницы романа «Прощающие да простят», и меня узнали как писателя.

Было даже немного обидно: создал более ста пятидесяти фильмов, которые демонстрировались более чем в пятидесяти странах, а здесь всего один роман – и столько приятностей!

Роман тот о Кавказской войне, которая не утихает до сих пор. И написан он, на мой взгляд, правдиво. По крайней мере, я очень того хотел.

* * *

Та книга, предложенная вниманию читателя, заканчивается словами: «Все, что здесь описано, случилось. Все. До единого слова. До последнего выстрела».

Что следует принимать в моей книге всерьез? Я изложил истину. Я хотел правды. Ибо она источник Веры и Надежды. Она всегда легка, какой бы тяжелой ни была. Я не мечтал о белых одеждах оправдания только для кабардинцев. Книга о белых одеждах для всех людей.

Вы спросите: «Это рассказ о той Кавказской войне?»

Да, о ней. И о войне сегодняшней, и, не дай Бог, завтрашней. Я хотел предупредить всех: если подвергается уничтожению один маленький аул на земле, пусть

даже очень далекий от вашего дома, все равно вам должно быть больно до стога, до крика. Иначе нельзя. Иначе беда придет и в ваш аул, селение, город, страну.

Почему в моем повествовании в Амышевом ауле живут христиане, когда вокруг исповедуется ислам? Этим я хотел сказать, что та Кавказская война была не только войной религиозной.

Я вижу среди читателей скептиков. «Красивая сказка», – думают они.

Красивая? Может быть. Сказка? Нет. Иногда в книге может быть смещено время; события, происшедшие в одном ущелье, я, возможно, перенес в другое. Разве это так важно?! Главное, что все это было: монастырь на Сарай-горе, Греческая лестница, ведущая к храму, пещеры, волшебное озеро, старый аул. Я покажу вам их. Улицы черкесогайского Армавира, развалины в Прочном Окопе... А крепость N с домами «с цепями» и «четырьмя колоннами»? Да ведь это Нальчик!

Водопады, реки, горы – все осталось. Да и куда им подеваться?! А люди? Были ли они на самом деле? Как им не быть?! Мне рассказывали о них, о многих читал. Кого люблю, кого ненавижу, а к некоторым равнодушен. Иначе нельзя. Это жизнь.

Мои герои часто прощают друг друга. А главное – ищут путь к прощению. Кабардинцы говорят: «Победить противника – это полдела. Победить себя – это уже целое дело». Андрей Андреевич, заманивший кунаков в засаду и тем исполнивший свой воинский долг, плачет, отвернув лицо от солдат. И в этих слезах его победа над самим собой... Разве могу не простить его?

Конец книги – как глоток поминального вина. Мне хотелось плакать над финальными страницами повествования. И мои мужские слезы были бы тяжелы, как расплавленный свинец. Но что делать, если у меня своя проселочная дорога, своя непроторенная колея?

* * *

Мои фильмы и книги (пока особенно фильмы) удостоены многих почетных призов и дипломов и в России, и в СССР, и в СНГ, и за дальними рубежами.

Кто говорит, что награды за творческий труд ему безразличны, кем бы он ни был, не верьте ему. Это, мягко говоря, не совсем правда. Другое дело, что, творя что-либо, мы не думаем о наградах...

Но дороже всех наград то, что произошло со мной однажды. После очередного планового фильма, трудной сдачи его на каналы Центрального телевидения я угодил в больницу. Это лишь кажется, что дорога кинорежиссера усыпана лепестками роз. Ох, сколько же там колючек!

Как-то в осенний дождливый день, когда я прогуливался возле больницы, ко мне подошел старик. Он тоже лежал в кардиологии.

– Сынок, – сказал он, – дай Аллах, прошу об этом великого Тха, чтобы твои болезни перешли ко мне. Я уже стар и никому не нужен. А ты еще многое можешь сделать для своего народа.

Сказал и медленно удалился.

Я даже не успел спросить его имени. Долго я стоял на месте, не обращая внимания на то, что вместе с дождинками по моим щекам текли слезы. Эту награду я ношу не на груди. Нет. В груди я ее ношу.

И если в моих фильмах и книгах есть огонь, от которого можно прикурить хоть одну самокрутку, если я слепил хоть один кирпич, который годится для кладки национальной культуры, то иной награды мне не надо.

Человек, который не любит свою семью, не может полюбить человечество.

Вот почему я надеюсь, что меня не осудят за такую мысль: «Семья для меня – главное в жизни. Я люблю своих сыновей Заура и Залима, невесток Манану

и Анжелу, обожаю внуков – Пата, Марию, Халида, Риночку. А отношение к Рине – жене, другу, очень и очень близкому мне человеку – я выразил в своей книге следующими словами:

*Ты голубка моя долинная,
Незабудка в горах у реки.
Ты – как песня Урарту былинная,
Адиюховый жест руки.*

*И от этого достояния,
Как индийский раджа, я богат.
Ты прими мое покаяние,
Если в чем пред тобой виноват.*

*Не ругай за ошибки пустые –
Понимание было душ.
Пусть завидуют нам другие,
Я не хуже Адама муж.*

* * *

Это только кажется, что мы облачены в плащ побед. Мы еще не создали своих пирамид, не вырастили своих висячих садов... А маяк наш? Ведь не сравнить его с Александрийским! В Дрездене я стоял у «Мадонны» Рафаэля, в Париже – у «Моны Лизы» Леонардо... И стал богаче от этого.

Камни Карфагена, мостовая, по плитам которой вел свои легионы Спартак, Акрополь в Афинах, Тадж-Махал в Индии, Колизей в Риме, проповедь Папы Римского в Ватикане, город мечетей в Тунисе – Кайруан, и Византия, и Баальбек, и древние феодальные замки Германии, и Киевская Русь... Все это я трогал глазами. До чего же ты прекрасна, голубая планета! Разговариваю с богами. Они молчат, но я слышу их молчание.

От редакции : остается добавить, что Вороков Владимир Халидович – кинорежиссер, журналист, создатель более 160 телевизионных фильмов, писатель, автор пятнадцати книг, заслуженный работник культуры РФ, трижды лауреат Государственных премий Кабардино-Балкарской Республики, академик, почетный профессор Северо-Кавказского государственного института искусств, кавалер 12 орденов, обладатель 25 медалей и 30 знаков профессионального отличия.

Среди наград российские орден Дружбы, орден Почёта, абхазский – «Честь и слава», два ордена Православной Церкви, два казачьих креста и другие.

Он основатель и бессменный руководитель киностудии, председатель комиссии по вопросам культуры и средств массовой информации общественной палаты Республики.





ПЛОДЫ ЕЁ ДУШИ – ДОБРО

Очень бы хотелось, чтобы среди лучших имен женщин XX века, которые своим трудом оставили след в истории города и Кавказских Минеральных Вод, звучало имя Татьяны Аркадьевны Марутовой.

Она работала заведующей детской библиотекой, библиотекой медицинских работников в Кисловодске. Но главным делом её жизни стала Пятигорская городская центральная библиотека, работе в которой Татьяна Аркадьевна отдала не только знания и талант руководителя, но и тепло своего неравнодушного сердца, и директором которой она была четверть века. Это ей выдающийся балкарский поэт Кайсын Кулиев посвятил поэму из пяти глав «Вечер у Машука», которая заканчивается таким признанием:

*Идешь ты на Машук, спокойно глядя,
Идешь, как правда, отвергая ложь,
И волосы кавказский ветер гладит,
Идешь ты, как само добро идешь.*

*Есть в женской красоте благая сила
для душ живых – на то и красота!
Ты подтвердила это, обновила
мир для меня без всякого труда.*

*Все обновилось – краски, самый воздух,
сиянье гор, знакомых мне давно,
и заново так ярко светят звезды,
как будто мне устать не суждено.*

*Затих твой город. Тишина мила мне.
Над нами звезды лермонтовских дней.
Земле, где ты живешь, любому камню
я благодарен с каждым днем сильнее.*

*Звезда с звездой говорит. Не деться
мне никуда от них в своей судьбе.
И вот я на вершины поднят сердцем,
и, как звезде, я кланяюсь тебе.*

Женщина удивительной красоты и ума, она вокруг себя собрала людей неординарных и талантливых. За короткое время, сплотив коллектив единомышленников, она смогла превратить обычную городскую библиотеку в очаг культуры Кавминвод.

Создавались книжные фонды, издавались библиографические указатели литературы краеведческого характера, каталоги и картотеки, и сегодняшняя гордость библиотеки – краеведческий каталог. Многие культурные традиции были заложены в 70-е годы. Сколько замечательных литераторов побывало здесь её стараниями: Булат Окуджава, Расул Гамзатов, Ираклий Андроников, Кайсын Кулиев, Сергей Михалков, Юлия Друнина... Приезжая на праздники из года в год, они становились друзьями библиотеки. В библиотеку их влекла аура высокой духовности, радушие, гостеприимство. Более двухсот прозаиков, поэтов, литературоведов встретились в нашей библиотеке с читателями. В Книге почетных гостей Центральной библиотеки они оставляли свои впечатления, восхищения, пожелания.

«Возглавляет этот коллектив очаровательная Татьяна Марутова, которой я кланяюсь низко...» (Назир Хубиев)

«В этой прекрасной библиотеке живёт душа Лермонтова – благодаря прекрасным душам её замечательных работников...» (Юлия Друнина)

«Покидаю городскую библиотеку Пятигорска, навсегда оставаясь кавказским пленником...» (Виктор Мануйлов)

В 70-е годы стало очевидно, что библиотеке требуется новое специальное здание. Эта идея Татьяны Аркадьевны нашла поддержку в горкоме партии, но от решения о включении библиотеки в план строительства до разрезания алой ленточки прошло два десятилетия. Все эти годы Татьяна Аркадьевна стучалась во все двери, боролась, доказывала и победила! Убедительно составленные бумаги, настойчивость, подкреплялись личным обаянием директора.

Неоценимую помощь в разрешении вопроса проектирования и строительства здания Центральной библиотеки оказал Сергей Михалков, который называл Татьяну Аркадьевну самым милым библиотекарем края, хранительницей книг в Пятигорске.

И при таком напряженном графике Татьяна Аркадьевна занималась общественной работой. Многие годы она возглавляла городскую комиссию содействия Фонду мира, была членом краевого комитета защиты мира, неоднократно избиралась депутатом городского Совета. С 1990 по 1995 годы Марутова работала ответственным секретарем Пятигорского общества охраны памятников культуры. На страницах городских газет она поднимала острые вопросы по проблемам культуры и сохранения исторических памятников.

Огромен её вклад в послевоенное возрождение и развитие Пятигорской Центральной городской библиотеки, разрушенной во время немецкой оккупации. Сегодня библиотека хорошо известна в профессиональном сообществе, слывёт одной из лучших в Ставропольском крае и является методической площадкой для проведения региональных и федеральных мероприятий. Фундамент всему был заложен в годы работы Татьяны Аркадьевны директором ЦГБ им. М. Горького.



ТЫ ХОТЬ ИНОГДА, НО ВСПОМИНАЙ...

ИСТИНЫ

Все будет снова, как и раньше,
Порой мы говорим в эфир.
В словах так много глупой фальши,
Правдив или обманчив мир?

Мы сами выбираем роли,
Кумиров ищем им под стать,
Считаем, как же много боли!
А счастье не хотим принять.

Мараем вновь листы бумаги,
Находим крепость нужных слов,
Мы виноваты, ведь не маги,
И не видать нам вещей снов.

Устав от боли, счастье ищем,
Забыв, где спрятаны ключи,
Все истины мы сами пишем...
Вот только истинны ль они?

ГДЕ МЫ БЫЛИ МЫ

Мы стали другими, мы изменились,
В событиях жизни мы все растворились.
Иные улыбки, слезы и взгляды,
На встречу всего полчаса, но мы рады.

Так мало дано и так быстро летим
К мечте или смерти, куда так спешим?
Торопимся вечно, устал даже взгляд,
А нам бы порой оглянуться назад.

Когда обернемся, что мы увидим?
Сюжеты про любим и про ненавидим?
А может быть, вечность и суету?
Ненужный нам хлам иль вообще пустоту?

Найдем там улыбки и слезы свои,
Ведь были и светлые дни, где они?
И знаем, конечно, что их не вернуть,
Но продолжаем в рутине тонуть.

Возможно, мы будем жалеть о былом,
О том, что забыли о ком-то родном.
Мы слишком устали, чтоб память хранить,
Однажды забудем: что значит – любить!

Рутинa проглотит, жизнь раскидает,
Никто ведь обратно нас не расставит.
Останутся фото, где были детьми,
Скупые мгновенья, где Мы были Мы.

ЛЕГИОН

Я не один – нас легион,
Всегда так говорил мне он.
Столетия, дни, века, года,
Я нахожу его всегда.

Меняем маски и тела,
Но ведь душа всегда одна.
Связала нить судьбы давно,
Найдем друг друга все равно.

Миры, законы, параллели,
Цена оправдывает цели.
Конец. Начало. Бесконечность.
Нас ждет святая дева – Вечность.

* * *

Я ведь знаю, совсем ты не спала.
Ну поспи, отдохни хоть чуть-чуть,
Я прошу тебя, милая мама,
Ты приляг, постарайся уснуть!

Я уверена – папа вернется
И к груди нас с тобою прижмет,
И опять засияет нам солнце,
Все проходит... разлука пройдет...

Не волнуйся, мы справимся, мама,
Сможем мы все пережить.
Отдохни, а потом всё поправим,
И я буду твой сон сторожить.

ТЫ ПРОСТИ, УСТАЛА

В пепельнице тлеет сигарета,
Я запомню – это запах твой.
Просижу до самого рассвета,
Вновь одна в объятьях с тишиной.

Ты придешь домой опять под утро
И, меня обидев, ляжешь спать.
Почему с тобой я? Помню смутно,
Почему готова все прощать?

Мы с тобой совсем уже чужие,
Смотришь ты иначе на меня.
А когда-то мы с тобой любили,
А теперь люблю одна лишь я.

Спи спокойно, я уже собралась.
Извини, устала. Нет уж сил.
Я тебя всегда, всегда прощала
Только потому, что ты любил.

Ты прости, устала. До свиданья...
Хотя нет, любовь моя, прощай.
Сохраню в душе твои признания,
Ты хоть иногда, но вспоминай...

ЧТО СВОБОДА?

Ненавидеть легко и любить,
Из себя строить чёрта и Бога.
Но порой очень трудно так жить,
А живём мы, поверьте, немного.

Не привыкнем терять никогда
Мы подруг и друзей закадычных.
Обвиненья, пустые слова,
Сколько мыслей подчас непривычных!

Привыкаем винить всех вокруг,
Не себя, а кого-то другого.
Люди, мысли и замкнутый круг,
Все мы ждем, но чего-то иного.

Оскорбления привыкли терпеть,
Мы рабы не людей, а системы,
Про свободу всегда будем петь.
Что свобода? Теперь только схемы.

Я УЧУСЬ ПОКА ЧТО В ШКОЛЕ...

КСЕНИЯ КОРОТЕНКО

ПЛОМБИР НА ВЕСЬ МИР

Я придумала недавно,
Сделать, как на целый мир,
Самый вкусный,
и превкусный,
и огромный пломбир!

Нужно ранним-ранним утром
Мне рассвет с грозой смешать
И потом туда добавить
Капли смеха – две иль пять!

Я учусь пока что в школе,
Но скажу как кулинар:
«Что такие вот пломбиры
Нужно есть в своих мечтах».

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Робко выпал первый снег,
Шалью серебристой.
Он прикрыл дома, деревья
И остатки листьев.

Травинки в шубки белые
Укутал нежно он...
Посмотришь вверх и видно –
Прохудился небосклон.

Все деревья в паутине,
А дома все в инее,
Вихри снежные кружат
Беловато-синие.

Из серебристых тучек
Неспешно валит снег,
Разбрызгивая радость,
Спокойствие и смех.

БЕЗДОМНАЯ КОШЕЧКА

Зимний вечер.
По дорожке
Тихо-тихо
Бродит кошка.
Холодно в снегу.
У нее замерзли лапки.
Зимний вечер...
Очень зябко.
Кошечка дрожит.
Молоко в тарелочке.
Я открыла дверь:
Пусть у нас погреемся
Кошечка теперь.
Тихое мур-р-рчание
Слышу снова я.
Кошечка бездомная
Навсегда моя.

ХОККУ

Первый подснежник
Под толстым сугробом.
Всюду жизнь.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

Блики бегают по трубке –
Посмотри в калейдоскоп!
Это – дом твоих фантазий,
Миллионы разных троп!

Переменчива картинка –
Так и этак посмотри!
Вот искрятся две искринки,
А теперь их стало три!

Захочу – тут будет море,
Пляж и радуги дуга!
Захочу – степей просторы,
Сена желтые стога!

Может, будут балерины
Вальс весенний танцевать...
Спрыгнут лошади с картины,
Будут звонко гарцевать!

А когда вернуться нужно
В то, что скучно для меня,
Я шепну себе, прощаясь:
«Ах, волшебная страна!»

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР ЛЕТА

Сегодня был великолепный день!
Привет от уходящего уж лета...
Почти не освежающая тень,
Жара и солнце уплывают в Лету...

Ну а когда зажгутся фонари,
Наступят самые счастливые мгновенья:
Сойдутся гости под сиянием Луны,
Запахнет шашлыками настроенье.

А после праздника зайду я тихо в сад.
Звучат последние аккорды на концерте:
Семнадцать сотен скрипок маленьких цикад
Прощаются до будущего лета...

НАСТУПИЛА ОСЕНЬ

(эссе)

Осенью всегда много осенних парашютистов:
любых, каких хочешь!
Мне понравился большой, желтый, кленовый!
Дунул порыв ветра:
На старт! Внимание! Марш!
И они полетели! Мой парашютист летел «мотыльком»,
у него это здорово получилось!
Но дунул ветер еще раз, и он улетел.
Счастливого пути!

НЕ БИСТРО́, А БЫ́СТРО!

В каждом слове к ударенью
Относитесь с уваже́нием,
А иначе за секунду
Вы получите еру́нду.

Еду к маме и к сестре́,
Как обычно, на метре́,
Ехать надо бы в метро́!
Ну и что? Зато бистро́.

Неудобно ж мне в пальто́
Делать заднее сальто́?
Не сальто́, а – сальто?!
Ну тогда без пальто...

Я спросила черепа́ху.
Постирать ли ей руба́ху?
Нет! Стирай со мною вме́сте,
Ведь не мылись мы лет двести.

Потерялось уваже́ние
К языку и к ударенью...



И БУДАПЕШТ КАВКАЗОМ ПОКОРЕН

В столице Венгрии Будапеште в центральной галерее «Форраш» с 10 по 26 сентября проходила выставка работ осетинских художников с символическим названием «Аланские параллели». Организованная заслуженным художником РСО-Алания Вадимом Пухаевым, она проводилась под патронатом председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева, при поддержке ассоциации ясов Венгрии и международной ассоциации осетинских обществ «Возрождение». Куратором от галереи «Форраш» выступила Каталин Шарба.

Галерея представила на суд зрителей работы известных осетинских художников: Шалвы Бедоева, Юрия Абисалова, Олега Басаева, Вадима Пухаева, Ахсара Есенова, Владимира Айларова, Роберта Каркусова, Аркадия Абаева. Специально к открытию был выпущен каталог представленных на выставке произведений со статьей искусствоведа Марины Перовой на английском и русском языках.

Выставка была посвящена осетино-яским культурно-историческим связям. Поэтому неудивительно, что ее открывал министр обороны Венгрии, венгерский яс по происхождению, Чаба Хенде, подчеркнувший в своем ярком выступлении, что,



*Выставку открывает министр обороны Венгрии
Чаба Хенде (на фото – слева)*

хотя «...бушующие вихри степей разъединили нас, сейчас мы снова находим друг друга». А представлял экспозицию руководитель венгерского общества ясов доктор Ласло Добош, поделившийся с собравшимися собственными впечатлениями от посещения Северной Осетии.

Приветственный адрес участникам и гостям осетинского вернисажа премьер-министра РСО-Алания Сергея Такоева зачитал председатель международной ассоциации «Возрождение» Олег Кудухов. «Знакомство с работами мастеров кисти из нашей республики должно стать очередным шагом в налаживании культурных контактов между жителями современной Осетии и ясами, много столетий назад поселившимися на гостеприимной земле Венгрии», – отметил в своем приветствии Сергей Такоев. Пожелав участникам выставки «творческого вдохновения, а ее многочисленным гостям – приятных впечатлений от встречи с прекрасным», премьер выразил уверенность, что «Аланские параллели» продемонстрируют не только высокий профессиональный уровень живописцев из Осетии, но и станут ярким событием в культурной жизни Венгрии».

Должно быть, символично, что на открытии художественной выставки присутствовали военный атташе и атташе по культуре посольства России в Венгрии, а завершило церемонию открытия яркое выступление лауреата международных конкурсов, певицы из Южной Осетии Амаги Готти. На вернисаже также присутствовали представители осетинских обществ Европы. В частности, Бельгии, Франции, Голландии и Германии.



На снимке первые посетители выставки

В рамках программы пребывания в Венгрии делегация осетинских художников и представителей осетинских обществ Европы 11 сентября выехала в ясский город Ясберень, где посетила местный краеведческий музей и была приглашена на торжественный прием к мэру города. В процессе общения в мэрии затрагивались вопросы о дальнейшем сотрудничестве в культурных сферах деятельности. В частности, речь шла об участии делегации из Осетии в ежегодном фольклорном фестивале, проходящем в г. Ясберень.

По прибытии в Будапешт советника председателя правительства Северной Осетии Нелли Пухаевой состоялась ее встреча с руководителем представительства советника по культуре посольства России в Венгрии Валерием Платоновым. Встреча проходила в Центре культуры России в Венгрии при участии художников Шалвы Бедоева и Вадима Пухаева.

Выставка «Аланские параллели» широко освещалась венгерскими СМИ.

Статьи о мероприятии публиковались в центральных газетах и журналах.

АЛАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Что объединяет этих художников? Все они – осетины и достойно представляют народ Осетии. Все имеют высшее профессиональное образование, и главное место в их творчестве занимает живопись. Они блестяще владеют реалистическим изобразительным языком и академическими основами художественного мастерства. Их общее устремление – поиск собственного пластического стиля. Сфера общего интереса – корни и развитие истории и культуры своего народа, его облик, судьба, мифология и мировосприятие, быт и характер.

Формирование осетинского профессионального изобразительного искусства связано с Петербургской Академией художеств, где в свое время учился Коста Хетагуров, а значит – оно связано с русской и европейской художественной традицией, оплотом которой является Петербургская Академия художеств – ныне Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

С этим первым художественным учебным заведением России связано и творческое становление его выпускника Шалвы Бедоева, который стоит у истоков высшего художественного образования в Осетии. Именно он возглавил первую в республике кафедру изобразительного искусства на факультете искусств Северо-Осетинского государственного университета. Одним из первых он сформулировал в своих высказываниях понятие национального в современном осетинском искусстве. По его мнению, национальный характер искусства определяется не только изображением характерных предметов национального быта, красок и форм окружающей природы, даров земли, на которой живет народ, его истории, но и отражением складывающихся веками национальных идеалов и поэтики мироощущения. Он вводит в свои картины предметы осетинского быта и плоды осетинской земли, находит адекватный колористический строй своих полотен, созвучный краскам природы Осетии и старинной архитектуры, а также выражающий черты национального характера с его внешней сдержанностью и огромной внутренней эмоциональной энергией.

Шалва Бедоев – мастер большой тематической картины. Его творчество играет важную роль в формировании современного искусства Осетии и России. Он работает в разных жанрах, в том числе – портрете, натюрморте и пейзаже. Но одно из наиболее важных мест в зоне его тематических интересов занимает жанр мифологический, который он видит в лирико-поэтическом аспекте и раскрывает с помощью композиционных приемов символизма и уникального колорита. Это позволяет его мифологическим образам пробуждать в зрителе богатейший диапазон тончайших неуловимых чувств и ассоциаций, которые невозможно выразить вербально. Мягко сияющие цветовые пятна на полотнах Бедоева, рожденные наблюдением за игрой прозрачных рефлексов и цветных теней в солнечный день, кажутся источающими свет и придают этим образам характер чудесного завораживающего видения, рождающегося на глазах у зрителя.

Творчество другого выпускника академического института им. И.Е. Репина Юрия Абисалова, также работающего в разных жанрах и видах искусства, играет не менее важную роль в становлении и развитии современной осетинской школы живописи. Особый вклад этого мастера заключается в фактическом возрождении,

в новом звучании фольклорно-бытового жанра и особом видении национального характера, подаваемого сквозь призму юмора и гротеска. Живописец уже вошел в историю искусства Осетии своим уникальным художественным языком с острохарактерной пластической стилизацией, позволяющей живо воплотить не только типические черты облика, но и психологию, нравы, мировосприятие простых жителей осетинских селений и городов. Фигуры и предметы, изображенные в его произведениях, своей изысканностью силуэтов и выразительной ясностью формы часто напоминают магические письмена, начертанные на бескрайнем полотне вечности. В то же время, композиции Абисалова поражают земной убедительностью образов и разнообразием черт, характеров и ситуаций, демонстрируют уникальную творческую и жизненную зоркость их создателя. Эмоциональные, тонко увиденные и в то же время лаконичные сцены на его картинах звучат как емкие философские притчи. Несмотря на признание и широкую и популярность своего пластического стиля, в новых работах мастер не боится радикально от него отойти и быть неузнаваемым.

Выпускник Московского академического института им. В.И. Сурикова Олег Басаев в своей тяге к метафорическому универсализму остается одним из ярких представителей именно осетинского искусства. Его произведения выступают краеугольным камнем, связывающим осетинскую живопись с мировым художественным наследием. Виртуозно владея академическим художественным языком, он помещает в мистическое рафинированное пространство своих полотен легко узнаваемые предметы и превращает их в актеров, играющих философско-психологическую пьесу со знакомыми коллизиями. При этом одни предметы-персонажи на его холстах пребывают в неподвижности, другие – словно исполняют некий магический танец, двигаясь не только по плоскости сценического планшета, но и левитируя в пространстве над ним. Поскольку художник, отдавая дань сюрреализму и магическому реализму, совмещает две зоны пространства – земную, с ее законами гравитации, и космическую с царствующей в ней невесомостью, что естественно для сознания человека нашего времени.

Вадим Пухаев, подобно мастерам Северного Возрождения, достоверно, подробно и увлекательно рассказывает философские и психологические притчи языком классической лессировочной живописи. Он выступает виртуозным режиссером своих изобразительных новелл и живописных путешествий вспять по реке земного времени – в мир народных праздников, эпических сказаний и давно ушедших эпох. Внешний облик его персонажей, как правило, имеет национальный характер, но сюжетная ситуация, в которой они пребывают, подается в универсальном сюжетном осмыслении, открытом для индивидуального зрительского прочтения. Он способен уловить в себе и выразить в творчестве импульсы, порожденные вибрациями не только нашего времени, но и времен минувших. Освобождая интуицию, этот художник неожиданно выступает своеобразным ретранслятором опыта постижения мира, накопленного многими поколениями его предков.

Произведения Ахсара Есенова отличаются редкой композиционной изобретательностью и многообразием художественных приемов. В то же время, этот мастер обладает уникальным видением образов народной мифологии. Так, героем его выпускной работы стал Фалвара – великодушный и мудрый покровитель домашнего скота. Многие творческие находки Есенова часто цитируются профессиональными художниками. Характерная примета старых районов осетинских городов и сел – вереницы одноэтажных домиков с красными черепичными крышами, иногда чередующиеся с мягкими вертикалями тополей – визуальная находка, открытая Есеновым и прижившаяся во многих работах его современников. Как и разработанный им неповторимый синтез осетинского пейзажа и натюрморта. Дома и улицы осетинских селений становятся на его картинах подиумами фантастических постановок с гигантскими яблоками, грушами, кувшинами, тыквами и початками кукурузы. Он вносит свой вклад и в поиски визуального воплощения национального типажа.

Сочетание мудрости и теплого юмора отличает образные характеристики его кентавров и «скифских» коней. Как послания древности, их изображения проступают сквозь потрескавшуюся поверхность земли, высушенной и выбеленной зноем времен, складываются из осколков эпох или лоскутков бесконечного покрывала истории, что художнику удается показать средствами живописи.

Магия лаконичного языка кобанской орнаментики и ассоциации с изображениями на древних осетинских цыртах – каменных стелах – прослеживаются в утонченной стилистике и колорите живописных полотен Владимира Айларова, сочетающего в своих образных решениях аристократизм и народное начало, прекрасное владение школой и изысканную декоративную стилизацию, современное мышление и архаические реминисценции.

Ученик Есенова Аркадий Абаев отличается неповторимым чувством юмора и особым видением фольклорно-бытового жанра. Прекрасно владея основами реалистической живописи, он пытается найти свой пластический язык, манеру и приемы стилизации, раскрывающие многогранные черты осетинского характера и национального юмора. Народные традиции, обычаи, фольклор и мифология находят в его творчестве остроумное и добродушное образное воплощение. Его герой – сытый, веселый и беспечный горец, любитель дружеских застолий, который не прочь поспорить и поскандальить с соседями, но при этом всегда готовый прийти им на помощь. Облик этого героя и его поступки далеки от аристократизма, но при этом отмечены той неистребимой земной силой и мудрости, которая всегда лежит в основе жизнестойкости любого народа.

Миролюбие, стремление наполнить жизнь светом и благозвучием цвета – характерная черта творчества Роберта Каркусова, мастера камерной декоративной живописи. Из многих функций искусства он предпочитает функцию доброго и благородного преображения мира через создание благотворной для психики человека визуальной среды. Его работы, безусловно, предназначены для украшения интерьера. Он часто имитирует средствами живописи эффекты гобелена, вышивки и других видов декоративно-прикладного искусства. Его холсты подобно изящным поэтическим опусам апеллируют к ощущениям, воспоминаниям и ассоциациям. Изысканные колористические и фактурные решения, музыкальное чувство ритма, особенная легкость цветовых и тональных нюансов определяют эмоционально щедрый мир его образов, навеянных мотивами природы Осетии.

Именно она, природа, соединяет нас с умелыми кобанцами, неутомимыми скифами, неистовыми сарматами и благородными аланами, жившими когда-то на этой земле. В шуме горной реки она позволяет нам услышать гул копыт неисчислимой древней конницы и почувствовать гул времен, в клубящейся дорожной пыли, или небесной феерии облаков, игре солнечных бликов на воде увидеть исчезнувшие лики зримых и незримых героев и событий, как смогли это сделать современные осетинские художники.





ВЫСТАВКА ОСЕТИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
АЛАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ



Шалва Бедоев



Георгий Победоносец, убивающий дракона. 2003 г.

Юрий Абисалов



Вечерний разговор. 2011 г.

Олег Басаев



Осенние иллюзии. 2008 г.

Аркадий Аббаев



Праздник. 2012 г.

Аксар Есенов



Кентавр. 2009 г.

Вадим Пухаев



Сарматская конница. 2012 г.

Владимир Айларов



Кентавр. 2001 г.

Роберт Каркусов



Натюрморт с гранатами. 2011 г.

LES TROIS MARRONS DE LA FONTAINE, ИЛИ ТРИ КАШТАНА ОТ ЛАФОНТЕНА

ЭССЕ



Un

Я подобрал их в ухоженном уютном скверике возле музея импрессионизма (Musee Marmottan Monet) в Париже осенью прошлого года. Три небольших каштана – марроны (marrons), как их любят называть современные парижане. Они лежали среди опавшей листвы неподалеку от гранитного постамента, на котором возвышалась фигура человека в парике, длинном камзоле и башмаках с пряжками. Памятник как памятник – таких во французской столице тысячи. Но, подойдя ближе, я обнаружил, что человек-памятник, склонив голову, с улыбкой смотрит вниз. У его ног уютно расположился вороненок, держащий в клюве монету, а снизу, по ступенькам, к монете подкрадывается молодой поджарый лис. Мужчина же на постаменте, распахнув полы камзола, словно защищает малыша-вороненка от наглеца с пышным хвостом.

Боже! Это же памятник великому Лафонтену! Его знаменитый сюжет о Вороне и Лисице!.. Наш дедушка Крылов – здесь, в самом центре Парижа!..

Мы с Аришей обошли вокруг памятника. Нет, здесь чувствовалось что-то другое, не крыловское. Может, все дело было в монете? Ведь мы с внучкой ожидали увидеть лисицу и ворону, которая «сыр во рту держала»...

Все правильно – это был не Крылов, а его великий предшественник – француз Лафонтен. Он внимательно, немного лукаво наблюдал за поведением своих «детей» и действительно явно походил на гигантского ворона, слегка выпустившего вперед крылья и прикрывающего не ворону, а маленького птенца – неразумное чадо, вот-вот готовое поддаться лукавой лисьей лести...

Вот тебе и сила культурной инерции.

Deux

Меня зовут Лафонтен. Если точнее – мсьё Жан де Ла Фонтен. Я родился в 1621 году и прожил без малого семьдесят пять лет. Для моего времени весьма прилично...

В прошлой жизни я был потомком обедневшего дворянского рода и сочинителем, причем довольно известным. Мои басни пользовались успехом при дворе и в народе.

Теперь я памятник, и мне уже около четырех сотен лет.

Почти четверть века тому назад я воскрес в бронзе и теперь стою в сквере. Слышал, что неподалеку есть известный музей, который основал некто Мармонтан, друг художника Клода Моне. Туда довольно часто ходят люди, иногда заходя в гости и ко мне. Что ж – это делает мне честь, хотя ни с господином Мармонтаном, ни тем более с господином Моне я не был знаком. До меня дошли слухи, что они прославили Францию. Может быть. Но, однако, раньше это сделал ваш покорный слуга. Да-с...

Это довольно тяжело – жить, когда неподвижно стоишь на холодном граните. Попробуйте сами. Впрочем, вида я не показываю, чтобы не расстраивать внука. Он еще очень мал.

Говорят, я похож на старого ворона, который смотрит вниз, выставив вперед свои крылья. Ворон, или вран, если хотите. Для солидности. Пусть так, но это дела не меняет. Ведь Жанно – он такой проказник. За ним нужен глаз да глаз.

Мой единственный внук – существо довольно забавное, но нежное и слабое, абсолютно не защищенное... Боже, его беспечность и легкомыслие не знают границ! Вечно Жанно попадает в разного рода истории. Вот и теперь: забавы ради он взял в клюв эю, что я подарил ему на день рождения, и дразнит этого вредного лисенка. Не думаю, что Жанно так легко расстанется с деньгами (мой внук, кровь моя!), но... Но поиздеваться над рыжим он точно может. Мальчишка – что тут скажешь!

Мои гости утверждают, что я никого и ничего не замечаю – все внимание внуку. Может, это и так. Но своим боковым зрением я вижу всех, кто подходит ко мне, чтобы засвидетельствовать свое почтение великому Лафонтену или же просто сфотографироваться «на его фоне». Вот Жанно с лисенком – этим точно ни до кого, ибо они полностью поглощены игрой. Не знаю, чем в этот раз дело закончится, но я начеку. Ведь мой шалун понимает, что дед рядом, и потому ведет себя слишком смело. Лис же, похоже, начинает злиться...

Не бойся, девочка, подходи ближе! Они же бронзовые, для тебя не живые. Они тебе понравились – Жанно и лисенок? Ты разве о них не читала в моей басне? Говорят, она знаменита на весь мир! А ты приехала откуда? Как тебя зовут?..

Trois

– Мсьё Лафонтен, мсьё Лафонтен! Да очнитесь же! Пришла продавщица марронов. Говорит – каштаны очень свежие, так и просятся на сковороду. Сколько заказать? А? Вам все равно? Ладно, возьму фунта три и поджарю Вам на ужин. Как раз еще осталось ваше любимое красное вино... Давайте эю!

Чей это голос? Где я его слышал? Очень знакомый. Странно...

– Вы что, оглохли, мой господин? Ну ладно, я заплачу сама. Экю с вас!..

Марроны, марроны... Ах да, это же каштаны, те, что съедобные. Довольно вкусно, особенно с вином. Есть еще декоративные. Те растут возле нас с Жанно и Лисом, но их есть нельзя...

Жанно, вот тебе экю, отнеси Луизе. Что она там тратит свое жалованье? А потом будут говорить, что мсье де Ла Фонтен скряга и скопидом, обижаящий свою прислугу... Ах, марроны, марроны... Я так люблю их, особенно тепленькими. Хорошо под красное вино. Впрочем, не откажусь и от белого. Да... Сидишь в своем кресле, перелистываешь Эзопа, но рука сама собой тянется к Гомеру... Ох уж эти марроны! Les marrons...

А на дворе уже год 1671-й от Р.Х. Мне стукнуло пятьдесят. Я по-прежнему сижу без денег. Басни изданы, но продаются плохо. В Париже только и говорят о выскочке Мольере. Да ещё объявился какой-то Расин... М-да, времена...

А забавно я как-то придумал сюжет про Ворона и Лиса. Когда-нибудь его оценят, ведь все повторяется в этом мире, все: добро и зло, ум и глупость, наивность и хитрость, искренность и обман...

О люди, люди! И сколько еще раз доверчивые вороны-раззявы, а скорее – воронята, окажутся в лапах хитрюг в рыжих шубах! Да...

Ты уже поджарила их, Луиза? Благодарю, моя быстроглазая. Ну, будьте здоровы, мсье Жан де Ла Фонтен!

Quatre

2011 год. Октябрь. Paris. Le station de metro «D'Antin La Fayette». Небольшой подъем, и вот он – le petit park de La Fontaine. Сквер, где в 1983 г. был установлен памятник великому французскому баснописцу под названием «Ворон и Лис». Автор монумента – скульптор П. Корейя (P. Coreyat). Неподалеку – знаменитый музей Мармottана-Моне, бывший охотничий домик Кристофа Эдмунда Келлерманна, герцога Вальми. Сегодня здесь не только хранятся бесценные полотна импрессионистов и их последователей (главное достояние – полотна Клода Моне), но и проводятся вернисажи мирового уровня. Музей Marmottan-Mone получил официальный статус в 1934 году, а с 1957 по 1996 гг. там обрели прописку живописные полотна Эдуарда Мане, Камилля Писарро, Огюста Ренуара. Важные события в жизни музея произошли в 1966 г., когда Мишель Моне, сын Клода Моне, завещал музею основные поздние работы своего отца. Позже в музей попали замечательные картины Берты Моризо...

Меценатский список даров в фонд музея включает сегодня около полусотни имен частных коллекционеров, названий фондов, организаций. Это Денни и Анри Руар, Нелли Дюхан, Даниэль Вильзанстеен.

Думал ли Лафонтен, как, впрочем, и жившие спустя два века импрессионисты, что в XXI веке они окажутся соседями? Не знаю. Но в этом есть что-то знаковое.

Cinq

Так на чем я остановился? Ах да, на сюжете о Вороне и Лисе! Это же моя любимая фабула!

Как-то я дал Жанно экю и послал за вином в кабачок за углом к Перрону,

моему доброму приятелю. Как на грех, мальчишку встретила цыганка и, заболтав малыша, выцыганила у него золотой. Хорошо ещё что старина Перрон в это время был неподалеку, все видел и отобрал экую у злодейки. Глупенький Жанно тогда так горько плакал! Ладно, что было – то было и быльем поросло...

Я премного благодарен своим достопочтенным отцу и матушке, что они с детства приобжили меня к изучению древних языков. Эллины и римляне стали для меня точкой отсчета своих измерений мира. Эзоп и Федр вдохновили меня написать мои собственные басни. Не скрою – вначале я переводил их сюжеты, восхищался и, конечно же, невольно подражал им... А вы, господа-сочинители, что, не так делаете?

Но потом я почувствовал: это не просто стихотворные переложения. Ведь, переводя, я создавал свои сюжеты. Все было узнаваемо, так мало изменилось с тех древних времен! Я творил – и я видел перед глазами свою любимую Францию, ее народ, тех же Жанно и Перрона, мою милую Луизу... В 1668 году мне удалось издать первые шесть книг басен («Fables d'Esop, mises en vers par M. de La Fontaine»). Позже появились еще семь книг...

У Крылова сборников побольше. Не буду лукавить: ваш русский Жан многие сюжеты перенял у меня (что подделаешь, этот, как вы и изволите говорить, интертекст нередко лукаво соблазнял и меня!). Да, мсье Крылов... И «La Cigale et la Fourmi» («Стрекоза и Муравей»), и, конечно же, «La Corbeau et le Renard» («Ворон и Лис»). Кстату!..

Не скажу, что он прямо все копировал, но кое-что есть. Хотя, говорят, он великолепно писал по-русски, причем народным языком, и его басни читают уже много лет. Дай Бог! Вроде бы, во Франции меня тоже помнят...

Но я абсолютно лишен сентиментальности. Люблю, когда люди трезво воспринимают жизнь. Увы! Прошло уже более трех с половиной веков как я познаю мир, но ничего не изменилось. Все те же воронята, все те же лисицы. Обманичики, ловкачи и хитрецы по-прежнему торжествуют над искренними и простодушными добряками. Умей сам устроить свою судьбу и лучше сам приспособляйся – и тогда тебе цены нет! Мир не знает жалости, а посему, дамы и господа, порок неизбежен... Один русский поэт, кажется, Василий Жуковский, очень точно сказал о моих баснях: «Не ищите в баснях сих морали – ее нет!» А зачем поучать, если все течет и изменяется, и к жизни желательно относиться спокойно, повороты судьбы встречать по-философски, мудро и невозмутимо. Так завещали мои древние учителя...

Увы! Хитрый и коварный Лис неизбежно завладеет золотым экую, найденным вороненком. Однако почему мне все время кажется, что монета-то в клюве – моя?

Six

– Господин Лафонтен! Вот это встреча! Никак не ожидал увидеть Вас здесь, в этом маленьком скверике. Впрочем, рядом музей Мармоттана-Моне, да и Вы в не самой плохой компании... Кто это? Ба! Ну конечно – Ворона и Лисица!

Хм, какой странный господин! А где же мне стоять? В саду Тюильри? Или на Монмартре? Еще про Мулен-Руж вспомнить, что ли?.. Чудаки, да и только! Кстату, мсье, перед вами известные во всем мире Ворон и Лис

из басни господина де Ла Фонтена! Вы не француз?

– Простите, мсье, мы из России. Но я Ваш давний поклонник и почитатель. Даже в некотором смысле исследователь.

Гм... Благодарю. Так меня помнят в России? Извините и меня, старика. А насчет моих друзей Вы, милейший иноземец, не ошиблись. Только у вас, в России (бр-р-р... эти ужасные холода!), Жан Крылов искажил мой сюжет, заменив эю куском сыра, который якобы «Бог послал» одной голодной вороне, встретившей на свое несчастье не менее голодную, но значительно более умную и хитрую лису...

О! Этот славянский поворот... Я ведь хотел сказать своим сюжетом несколько иное... Впрочем, ладно: каждый видит мир по-своему. В меру своей испорченности.

– Господин Лафонтен! Я сразу обратил внимание, что вы похожи на большую птицу, наклонившую голову и вытянувшую вперед оба крыла. Вы словно защищаете вороненка, который держит в клювике монету.

Да, мсье, Вы правы. Это мой любимец и баловень – внук Жанно. Он выклянчил у меня соверен, чтобы купить себе мушкетерский костюм со шляпой, сапогами и настоящей маленькой шляпой... Но вмешались обстоятельства. Мы предполагаем, а они, знаете ли, располагают.

– Позвольте, мсье! Не может быть! А как же цыганка и Перрон? Это что – опять шутка? Monsieur!..

Что? О чем этот русский? При чем здесь какая-то цыганка?.. Ведь лукавый лис тут как тут! Это точно от него!.. Интересно, что он сулит птенцу в обмен на соверен?.. Какие золотые горы? Впрочем... Подойдите поближе, мсье, я шепну Вам на ухо, чтобы не услышал внук... Поднимитесь на ступеньку. Ближе. Еще ближе! Вот так... Вы не поверите: лис предлагает ему... ха-ха!.. вместе поехать в Россию, в Москву. Да-да, я говорю правду!.. Вы в этом убедитесь сами, причем весьма скоро! Вот Вам залог – три каштана с моего стола. Я припрятал их от Луизы, специально для Вас. Берите, берите на память о старике Лафонтене!..

Fin

У меня на ладони лежали каштаны. При ближайшем рассмотрении они оказались декоративными. И вообще их было почему-то не три, а два. Неужели мсье Лафонтен слукавил? Как знать... Впрочем, есть и другая версия. Как-то вечером, возвращаясь в электричке с работы домой в Кисловодск, я вынул заветные каштаны из кармана. Может, перебирая их в руках и вспоминая нашу встречу с г-ном Лафонтеном в Париже осенью 2011-го, я случайно обронил один из них? Voila!

Пятигорск – Париж



ВИТЯ И ТРАМВАЙЧИК ДЗИНЬ

ПАПИНЫ СКАЗКИ

Водном красивом зелёном городе жил-был трамвайчик по имени Дзинь. Он был зелёного цвета, как весенняя травка. Трамвайчик жил и работал в этом городе. Он возил взрослых людей и маленьких детей по своим делам, очень важным и нужным. А ещё трамвайчик Дзинь любил песни. Он всегда пел на работе: «Дзинь-дзинь, дили-день, здравствуй, добрый новый день. Дзинь-брынь, ребятки, поиграем с вами в прятки». В этом же городе жил-был мальчик по имени Витя, который рос и познавал мир. Ему было шесть лет, и он очень любил трамваи. В один прекрасный день они встретились и улыбнулись друг другу. Трамвайчик широко распахнул свои двери и сказал: «Добро пожаловать, мальчик, ко мне в гости. Меня зовут трамвайчик Дзинь. А тебя как?» – «Меня зовут Витя».



Вите стало интересно: «А что там внутри трамвая?», и он зашёл в вагон. В трамвае было много-много кресел. Они были красные, зелёные, голубые. А еще там было много людей, которые сказали Вите: «Заходи, мальчик, не стесняйся. Ты увидишь много интересных вещей». Трамвайчик закрыл двери, и они поехали кататься. За окнами трамвая мелькали деревья, здания, машины, люди входили в трамвайчик, выходили из него, одним словом, было очень здорово. Тут трамвайчик доехал до конечной остановки и сообщил: «Я дальше не поеду». Люди стали выходить. А когда

Витя подошёл к двери, чтобы выйти, трамвайчик сказал: «Витя, постой. Наше путешествие не закончилось. Поедем, я познакомлю тебя со своим другом». И они поехали на окраину города.

По дороге Витя расспрашивал трамвайчик про остановки, рельсы и маршруты. Трамвайчик рассказывал, а Витя внимательно слушал, и, хотя ему хоте-

лось узнать ещё больше, он не перебивал своего нового друга. Наконец, они доехали до окраины города, и Витя увидел прекрасное поле, по которому бегал молодой жеребёнок по имени Иго-го. Увидев своего друга, Иго-го стремительно прискакал к трамвайчику, и они поздоровались. Ведь друзья не виделись целых два дня. Дзинь сказал: «Познакомься, Иго-го, это мой друг Витя». Витя немного засмутился, – ведь он никогда не видел настоящих лошадей, – но протянул руку и произнёс: «Здравствуйте, мне очень приятно с вами познакомиться».



Иго-го тоже было приятно познакомиться, и он сказал: «Пойдём, Витя, я покажу тебе большие облака и зелёную траву – на ней можно кувыраться». А Дзинь сказал: «Вы идите, только ненадолго, а я в это время понюхаю полевые цветы. Ведь на работе мне не удаётся любоваться цветами и вдыхать их аромат». Трамвайчик осторожно подошёл к голубым василькам и белым ромашкам, понюхал их и весело засмеялся.

А в это время Витя и жеребёнок Иго-го бегали по лугу и наблюдали за большими облаками, которые были очень похожи на овечек и сказочные корабли. Они весело посмеялись над тем, как брюзжала тётушка Ящерица из-за того, что ребята помешали ей греться на солнышке. А тётушка Ящерица была очень мудрой и доброй и зла на ребят не держала.

Но вот наступило время собираться домой. Витя прибежал к трамвайчику. Трамвайчик спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Витя сказал: «Очень!» А Иго-го подарил Вите букет цветов и сказал, что это для его мамы. Вите было очень приятно, что обрадует маму, и, как воспитанный мальчик, он поблагодарил жеребёнка. Иго-го попрощался со своими друзьями и поскакал домой. Он жил недалеко, в конюшне. Витя сел в трамвайчик, и тот повёз его в город.

По дороге Витя и Дзинь от переполнявших их сердце эмоций пели песни:

*Прекрасна земля,
Дзинь-дзинь, труля-ля!*

Остановившись у дома, где жил Витя, Дзинь распахнул свои двери. Витя вышел и сказал Дзиню: «Большое спасибо, мой большой железный друг». И отправился рассказывать маме о приключениях, которые произошли с ним сегодня. Проводив Витю, трамвайчик тоже поехал к себе домой – в депо. Ведь ему необходимо было как следует отдохнуть, потому что на следующий день с самого раннего утра, когда Витя и другие дети ещё будут сладко спать, ему снова придётся выходить на работу. А по пути он пел свою любимую песню: «Дили-дили, дили-день, завтра будет новый день».

Закрывай, малыш, глазки. Я завтра расскажу тебе другие сказки!

КАК ДИАНОЧКА ХОДИЛА В ТЕАТР

Дианочка никогда не была в театре, а ей очень хотелось туда попасть. Она просила маму повести её в театр, но маме почему-то было всегда некогда. Но вот в один прекрасный день мама пришла и сказала Дианочке: «Мы идём в театр». Дианочка очень обрадовалась, но ей стало и немного страшно. Она все думала: а как там и что там?

И вот этот день настал. Диана с мамой пришли в театр. Театр был большой и очень красивый. Там было много зеркал. Перед ними Диана и мама поправили свои причёски и платья. Ведь в театре надо выглядеть красиво. Диана с мамой очень понравились тётушкам Зеркалам. А одна из них даже послала им воздушный поцелуй. Диана сказала маме: «Мама, здесь всё так красиво, как в сказке». А мама ответила: «Подожди ещё, сказка будет впереди». Они вошли в зрительный зал и сели в кресла. Диана вся поместилась в большом мягком кресле. Ведь она была маленькая, а кресло – большое и мягкое.

В зале погас свет и стало темно. Дианка немного испугалась, взяла маму за руку, и страх мгновенно исчез. Тут открылся занавес, со сцены полился яркий свет и началось представление. Артисты играли весёлую сказку. Было очень весело, интересно и смешно. Дети в зале, а их было много, громко смеялись и хлопали в ладоши.

Дианка хлопала, наверное, громче всех, потому что ей очень понравился клоун со своей подружкой куклой в сиреневом платье. И вдруг случилось чудо: клоун с куклой спустились в зал, подошли к Дианке и пригласили её пойти с ними на сцену. От неожиданности у неё дух перехватило, но девочка не растерялась и поднялась на сцену. Это было так интересно и совсем не страшно. Диана оказалась в море яркого света, её окружили герои сказки и начали с ней танцевать. А платьице Дианки засверкало, как у настоящей принцессы.

Вдруг она взлетела и стала кружить над зрительным залом. Сверху Диана видела маму и детей, которые, затаив дыхание, следили за ней с некоторой завистью и восхищением. Ах, как это здорово – танцевать, кружиться и летать, ощущая себя настоящей принцессой.

Но тут прозвенел звонок, предупреждая о том, что сказка закончилась, и весёлый полёт прекратился. Диана спустилась на сцену. Кукла с клоуном отвели её к маме и попрощались с ней. Ведь они были большими и знали, что от такого приключения у девочки могла закружиться голова. Но этого не произошло.

По дороге домой мама расспрашивала Диану о её впечатлениях о театре. Диана хотела показать маме, как она летала, но у неё не получалось. Ведь они были на улице, а не в театре. А когда настала пора ложиться спать, – о чудо! – Дианка взлетела и окунулась в красивый и очень сладкий мир снов.

Спи, принцесса, засыпай, поскорее вырастай. Папа будет очень ждать, чтобы сказки почитать.

МОЙ СЫН

Мой сын говорит мне: «Я стану большой,
До крыши, до неба достану рукой,
Луну ухвачу за серебряный рог».
– Пусть будет удача с тобою, сынок!

Мой сын говорит мне: «Я в поле пойду,
По теплой земле проведу борозду
И выращу самый большой колосок».
– Пусть будет удача с тобою, сынок!

Мой сын говорит мне: «Покину я дом,
Всю нашу страну обойду я пешком.
А ты меня выйдешь встречать на порог».
– Пусть будет удача с тобою, сынок!

Мой сын говорит мне: «Я к звездам умчусь,
Соскучусь и снова на землю вернусь.
Сорву я для мамы небесный цветок».
– Пусть будет удача с тобою, сынок!

перевод с ногайского Леонида Яхнина

ВЕСНА

По весенней степи я иду
И цветы за собою веду,
Синий, жёлтый и голубой
Разноцветной шагают гурьбой.

В белых платьях сбегает с холма,
Как подружка моя Ханума.
По весенней степи я иду
У седых облаков на виду.
И кивают цветы головой
Мне с подружкой моей Ханумой.

перевод с ногайского Галины Каменной



КУЛТАЕВ Анвар-Бек, родился в 1941 году. Окончил филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного университета, автор 12 книг прозы и поэзии и 4 книг для детей. Поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Республики Дагестан.



К 70-летию освобождения Кавказа
от фашистских захватчиков

ВЛАДИМИР СКОРИК

БУДЬ ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТА ВОЙНА

ВЁРСТЫ

Вёрсты, вёрсты военной поры,
От пожаров багровые тучи,
Нас встречали немые дворы
Да старухи слезою горючей.
Шаг вперед – пулеметчик убит.
И опять захлебнулась атака.
Жжёт мороз, а земля, как гранит,
И стеной вражий дот у оврага.
А огонь – не поднять головы,
Маскирует шинели позёмка.
Сея смерть среди сугробов живых,
Рвутся мины то глухо, то звонко.
Артналёт всё прицельней и злей,
Осыпается с веток калина.
Подымайся, царица полей!
Ох, далёк ещё путь до Берлина.
Вёрсты, вёрсты военной поры:
Рубежи, блиндажи, переправы...
Скорбь в усталых глазах медсестры...
Обелиск у притихшей дубравы.

СКОРИК Владимир Иванович (1922 г. рождения), автор сборника стихов и четырех книжек для детей, член Союза писателей РФ, награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями, в том числе «За оборону Кавказа».

ВСТРЕЧА

Мне руки не подавал,
Я стоял растерянно...
А ведь я тебя искал,
Друг, войной расстрелянный.
Верил: встретимся опять,
Вспомним под баян мы,
Как ты славно мог играть
Песни меж боями.
Друг со лба смахнул кивком
Волосы густые,
И качнуло ветерком
Рукава пустые.
Я, подавленный, молчал,
Тучи солнце спрятали,
Задыхался, не кричал,
Только слёзы капали.
Прошептал лишь:
– Брат, прости!..
Не такой ждал встречи,
Словно клещи, две культи
Сжали мои плечи.

СЛАВНЫЕ ГОДЫ

Мы были юнцами в те бурные годы,
Лом собирали, ходили в походы,
Встречали с работы усталых отцов
И славили в песне лихих кузнецов.
В суровой борьбе закалялась держава,
Громила врагов, сталь варила, мужала.
И наши отцы в этом светлом движении
Вели себя стойко, как воин в сражении.
Лишь изредка скупой дарили нам ласку
Да песни нам пели про ночи под Спасском.
И мы вместе с ними бодрее шагали
К намеченной цели, к заманчивой дали.
Потом мы отцов заменили на стройках,
И песни гремели в вагонных потёмках.

В суровые дни сорок первого года,
В те горькие дни для страны и народа,
Мы шли к военному, шинель надевали,
И насмерть стояли в бушующем шквале.
Тяжелые годы, но славные годы!
Посевы отцов дали буйные всходы.
И если б по жизни сначала идти,
Не стали б искать мы иного пути!

ДА ЧТО ГОДА МНЕ!..

«Не чуб, а право – чернобурка, –
Мне говорят, – стареешь, брат!»
А сердце бьётся гулко-гулко,
Как в час предутренний набат.
И я совсем не замечаю,
Как быстро катятся года.
Люблю, как прежде, и мечтаю,
И даже плачу иногда.
Не потому, что кто обидел,
Иль чаркой на пиру обнёс:
Березку русскую увидел –
Разволновался вдруг до слёз.
Смотрю в глаза ей, белолицей,
Не налюбуюсь всё никак.
А вот, как пёстрая жар-птица,
Цыганка с картами в руках...
И все такое мне родное,
Как отчий хлеб и отчий дом:
И неба пламя голубое,
И куст сирени за окном.
Да что года мне!
Юность, старость...
Я счастлив, что живу, пою,
Делю с Отчизной горе, радость,
Свое ей сердце отдаю.

Я ВИДЕЛ ЖЕНЩИНУ В ПЕЧАЛИ

Я видел женщину в печали,
Навек запомнил те глаза.
Они как-будто бы кричали,
Да так, что выразить нельзя.
В них отражалось столько муки,
Такая боль застыла в них,
К оружию тянулись руки,
Хотелось драться за двоих.
Но чем я мог её утешить,
Какие выдумать слова, –

Доколь тираны будут вешать? –
Шептала в ужасе вдова, –
За что, за что такие страсти,
Казнили мужа, сыновей?..
Наш командир пехотной части
Склонил колено перед ней.

Как перед знаменем гвардейским,
Застыл гвардейский батальон.
Шумел листвою дождь апрельский,
Скупые слёзы прятал он.
Из-за реки тянуло дымом,
Стучал немецкий пулемёт,
А мы стояли, брови сдвинув,
Все устремлённые вперёд.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

*Памяти братьев Ивана и Петра,
отдавших свои жизни в годы
Великой Отечественной войны*

Письмо одно, как лист опавший,
Пришло от брата моего.
– А как там Ваня, тётя Паша,
Ну, что там слышно от него?
– Всё хорошо, ребята! Служит...
И треугольничек письма
Ладонью жесткой разутюжит,
Разулыбается сама.
Как будто сына прижимает,
Оттуда, с фронта письмецо,
И радость теплится живая,
И озаряется лицо.
Уходят дни, как в бой солдаты,
Им нет начала и конца.
Минул победный сорок пятый,
Ни слуха и ни письмеца.
Домой ровесники вернулись,
Грудь озаряют ордена.
Гармони, песни, плач вдоль улиц...
Будь трижды проклята война!

После публикации в альманахе «Голос Кавказа» (№ 3'2009) моих воспоминаний «Юрка-разведчик», их главная героиня, однополчанка по фронтовой службе в 351-ой стрелковой дивизии, Герой Советского Союза Ада Николаевна Литвиненко прислала мне свою книгу «Я не хочу судьбы иной». Более того, она, бесстрашная разведчица, приезжала отдыхать и лечиться в Пятигорск, была на встрече с однополчанами в городе, который мы освобождали зимой 1943 года.

Были большие потери с обеих сторон. Мы победили!

Я НЕ ХОЧУ СУДЬБЫ ИНОЙ

Было это в 1942 году. Августовский зной над Махачкалой. В город прибывали воинские эшелоны. Штаб Армии, где я должна была получить назначение в воинскую часть, располагался в глинобитном домике. На мне была солдатская одежда – выцветшая гимнастёрка. Короткие, выдавшие виды волосы перевязаны лентой из бинта. На правой стороне гимнастёрки сверкал новенький орден Красной Звезды, который мне вручили здесь, в штабе Армии, и нашивка за ранение. Себя я, конечно, считала взрослой, прошедшей огонь, воду и медные трубы. Но встречающие люди останавливались, с удивлением рассматривали: «Глядите, пацанка, а уже с орденом».

Как-то я сидела на снаряжном ящике, мечтала о том, когда кончится война, и приду я в свой 8-й «Б» класс, – будет, что рассказать ребятам. В каких краях я побывала: это вам не учебник географии...

Мимо меня прошли в штаб военные, до моего слуха долетели обрывки разговора. Я прислушалась. Политрук говорил майору, что ему нужен санинструктор.

– Хорошо бы девушку боевую, чтобы в «огонь и в воду»!

Майор помолчал и неуверенно сказал:

– Есть тут одна, правда, была связисткой, но попробуйте, поговорите.

Я поняла, что разговор шёл обо мне. Потом в открытом окне показался майор, который никак не мог меня определить ни в одно воинское подразделение. Хотя в красноармейской книжке была сделана пометка, что после ранения находилась на излечении в госпитале, а на груди сиял орден. Показал на меня:

– Вон она сидит.

Политрук вышел во двор, подошёл ко мне. Я вскочила, представилась:

– Боец Литвиненко!

– Значит, воевала? – недоверчиво спросил политрук, с любопытством рассматривая нашивку за ранение и орден.

– Воевала, – кивнула я головой.

– Ладно, пойдём, оформим, будешь санинструктором.

Уже на перроне, видно, для успокоения спросил:

– Сколько тебе лет? Восемнадцать-то хоть есть?

– Скоро будет, товарищ политрук.

Командир миномётного дивизиона капитан Бородин развернул мою красноармейскую книжку:

– Кого ты мне привёл? Ей ещё в куклы играть – шестнадцать!

– Привёл санинструктора! Девушка боевая, воевала под Ростовом, ранена была.

– Вот и бери её к себе на батарею.

На батарее меня встретили дружелюбно, вручили санитарную сумку и новый

автомат ППШ. Переодели хоть не в новую форму, но подогнали по росту. Коротко подстригли под мальчика.

Я быстро привыкла к новой обстановке. Пятьдесят девятая отдельная бригада держала оборону в отрогах Сунженского горного хребта.

В один из дней, едва начался бой, я схватила санитарную сумку и, выскочив из траншеи, побежала по полю к месту, где особенно «горячо» шёл бой. По мне открыли огонь фрицы. Я бросилась на землю и поползла туда, волоча сумку и автомат. Наконец, добралась.

Под кустом лежал раненый лейтенант Безуглый. Над головой со свистом пролетел снаряд. Оттащила раненого лейтенанта в укрытие, услышала голос командира батареи:

– Литвиненко, ко мне!

– Слушаю, товарищ старший лейтенант!

– Тебе задание. Надо пробраться правее, за садом на кукурузное поле, проследить оттуда: не обходят ли нас с фланга?

– Ясно! – ответила и поползла к цели.

По пути увидела танки. Прижалась в колее к земле.

«Почему наши не стреляют?» – и тут прогремел залп, за ним второй.

Наблюдательный пункт у меня оказался очень удачным. Вдали замаячила пушка-самоходка, она быстро приближалась. Надо сообщить. Поползла, обдирая колени, успела! Атака танков была отбита. Оставив на поле несколько танков, остальные повернули обратно.

Как-то на батарее Бородин, беседуя с бойцами, заметил меня:

– Ну, как ты тут, в куклы играешь или воюешь?

Случилось так, что снова танки поползли, около двадцати. За туманом не видно. Было это в 1943 году в районе Моздока. Когда приблизились, старший лейтенант схватил телефонную трубку: «Просим дать огонька, танки заходят в тыл!..»

Атака снова была отбита, один, затем второй танк загорелись. Но тут прервалась связь. Два посланных связиста не вернулись.

Третьей была я. Бородину трудно было меня посылать, но...

Поползла я. Вот и конец провода соединила. Готово! И в этот миг увидела лежащего вниз лицом бойца, он раскинул руки, будто обнимая землю. С трудом перевернула его на спину. Приложила ухо к груди – мёртв.

Трудно приподняться под воющими снарядами. Поднялась, огляделась, ещё один наш, поодаль второй и третий. Живой один. Вцепилась ему за воротник шинели, что есть силы, тащу живого. Еле приволокла, собрав все силы. И тут услышала: «Так он же мёртвый...» И заплакала.



ЗАЧИНЩИК РУССКОЙ ПОВЕСТИ

(СТРАНИЦЫ КАВКАЗСКОЙ БИОГРАФИИ
А.А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО)



Пушкин первым и, что удивительно, заочно (они состояли в переписке, но никогда не встречались лично) постиг в Александре Бестужеве главное из его дарований – совершенно оригинальный и мощный талант беллетриста и пророчил ему славу русского Вальтера Скотта. Однажды в письме он так и назвал друга – «мой милый Walter» и призывал его всерьез приняться за крупное произведение в прозе: «...для себя жду твоих повестей, да возьмись за роман – кто тебя держит. Вообрази: у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова; в Европе также получишь свою цену – во-первых, как истинный талант, во-вторых, по новизне предметов, красок etc... Подумай, брат, об этом на досуге... да тебе хочется в ротмистра!»

Провидение, как говорили в старину, имело на этот счет свои планы, и 14 декабря не только погубило предполагавшуюся литературную славу Бестужева в Европе, но и надолго вычеркнуло его имя из литературы отечественной. Пушкин же страдальца не забыл: фразу из его повести «Вечер на бивуаке» он взял эпиграфом к своему «Выстрелу», правда, без указания имени автора, что по цензурным обстоятельствам было тогда совершенно невозможно. Спустя годы несбыточное, уже казалось, предсказание Пушкина о Бестужеве вполне оправдалось: тот испытал ни с чем не сравнимую славу на

родине, а лучшая из его повестей – кавказская быль «Аммалат-Бек» – неожиданным образом обрела своего читателя и в Европе.

«Я солдат и лечу к стенам Эрзерума...»

Жизнь Александра Бестужева похожа на авантурный роман, сюжет которого есть борьба с судьбой, полная героических взлетов, оглушительных ударов и смертельно опасных приключений. Выпавших на его долю несчастий хватило бы на всех русских классиков вместе взятых. Во всяком случае, никто из них, даже Достоевский с его смертным приговором, и даже Грибоедов, павший под ударами разъяренной толпы мусульманских фанатиков, не мог бы предъявить чего-то исключительного в своем роде, что превзошло бы меру испытаний, посланных Бестужеву за его неполные сорок лет.

Блестящий гвардеец, дуэлянт и поэт. Красавец и сердцеед, сам изведавший муки несчастной любви к дочери своего патрона Матильде Бетанкур. Критик и беллетрист, заслуживший из уст Белинского почетный титул «зачинщика русской повести». Издатель «Полярной звезды», друг

Рылеева и Грибоедова. Адьютант герцога Вюртембергского, младшего брата Марии Федоровны – матери русских императоров Александра и Николая. И – политический заговорщик с умыслом царевубийства, готовый принять на себя эту роковую роль. Потом водоворот декабрьского мятежа, каменный гроб Петропавловской крепости, кандалы и смертный приговор, замененный двадцатью годами каторги с лишением чинов и дворянства. Ссылка в Сибирь, после которой он воевал на Кавказе, как Лермонтов или Лев Толстой, но почти все восемь лет рядовым и, подобно Полежаеву, узнал на собственном опыте все прелести штрафной кавказской солдатчины. Дым, кровь, пот, холод, болезни, ночные атаки. Гибель любимой девушки, выстрелившей в себя из его пистолета. Безмерная, невероятная слава и страшная, невероятная смерть, предсказанная им самим.

После декабрьского разгрома на Сенатской площади Бестужев, в отличие от многих своих товарищей по путчу, не пытался ни скрыться, ни спастись бегством за границу, а сам на следующий же день явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдался властям. Находясь в Петропавловской крепости, он составил для императора Николая письмо, в котором откровенно излагал свой взгляд на «исторический ход свободомыслия в России». Двадцать лет каторги ему скостили до пятнадцати, но это был только символический акт, на деле же монаршее милосердие шло гораздо дальше: ни двадцати, ни пятнадцати и вообще ни единого дня каторжных работ Бестужев не изведal. Отбыв чуть больше года в финляндском форте «Слава», он сразу же был отправлен на поселение в Якутск. Начавшаяся война с турками дала ему повод обратиться к начальнику Главного штаба И.И. Дибичу с просьбой о переводе в действующие войска. Свое письмо Бестужев выдержал в таких слащавых и льстивых тонах, что невольно поражаешься его неискренности и, одновременно, его блестящему мастерству в области верноподданнической стилистики, к приемам которой он вынужден будет обращаться еще не раз:

«Великодушная снисходительность Вашего Сиятельства, которую имел я сча-

стие испытать, осмеливает меня вознести до взора Вашего просьбу равно покорную и пламенную: о представителстве Вашим Сиятельством пред особою милостивейшего Монарха о дозволении вступить мне рядовым под знамена, коим Вы указываете след к победам. Высокой душе, воспитанной в битвах, понятны страдания военного, осужденного тлеть в праздности, когда слава русского оружия гремит над колыбелью древнего мира и над гробом Магометовым. Но испрашивая сию милость, ищу не выгод и отличий – ищу только случая пролить кровь мою за славу Государя и с честью кончить жизнь, им дарованную, чтобы на прахе моем не тяготело имя преступника».

Так или иначе, писатель Бестужев одержал маленькую победу: письмо было доведено до государя и возымело действие. Николай препятствий переводу его в армию чинить не стал, хотя и бдительного надзора не ослаблял. Вскоре состоялось и его повеление: «Александра Бестужева определить рядовым в действующие полки Кавказского корпуса с тем, чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано»¹.

Из холодной Якутии декабриста перевели в «теплую Сибирь». «Бог велик и государь милостив, – писал он с дороги братьям Николаю и Михаилу, томившимся в Читинском остроге. – Оба услышали мои мольбы, я солдат и лечу к стенам Эрзерума. Путь мой верхом по берегам Лены был труден и опасен, редкий день проходил без приключений, но каждый час сближает меня с битвами за правое дело, и я благословляю судьбу».

В первом же путевом очерке, написанном на Кавказе, восхищенный Бестужев передал свои впечатления при встрече с горным краем: «Ровно через месяц от холмов Саянских я уже был под тенью Эльбруса и Бештау... Взбирался я в область громов, и скажу прямо, что кто видел Кавказ в грозу и ведро, тот может умереть, не завидуя Швейцарии. Вдали, как исполинские волны застывшего океана, вставали горы над горами, увенчанные алмазной пеною снегов; угрюмо, как минувшие столетия, висели надо мной громады, и над

¹ Русская старина. 1881. Октябрь. С. 887.

ними сверкал снежный перун лавин, готовый низринуться от жаркого луча солнца, от крыла ветра...»

Вскоре, в составе войск Отдельного Кавказского корпуса, Бестужев уже участвовал в штурме турецкого города Байбурта и одним из первых ворвался в крепость через пролом в стене. По окончании кампании вернулся в Тифлис, где его ждала встреча с младшими братьями Петром и Павлом и друзьями-декабристами. Один из них, Александр Гангелов, впоследствии вспоминал: «Вист и шахматы среди всевозможной болтовни, анекдотов и рассказов (по части которых Александр Бестужев был большой мастер) не прерывались; шуму и хохоту было много».

Пожалуй, слишком много: шум и хохот достигли ушей командира корпуса И.Ф. Паскевича, и веселую команду разжалованных тотчас разослали по кавказским полкам. Бестужева на четыре года заперли в линейном батальоне, несшем гарнизонную службу в Дербенте.

«Я был в нескольких жарких делах»

Здесь с Бестужевым виделся Яков Костенецкий — бывший московский студент, за вольномыслие загремевший рядовым на Кавказ. «Через полчаса, — пишет он, — вышел ко мне Бестужев, в персидском халате и шелковой на голове шапочке. Это был мужчина довольно высокого роста и плотного телосложения, брюнет, с небольшими сверкающими карими глазами и с самым приятным и добродушным выражением лица... Лицо у него было самое доброе и симпатичное... И в голосе его, и в выражении лица, и в тоне разговора было какое-то чарующее обаяние... Робость моя вдруг исчезла, и я начал говорить с ним, как бы с самым искренним моим другом».

В Дербенте Бестужеву представился случай к выслуге: осенью 1831 года город осадили отряды имама Кази-Муллы. Отбивая атаки горцев с крепостной стены и участвуя в вылазках, он надеялся отвагой вернуть себе офицерский чин и заслужить царское прощение. Тревоги войны бодрили его душу. «Я дышал эту осень своєю атмосферой: дымом пороха, туманом гор, — пишет он братьям в Сибирь. —

Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его — достойные враги... Как искусно умеют они сражаться, как героически решаются умирать... И что за горы! О, как бы любил русские этот край, если бы он был их отчиной! Не умею пересказать вам, как он прелестен, и в одежде лета, и в алмазах зимы! Я был в нескольких жарких делах: всегда впереди, в стрелках, не раз был в местах очень опасных... Трудно верить, как метко и далеко они стреляют...»

Ни героизм при защите Дербента, ни участие в походе на аул Эрпели, где в жестоких схватках с мюридами, по выражению Бестужева, «не было ни пленных, ни раненых», на его положении никак не отразились. Заветная мечта писателя — сверкающий серебром солдатский Георгиевский крест — была всё так же далека от исполнения, как сверкающий лёд недоступных кавказских вершин. В ноябре 1832 года он писал об этом из Дербента брату Павлу: «В батальон прислано два Георгия; один, по избранию нижних чинов, ротных командиров и батальонного командира, присужден мне... Я заслужил этот крест грудью, а не проiscaми, и желаю иметь его поминкой Кавказа».

Скромный серебряный крестик на черно-оранжевой ленте, то есть солдатский «Георгий» — знак отличия военного ордена, Бестужеву не достался, хотя его шинель была изорвана пулями, а награду, по обычаю того времени, ему присудили сами солдаты. Но в Дербенте он сумел все же вырвать у судьбы свой шанс: здесь он вернулся к писательской работе. Завязав переписку с издателями «Московского телеграфа» братьями Николаем и Ксенофонтом Полевыми, он отправляет им свои первые кавказские вещи. Рядовому Александру Бестужеву было разрешено выступать в печати, но без указания имени автора. Его очерки и заметки печатались без подписи, иногда ее заменяла пометка «Дагестан». Большинство своих повестей и рассказов отныне он публикует под псевдонимом Марлинский. Очень скоро это имя завоевало всю читающую Россию. За восемь лет на Кавказе, среди походов и сражений, в переездах от Каспийского моря до Черного и от Тифлиса до Ставрополя, Бестужев создает свыше тридцати произведений, в том числе и свои лучшие

повести «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур».

Популярность Марлинского в русском обществе была огромной; издания его книг, по выражению Белинского, «таяли на полках, как подмоченный сахар». Его с увлечением перечитывал юный Лермонтов, перенося восхитившие его образы и строки в свои первые стихи. «Белеет парус одинокий...» — эта знакомая каждому лермонтовская строка на самом деле впервые вылилась именно из-под пера Бестужева. И.С. Тургенев признавался, что когда-то в молодости «целовал имя Марлинского на обертке журнала». В какой-то мере увлечение его кавказскими повестями повлияло и на молодого Л.Н. Толстого в решении отправиться на Кавказ и поступить там на военную службу. Остается добавить, что многочисленные издания повестей и рассказов позволили Бестужеву не только оказывать постоянную материальную помощь всем своим близким, но и составить приличное состояние — до 50 тысяч рублей ассигнациями.

В четырех первых книжках «Московского телеграфа» за 1832 год Бестужев напечатал повесть «Аммалат-Бек», снабдив название особым подзаголовком — «кавказская быль». Более того, добавил потом пространное примечание, в котором разъяснял читателям, что в повести взято из жизни, а что является плодом его художественных усилий: «Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности: автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.

Аммалат-Бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову, в бытность его в Акуше, 1819 года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.

Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помириться с Аммалат-Беком и взял с собой в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его, как брата. С ним, после многих

походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда по смерти полковника Швецова Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 году точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествие в два года. Просим у хронологов извинения.

Что касается завязки повести, она целиком досталась автору из рук молвы, и он не считал за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение — святыня для каждого мусульманина: это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески...»

Бестужев не был очевидцем описанных им событий, не застал он на Кавказе и смещенного императором Николаем Ермолова, но в повести все дышит достоверностью: писатель изобразил Кавказ таким, каким видел его сам. «Пылкая страсть» — это любовь молодого и знатного горца Аммалат-Бека к дочери аварского хана Селтанете. Ради руки прекрасной избранницы Аммалат, подстрекаемый ханом, злодейски застрелил своего благодетеля полковника Верховского, некогда спасшего его от верной смерти. В доказательство исполненного убийства он доставил хану отрубленную голову полковника, но и самого хана застал уже на смертном одре. Селтанета, потрясенная низким предательством Аммалата, отвергает его. Он долго скрывался в горах и голову сложил в бою с русскими при штурме Анапы.

Кое-что об этой истории сообщает в своих «Записках» и генерал А.П. Ермолов: «Находившийся при полковнике Верховском родной племянник и зять шамхала Умалат-бек, которому благодетельствовал он в продолжение 3-х лет, воспользовавшись отдалением его от войск, убил его выстрелом из ружья и скрылся в горы. Точной причины гнусного злодейства сего неизвестно. Некоторые думают, что оно было следствием заговора с аварским бывшим ханом, с которым убийца имел сношения с позволения г. Верховского. Другие полагают, что, отчаявшись в примирении с шамхалом, с которым он был во вражде за развод с дочерью его, что между знатными мусульманами почитает-

ся величайшим бесчестьем, подозревал он, что полковник Верховский тому претястует, и будто, подозревая перемену его к себе прежнего расположения, боялся, чтобы начальство не имело насчет его сомнения»². Возвращаясь памятью к недавней старине, грозный «проконсул Кавказа» больше всего, вероятно, сожалел о том, что в свое время, уступив уговорам Верховского, не велел повесить Аммалата и не сберег тем самым жизнь своего офицера. Так или иначе, изображенные события передают довольно напряженную ситуацию, сложившуюся тогда в феодальном Дагестане, и нарастающее сопротивление горцев русским властям на Кавказе, самый разгар которого застал здесь уже сам Бестужев.

Приведем еще рассказ кавказского офицера Н.И. Цылова, служившего в то время ординарцем Ермолова:

«...На третий день после сражения жители селения Лаваша и других аулов явились к Алексею Петровичу с покорною головою, имея на своих шеях повешенные шашки. Алексей Петрович приказал им непременно поймать и привести к себе возмутителя их Аммалат-Бека, угрожая в противном случае сжечь все их аулы.

Засим описываю случай, характеризующий и Ермолова и Аммалат-Бека, случай, возбуждающий сильное и невольное сочувствие к обоим личностям.

Когда Аммалат-Бек был пойман и обезоруженный приведен к ставке Алексея Петровича, Алексей Петрович, через переводчика, приказал спросить Аммалат-Бека, как он смел возмутить народ против Тарковского шамхала после данной им присяги – быть верным России и своему владельцу шамхалу и, подняв оружие, предводительствовать изменниками? Аммалат отвечал: «Мы виноваты все!» Измена его и предводительство над изменниками были доказаны всеми его единоверцами, сыном Тарковского шамхала, находившимся постоянно в нашем отряде, и уверением лазутчиков, которые постоянно давали знать Тарковскому шамхалу о том, что Аммалат-Бек постоянно возмущал акушинских жителей. То же показывали даже родственники Аммалат-Бека.

² Записки А.П.Ермолова 1798–1826. – М.: Высшая школа, 1991. С. 388–389.

Алексей Петрович, не сомневаясь в измене Аммалат-Бека, приказал его повесить! Когда через переводчика сентенция была тут же, в присутствии Алексея Петровича, объявлена Аммалат-Беку, то осужденный выслушал, по-видимому, совершенно равнодушно свой приговор и в предсмертную, страшную для всякого, минуту, наклонился и стал гладить любимую собаку Алексея Петровича, около него, Аммалата, вертевшуюся, восхищался ею и потом, отойдя смиренно от ставки Алексея Петровича, пошел под конвоем на смерть как бы на пир, без малейшего признака беспокойства или волнения, возводя только черные прекрасные свои глаза к небу.

Это обстоятельство так поразило Алексея Петровича, что он тут же сказал:

– Да сохранит меня Бог! Лишить жизни человека с таким возвышенным духом!

Казнь заменена была арестом. Впоследствии любимец Алексея Петровича обер-квартирмейстер Евстафий Иванович Верховский, делавший съемку в Дагестане и часто бравший с собою Аммалата для указания местности и дорог, упросил Алексея Петровича позволить ему взять Аммалата на свое попечение. Алексей Петрович разрешил, и Верховский поселил его в своей кибитке и жил с ним как бы с приятелем. Но минута неумолимого мщения приближалась, хотя медленно, но грозно. Верховскому впоследствии был поручен в командование особый отдельный отряд, во время движения которого Аммалат-Бек постоянно сопровождал Верховского. Однажды во время движения отряда Аммалат отстал от Верховского и, нагоняя его, сделал выстрел, которым убил своего благодетеля наповал, а сам ускакал в горы, в лес, по знакомому ему пути! Такова азиатская кровь! Это случилось после двухлетнего нахождения Аммалат-Бека при Верховском, и когда Алексей Петрович находился уже в Тифлисе...»

В повести «Аммалат-Бек» писатель нарисовал впечатляющую сцену, о которой, вероятно, слышал от очевидцев – Ермолов, подобно былинному герою, одним ударом сабли отсекает голову буйволу:

«Капитан Бекович похвалился, что он отсечет кинжалом голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных

животных. Держали заклады, спорили, сомневались; капитан улыбался, взмахнул левою рукою огромный кинжал – и рогатая голова покатила к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить – все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удалцов из русских и азиатцев, – но для этого нужна была не одна сила.

– Дети вы дети, – сказал главнокомандующий и встал, велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. Притащили огромную тяжелую саблю, и Алексей Петрович, как ни был уверен в своей силе, но, подобно Улиссе в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех. Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась ли сабля, стоящая несколько тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу».

Справедливости ради отметим, что в данном случае Бестужев ошибся или, вернее, с готовностью принял за истинный факт лишь устное предание, легенду, которую не раз, вероятно, слышал на Кавказе. Так, Н.В. Берг в своих воспоминаниях передает, что однажды он имел возможность спросить об этом самого Ермолова: правда ли, что он отсекал голову быку? «Нет, неправда, – отвечал старый генерал, – я никогда не пробовал этого делать; даже, сказать откровенно, едва ли бы мне это удалось. Тут нужна особая сноровка и навык, без навыка никакое богатырство не поможет. А силен я был, это точно, ужас, как силен».

В 1834 году Бестужев был переведен в Ахалцих, потом исколесил весь Кавказ, воевал на побережье Черного моря, находился в закубанских походах генералов Вельяминова и Засса. Вновь был представлен к награде и унтер-офицерскому чину, но, как и прежде, без всякого результата. «Два

набега за Кубань, в горные ущелья Кавказа, – пишет он Ксенофону Полевому весной 1835 года, – были очень для меня занимательны. Воровской образ этой войны, доселе мне худо знакомой – ночные, невероятно быстрые переходы в своей и вражеской земле; дневки в балках без говора, без дыма днем, без искры ночью – особые ухватки, чтобы скрыть поход свой, и наконец – вторжение ночью в непроходимые доселе расселины, чтобы угнать стада или взять аулы – все это так ново, так дико, так живо, что я очень рад случаю еще с Зассом отведать боя. Дрались мы два раза и горячо; угнали тысяч десять баранов из неприступных мест, взяли аул в сердце гор. Зато, что вытерпели холоду, голоду, бессонницы! Я дивился неутомимости казаков и резвости коней...»

«Непогоды ржавят струны, и ветры рвут их...»

У Бестужева есть довольно пространственный рассказ или повесть под названием «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». Никаких сведений о пребывании писателя у горячих источников Пятигорья именно в это время разыскать пока никто не сумел. Справедливо полагают, что Бестужев впервые мог побывать здесь лишь в 1829 году, когда по высочайшему повелению был переведен из сибирской ссылки рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса. Вот тогда, по дороге в штаб корпуса в Тифлис, он якобы и «сумел заехать на короткий срок на Воды, то ли ради встречи с кем-то из друзей, то ли передохнуть от утомительной дороги. Год, указанный в повести, только маскировал истинную дату «нелегального» посещения декабристом Кислых Вод, что было самовольным отступлением от указанного маршрута»³.

Может быть, и так. Но трудно верить, что подневольный вояжёр с клеймом государственного преступника, сопровождаемый надежным конвоем, мог позволить себе подобную вольность. К тому же имеются сомнения и литературного

³ Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. И звезда с звездою говорит... – Ставропольское книжное издательство. 1980. С. 55.

характера. Повесть была опубликована в Петербурге, в четырех номерах «Сына отечества» за 1830 год. Сюжет ее таков, что мог происходить на водах, а равно и в любом другом месте – разницы никакой: несколько господ, собравшись вечером в зале кисловодской гостиницы, рассказывают по очереди разные страшные истории, вроде мертвеца, приходящего за своим черепом. В начальных строках упомянут, правда, «двуглавый Эльборус», а потом и Подкумок, и писатель приводит замечательную формулу о том, что «горы есть поэзия природы». Но описание местности совершенно лишено конкретных здешних черт и представляет собой набор пышных, пустых фраз о гряде белых облаков и голубоватых льдах горного хребта. О курортном быте говорится лишь то, что кавказская вода имела для собравшихся только одно «чудесное свойство – возбуждать жажду к вину».

Все это наводит на мысль, что Бестужев описывал Кавказские воды, так сказать, заочно. Побывал он здесь, скорее всего, единственный раз в жизни, уже после шести лет кавказских странствий, походов и сражений. Вот этот факт сомнений не вызывает и подтверждается рядом официальных документов, писем Бестужева и мемуарных источников. Когда весной 1835 года здоровье писателя резко ухудшилось, он обратился к командующему войсками Кавказской линии генералу А.А. Вельяминову с просьбой о «согласительном позволении» отправиться на воды. «С января сего года, – пишет Бестужев, – явились во мне судорожные биения сердца... Строжайшее наблюдение убедило, наконец, что виною тому раздражение не кровеносной, но нервной системы от солитера... Теряя с каждым днем силы, измученный трехнедельной бессонницею и удушением сердца, я приведен на край могилы. Доктора единогласно советуют мне внутреннее употребление нарзана... На водах, по крайней мере, дыша горным воздухом и пользуясь советами искусных врачей, я мог бы если не скорее ожить, то легче умереть...»⁴.

Июль и август писатель провел в Пя-

тигорске, где свел дружбу с доктором Н.В. Майером (будущим прототипом Вернера в лермонтовской «Княжне Мери»). Здесь Бестужеву впервые блеснул луч надежды: он получил известие о производстве в унтер-офицеры. Следующее повышение и офицерские эполеты могли означать царское прощение и возможность выйти в отставку, о которой он давно мечтал.

Из огромного и, к сожалению, до сих пор не собранного воедино, а рассеянного по старым журналам эпистолярного наследия Бестужева, три письма написаны им в Пятигорске. Первое из них, от 28 июля, адресовано братьям Николаю и Михаилу в Сибирь, он спешит поделиться с ними радостью: на шестом году службы его произвели в унтер-офицеры. «Как жаль, что мы не можем обняться, милые братья, и одним сердцем помолиться Богу за нашего доброго, великого монарха!» – сколько горькой иронии в этих словах: кому, как не «доброму монарху» братья обязаны каторгой, ссылкой и десятилетней разлукой.

Николай и Михаил томились в далекой Сибири, на долю Александра выпали «горести и усилия горской службы». «Я столько околесил, проскакал и плавал, столько наглотался дорожной грязи, боевого дыма, со столькими дрался и дружил, что у меня рябит в памяти. Болезнь и недосуги мешали мне переносить на бумагу многое; теперь все это сидит в чернильнице и ожидает вдохновения голове и раздолья пальцам». Далее Бестужев рисует картину зимнего боя, в котором принимал участие, передает привет друзьям по заключению, интересуется учеными занятиями братьев, пытается ободрить и поддержать их. Сам Бестужев устал бороться с судьбой. Неприкрытая горечь проступает в строках его письма к брату Павлу от 19 августа: «Брат Петр потерял разум... Не знаю, уберегу ли я его. Мое нервное сложение – золова арфа... непогоды ржавят струны, и ветры рвут их, а милые читатели упрекают: «что вы ничего не пишете?»

Писатель сообщает подробности своего лечения на водах: «Я еще не был на кислых, но дней на пять необходимо съездить. Теперь принимаю первый номер Александровских и сварился уже вкру-

⁴ Берже А.П. А.А. Бестужев в Пятигорске в 1835 г. // Русская старина. 1880. № 10. С. 417-418.

тую». Деревянное здание Александровских ванн находилось на уступе Горячей горы, где ныне висится всем известный символ Пятигорска – бронзовая скульптура орла. Горячую воду источника тогда не разбавляли, и слова Бестужева «сварился уже вкрутую» – небольшое преувеличение.

Между тем, здоровьем писателя заинтересовались высшие сферы. А.Х. Бенкендорф официально запросил командира Кавказского корпуса Г.В. Розена о том, «известно ли ему, что Бестужев страдает биением сердца и что ему несколько уже раз пускали кровь». Но ограничиться справкой о самочувствии опального писателя шеф корпуса жандармов, разумеется, не мог. Вскоре на имя Розена поступило новое предписание: «Государь император получил, частным образом, сведения о неблагонамеренном расположении Бестужева, которому, хотя не дает полной веры, но не менее того высочайше повелел, дабы внезапным образом осмотреть все вещи и бумаги Бестужева и о последующем донести его величеству»⁵.

Последствия не замедлили сказаться: в Пятигорске 28 июля в 5 часов утра жандармский подполковник Казасси произвел внезапный и тайный обыск на квартире проживающих совместно Бестужева и Майера, не забыв взять с них подписки о неразглашении происшедшего. Ни здесь, ни по другим адресам Бестужева, в Екатеринодаре и Ставрополе, ничего крамольного обнаружено не было, и Розен мог с легкой душой отписаться в Петербург, упомянув, что «болезнь Бестужева не подвержена сомнению, но что он страдает не аневризмом, а солитером и скорбными ранами, и что, при всем строгом надзоре за этим государственным преступником, он не получил никакого сведения, которое подало бы ему повод полагать настоящее расположение его неблагонамеренным, но что пылкость характера, а особенно чрезмерное самолюбие, свойственное каждому литератору, заставляет его слишком горячо чувствовать свое положение»⁶. Изъятая при обыске в Пятигорске серая шляпа (якобы опознавательный знак итальянских карбонариев),

частные письма и бумаги были Бестужеву возвращены.

Приведем еще несколько строк из воспоминаний Марии Васильевны Вольховской (жены В.Д. Вольховского – лицейского друга А.С. Пушкина, а в то время – начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса), видевшей Бестужева на водах: «Я встретила его в Пятигорске, он стоял у источника в венгерке, в какой-то фантастической шапочке и с хлыстом в руке, окруженный целым кружком дам. И.В. Малиновский, один из его товарищей, сказал: «Во что ты, братец, вырядился, на кого похож...» После этого Марлинский являлся в простой солдатской шинели. Он часто у нас бывал... он очень некрасив, но франт, говорил много, красиво»⁷.

Ссылный поляк Роман Вильчинский, отправленный рядовым в кавказские войска, на родине был известен как искусный портретист. Мастерство живописца в какой-то мере смогло облегчить его участь, он стал, в сущности, домашним художником корпусного командира Г.В. Розена, выполнив по заказам его супруги не менее ста портретов. Находясь в Пятигорске летом 1835 года, Вильчинский создал портрет Бестужева. «Он исполнен акварелью и гуашью на пластинке слоновой кости, – замечает исследователь, – на нем есть подпись и дата: «R. Wilczynski 1835». Бестужев представлен в наглухо застегнутой венгерке, из-под которой виднеются уголки белой рубашки, на фоне облачного неба. В облике Бестужева есть отзвуки романтических настроений, художник запечатлел его задумчивое лицо с легким налетом грусти».

Кратковременное пребывание на водах помогло писателю восстановить силы, однако настроение его не улучшилось. «Раны мои хоть медленно, но закрываются... – сообщает он брату Павлу. – Я хочу ехать поскорее в экспедицию. Ей-богу, лучше пуля, чем жизнь, какую я веду». Не окончив курса лечения, он собирается оставить воды, о чем пишет 19 августа своему издателю Ксенофону Полевому: «Прерываю едва начатое лечение ваннами и спешу на кислые, чтобы там хоть

⁵ Там же. С. 418.

⁶ Там же. С. 420.

⁷ Здесь и далее: Селинова Т. А. Роман Вильчинский // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1986. – Л.: Наука, 1987. С.314.

сколько-нибудь закалить себя для бивуака... Из Нарзана прямо за Кубань; не дай Бог и недругу такого курса». В конце лета писатель навсегда покинул Пятигорск. 30 августа, уже из Екатеринодара, по пути в действующий отряд, он сообщает брату Павлу: «Хочу отведать, не лучше ли поможет горный воздух и дым пороха, чем воды, которых, впрочем, я не успел и брать, как следовало. Бивуаки – плохой верстак для поэзии, а дух мой чернее, нежели когда-нибудь».

Только через шесть лет изматывающей кавказской службы Бестужев получил первое повышение – производство в унтер-офицеры. Еще через год, в мае 1836 года, монаршее снисхождение дошло, наконец, до того, что Бестужеву вернули первый офицерский чин прапорщика. «Я произведен в офицеры, – сообщает он братьям, томившимся в Сибири, – эта весть меня поразила радостью... Перейти вдруг от безыменной вещи в лицо, имеющее право». И добавляет, что свое производство «выстрадал и выбил штыками». В письме к брату Павлу в апреле 1837 года Бестужев пишет уже о том, что представлен к награде орденом святой Анны 4-й степени. Когда-то он уже имел этот знак отличия, но был лишен его, вместе со всеми чинами и званиями, после декабрьского мятежа. «Анну» 4-й степени давали исключительно за военные заслуги, и ее красный эмалевый крест крепился на холодном оружии, которое в офицерском быту так и называлось – анненским. Получить свою повторную «Анну» декабрист не успел, сложил голову в бою при высадке нашего десанта на мысе Адлер. Сестра Бестужева, Елена, впоследствии рассказывала, что эта награда не принесла Александру счастья: «Первый раз принес ему 14-е декабря, второй – он был убит».

Кто знает, не мечтал ли о свидании с Бестужевым на Кавказе юный Лермонтов, переведенный сюда из гвардии за стихотворение «Смерть поэта». Когда-то чтение «Аммалат-Бека» произвело на него сильное впечатление. Прекрасный художник, он сразу же набросал к повести несколько иллюстраций, передающих главные события сюжета, в том числе и роковой выстрел Аммалата в грудь

русскому полковнику. Когда А.Ф. Смирдин издал первый том альманаха «Сто русских литераторов», там был помещен портрет Бестужева в бурке. Лермонтов, попав на Кавказ, создал свой автопортрет на фоне гор и, разумеется, тоже в бурке! Но это была, кажется, последняя дань миру юности, в дальнейшем творчество Бестужева могло вызвать у поэта лишь ироническую усмешку. Первым обратил на это внимание еще Белинский, отметив, что лермонтовский Грушницкий принадлежит к числу тех молодых людей, которые «страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей».

Имя Марлинского Лермонтов дважды упомянул в очерке «Кавказец» и тоже, как можно заметить, с несколько ироническим оттенком, особенно, когда говорит о страсти молодых офицеров кавказских полков к кинжалам и буркам. Подобную эволюцию пережил и Лев Толстой. «Когда-то в детстве или первой юности, – вспоминал он, – я читал Марлинского и, разумеется, с восторгом...» Однако на месте, испытав на себе все тяготы походной жизни и участвуя в боевых экспедициях в чеченские горы, Толстой стал воспринимать Марлинского иначе. В первом же военном рассказе «Набег» он высмеивает тех, кто смотрит «на Кавказ не иначе, как сквозь противоречащую действительности призму героев нашего времени, Бэл, Аммалат-беков...»

В 1858-1859 годах путешествие по России и Кавказу совершил знаменитый французский романист Александр Дюма. В Дербенте, где когда-то солдатскую лямку тянул Бестужев, автору «Трех мушкетеров» рассказали историю Аммалата. И Дюма настолько увлекся Марлинским и его героем, что, вернувшись на родину, выпустил роман «Sultanetta», представляющий собой перевод-переделку повести «Аммалат-Бек». «Постараюсь воскресить во Франции то, что забыто в России», – восклицал он, прозрачно намекая на то, что имя государственно-го преступника Бестужева долгие годы у нас находилось под запретом.

«Во мне слишком много горячей крови...»

С производством в офицерский чин писатель получил назначение в 5-й Черноморский батальон, расположенный в крепости Гагры. Сооруженная из насыпного грунта и бревен, как и многие другие наши укрепления на черноморском берегу, эта крепость находилась в окружении враждебного воинственного населения и была на десятки верст отдалена от своих. Прославленный ныне курорт представлял собой в то время пустынную болотистую местность, и гарнизон крепости, «погребенный, — как отмечал сам Бестужев, — между раскаленных солнцем скал, лишенный круглый год свежей пищи и воды, даже воздуха», был, в сущности, обречен на вымирание — от метких горских пуль и еще более гибельной малярии.

«Немногие возвращались оттуда к жизни, никто без тяжких недугов, — продолжает писатель, — так что для меня, чье здоровье разрушалось постепенно горестями и военными трудами, климатом Закавказья и Черноморья и, наконец, до основания истреблено мучительною геленджикскою лихорадкою, которою стражду, чертя эти строки, — для меня, полуживого, Гагры будут неизбежным гробом».

Отчаяние заставило Бестужева прибегнуть к испытанному средству — обратиться с просительным письмом к высокому начальству, в данном случае — к графу Бенкендорфу. Называя (едва ли искренне) главного жандарма России «ангелом-хранителем всех несчастных», Бестужев заклинал того выхлопотать для него у государя перевод в другое место. «Умоляю вас, сиятельный граф, — униженно выводил он, — повергнуть к стопам для всех милосердного монарха всеподданейшую просьбу мою — спасти меня от верной гибели каким-либо переводом. Не смерти боюсь я — кто скажет, что я не презирал ее в битвах, или усумнится, что и впредь я готов сжечь мою жизнь за царя, как горсть пороха? — но я боюсь бесславных, долгих страданий... Увольнение к статским делам от военной службы, на которую стечение болезней сделало меня неспособным, было

бы для меня высшим благодеянием».

Просьбу Бестужева об отставке поддержал граф М.С. Воронцов, в то время генерал-губернатор Новороссии. В личном письме к государю он ходатайствовал о смягчении участи писателя. Но Николай считал мнение Воронцова «совершенно несостоятельным» и в резолюции начертал, что «не Бестужеву с пользой заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».

Отставку не дали, но перевели в Кутаис, в 10-й Черноморский батальон. По дороге туда, в Тифлисе, Бестужева застало известие о смерти Пушкина, заставив его заново пережить горькие утраты прежних дней — гибель Рылеева и Грибоедова. Еще в 1829 году Пушкин, возвращавшийся из Арзрума, и Бестужев, направлявшийся в Арзрум, разминувшись вблизи Крестового перевала на Военно-Грузинской дороге или, что тоже возможно, просто не узнали друг друга. «Я рвал на себе волосы с досады, — отзывался по этому поводу Бестужев, — сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас на долгие, может быть, на бесконечные годы». Оказалось, что навсегда.

В Тифлисе писатель отслужил панихиду в память двух Александров — Грибоедова и Пушкина. Вот как рассказал об этом он сам в письме к брату Павлу: «Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина, дорогой Павел... Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете я был уже на крутой дороге, которая ведет к монастырю святого Давида, известному вам. Прибыв туда, я позвал священника и приказал отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без надгробного камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом; и когда священник запел: «За убиенных бояр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь — эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предсказанием... Да, я чувствую, что моя смерть также будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко — во мне слишком много горячей крови, крови, которая кипит

в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила старость... Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое!.. Вы, впрочем, слишком обвиняете Дантеса – нравственность, или, скорее, общая безнравственность, с моей точки зрения, дает ему отпущение грехов: его преступление или его несчастье в том, что он убил Пушкина, – и этого более чем достаточно, чтобы считать, что он нанес нам непростительное, на мой взгляд, оскорбление. Пусть он знает (свидетель бог, что я не шучу), что при первой же нашей встрече один из нас не вернется живым».

Судьба распорядилась иначе. Летом того же года Бестужев погиб при высадке десанта на мыс Адлер. В составе той же экспедиции находился и азербайджанский поэт Мирза Фатали Ахундов, служивший переводчиком в штабе корпуса. За несколько дней до гибели Бестужев перевел на русский язык его поэму «На смерть Пушкина», отдав тем самым свой последний долг другу и литературному собрату. «За три дня до отплытия в море, – сообщает А.П. Берже, – Бестужев, в числе других, обедал у барона Розена, который, между прочим, спросил его: читал ли он поэму Мирзы-Фетх-Али (присутствовавшего тут же), и когда получил отрицательный ответ, то просил его переложить поэму на русский язык при содействии автора. Это было посмертным произведением пера Бестужева: несколько дней спустя, высадившись у мыса Адлер, он был убит горцами».

Накануне сражения, утром 7 июня 1837 года, на борту фрегата «Анна», писатель составил короткое завещание: «Если меня убьют, прошу все здесь найденное имеющееся платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург. Денег в моем

портфеле около 450 р.; до 500 осталось в Кутаисе у подпоручика Кирилова. Прочие вещи в квартире Потоцкого в Тифлисе. Прошу благословения у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского».

Обстоятельства гибели Бестужева до конца не ясны. Сохранилось несколько разноречивых воспоминаний участников сражения, ставшего для опального декабриста последним. 7 июня, под прикрытием огня корабельной артиллерии, началась высадка нашего десанта. Известно, что участвовать в этой опасной операции Бестужев вызвался добровольцем и находился в цепи стрелков, продвигавшейся под пулями горцев от берега к опушке леса. В глубине непроходимой чащи завязалась жаркая перестрелка. Если горцы имели возможность вести огонь, укрывшись за стеной заранее устроенных завалов, то ряды солдат таяли на глазах. Цепь была смята и рассеяна в густом прибрежном лесу. Последовал сигнал к отступлению, во время которого Бестужев получил две пули в грудь. Вынести раненого с поля боя не удалось, и на него посыпались удары шашек. Изрубленное тело Бестужева после сражения обнаружено не было.

Зачинщик русской повести окончил свой путь в возрасте сорока лет, в пору писательской зрелости и расцвета творческих сил. Как и другие наши герои, он сгинул в огненном урагане бесконечной Кавказской войны, оставив о себе яркую память как об одном из лучших русских беллетристов девятнадцатого века. «Здесь все его оплакивают, как родного, – писал матери из Сибири Николай Бестужев, – мы уверены, что и у вас память его не умрет безгласна. И в самом деле: поставленный судьбою в положение самое трудное для сил человека, и моральных и физических, он, силою ума и твердостью поведения, одержал совершенную победу...»



«HOMO SAPIENS: ПРЕХОДЯЩИЙ ФЕНОМЕН»

В научном гуманитарном мире нашей страны произошло знаменательное событие. В 2012 году вышла в свет монография доктора философских наук, профессора из Республики Ингушетия Келигова М.Ю.: «Homo sapiens: Преходящий феномен». Книга издана в Москве издательством «Академический проект», в ней 224 страницы. Над книгой автор работал 4 года, но 40 лет готовился к ее написанию.

Это редкое исследование не только у нас на Кавказе, но и одна из немногих работ в отечественной философской литературе последних лет, в которой проведён современный анализ феномена человека разумного с использованием междисциплинарного системного подхода. Непреходящая актуальность данной темы состоит в том, что даже мыслители, с именами которых связано рождение наиболее глубоких идей о человеке, признавали, как мало мы знаем человека. Так, гениальный немецкий философ И. Кант писал: «До сих пор мы как следует не знаем, что такое действительно человек в настоящее время... настолько же меньше мы можем угадать, чем он может стать в будущем!»

Феномен человека Келигов М.Ю. исследовал со стороны биологии, социологии, культуры и духовности. Это позволило избежать недостатков односторонних трактовок человека и подчеркнуть в нём органическое единство природного и культурного, биологического и социального, телесного и духовного. Ценность суждений и выводов, заклю-

ченных в рецензируемом труде, обусловлена тем, что феномен человека разумного рассматривается как закономерный результат эволюции развивающейся материи.

Развитие биосферы нашей планеты, безусловно, привело к возникновению разума и мыслящего человека, что обосновывается в монографии М. Келигова. Однако представление человека как «ключа» универсума, «центра мира», высшей ступени мирового эволюционного процесса является явно завышенным. По нашему мнению, следовало бы ограничиться земными границами, т.к. рассуждать обо всей бесконечной Вселенной надо с большой осторожностью, ибо слишком мало знаем о ней. Хотелось бы дополнить, что кроме человека на Земле существуют и другие представители разума (дельфины, приматы, некоторые птицы). Безусловно, среди них человек занимает высшую ступеньку, но не исключено существование и более высокого разума за пределами нашей планеты.

Важное теоретическое и практическое значение имеет проработка идеи генетической и исторической включённости человека разумного в целостную систему жизни на Земле. Человеческий разум стал решающей геологической силой и важной функцией биосферы.

Избранный в монографии формат исследования позволяет сформулировать вывод, что судьба земной цивилизации и культуры зависит от технических, энергетических, продовольственных, демографических, экологических,

информационных факторов, которые являются следствием генезиса человека. В свою очередь, генетическая природа человека есть результат деятельности всей биосферы, ибо мыслящая материя произведена природой Земли. Автором последовательно проводится мысль о естественной включенности разумной жизни в биосферную целостность. В этом отношении его размышления отличаются достаточно трезвым и реалистическим освещением сущности и эволюции человека.

Не вступая в обсуждение отдельных глав и параграфов книги, представляется интересным обсудить некоторые генеральные мысли данного сочинения, проливающие дополнительный свет на природу человека и будущее рода людского. Примечательно следующее признание автора: «О разуме, как это ни удивительно в отношении существа, по определению являющегося разумным, человечеству известно гораздо меньше, чем о Вселенной» (с.185). Можно принять или отвергнуть данное утверждение, но, несомненно, достоинством рецензируемого труда является заключенная в нем нетривиальная характеристика разума (см. главу «Свет и тени человеческого разума»). В монографии не найти возвеличивания разума, но и принижения его роли в судьбе человека тоже нет. По мнению М. Келигова, человеческий разум есть диалектическое единство великих благодетелей и, одновременно, источник чудовищных проявлений зла.

Анализируя известный философский постулат «Будущее не дано, оно творимо», стоит задуматься над вопросом: «Можно и нужно ли прогнозировать будущее?» Можно согласиться с автором, что человечество не может существовать бесконечно долго, т.е. оно – как всё в природе – конечно. Но если рассматривать человека как элемент вселенской системы разума, то исчезновение одного элемента в системе не может нанести ей непоправимый вред. В живых системах на смену отмирающим элементам приходят более

совершенные элементы. Мы не знаем, что станет преемником человечества, но, вероятно, это будут разумные существа, которые уже нельзя будет считать людьми. Не исключено, что это будут автотрофные сущности, пользующиеся энергией космоса, синтезирующие синтетическую пищу без использования живого вещества растений и животных. Однако в исследовании, к сожалению, не нашлось места проблеме будущей автотрофности человечества. Идея автотрофности только возможный проект будущего. Но, может быть, в этой гипотезе заключен один из способов решения острейших продовольственных и демографических проблем.

Можно выразить сомнение в убежденности автора в том, что исправить генетическую жадность, эгоизм, жестокость человека невозможно. По мнению автора, если это произойдет, то это уже будет другое существо, а не человек. Как известно, природа заложила в человека большое количество разных способностей, в том числе эгоизм и альтруизм. Они могут проявляться в разных условиях, что и является основой устойчивости человечества. Одни способности можно развивать, а другие подавлять посредством воспитания. В этом и заключается социальная роль воспитания. Поэтому кроме генетической основы человека формируют и социальные гены. Каково общество, такова и личность. Необходимо совершенствовать механизмы формирования ноосферного человека, создавая сферу разума (ноосферу), когда будет достигнута гармония между людьми и биосферой. Это не утопия. Существует много локальных примеров высоко нравственного поведения индивидуумов и небольших сообществ.

В целом, книга М.Ю. Келигова является интересной и полезной как специалистам, работающим в области естественнонаучного и социально-гуманитарного знания, так и широкому кругу читателей, интересующихся глобальными проблемами развития человечества, а также студентам, аспирантам, преподавателям.



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

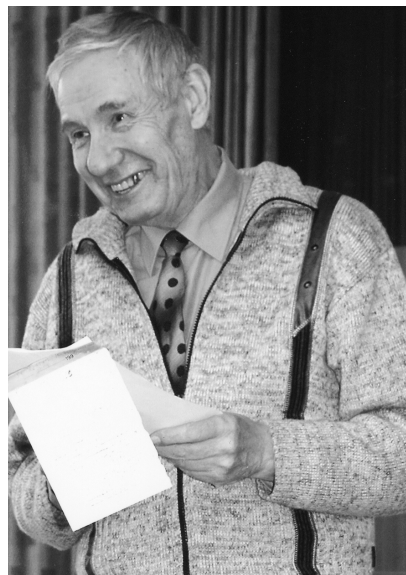
14 января 2013 г. ушёл из жизни известный журналист, главный редактор Северо-Кавказского литературно-публицистического и художественного альманаха «Голос Кавказа» **Владимир Николаевич Ольхов**.

Человек творческий, талантливый, обладающий пытливым умом и неравнодушным сердцем, он всю свою жизнь посвятил любимому делу – журналистике. Служил ей с честью, не кривил душой и сердцем.

Родился В.Н. Ольхов 1 февраля 1943 года в г. Семипалатинске. С 19 лет начал трудовую и литературную деятельность – писал стихи, редактировал армейский альманах «Сослуживец».

С 1966 года Ольхов на журналистской работе в районных, областных и краевых газетах Ставропольского края: «Ленинское знамя», «Ставропольская правда», «Блокнот агитатора», в краевом комитете по культуре, был директором Пятигорской студии телевидения, работал в «Пятигорской правде» заведующим отделом социально-экономических проблем.

В 2007 году был создан альманах «Голос Кавказа». Учредитель альманаха – ОАО «Севкавгипроводхоз» и творческий коллектив редакции совместными усилиями нашли удачную и интересную форму изложения художественной литературы в альманахе. Печатались не только ставропольские литераторы, но и открывались новые талантливые имена художников соседних республик. Выход в свет каждого номера становился ярким событием.



*Он, порою судивший и мягко и строго,
Не менявший слова на гроши,
Не умеющий жить на широкую ногу,
Подчинялся велению светлой души.*

Очень точно и проникновенно написал эти слова на смерть Ольхова поэт из Грозного Умар Яричев.

Номер, который вы держите в руках, продуман и подготовлен к вёрстке Владимиром Николаевичем, в нём его мысли, труд, душа!

Коллектив института «Севкавгипроводхоз», редакция альманаха глубоко скорбят о невозполнимой потере для ставропольской журналистики.

Учредитель

Северо-Кавказский институт по проектированию
водохозяйственного и мелиоративного строительства
(ОАО «Севкавгипроводхоз»)
К 80-летию со дня основания

Директор проекта

Носов К.Н., заслуженный мелиоратор России

Главный редактор

Ольхов В.Н.

Редакционная коллегия

Арзуманов В.Н. (ред. отдела искусств)
Ахмедов М.А.
Басаев О.Т.
Бедоев Ш.Е.
Бекизова Л.А.
Вороков В.Х.
Давыдов Ю.С.
Ибрагимов К.Х.
Кауфов Х.Х.
Куликова Т.Д. (ред. отдела публицистики)
Маркелов Н.В. (ред. отдела истории и культурного наследия)
Мамакаев Э.А.
Мосянко А.А. (ред. отдела критики и библиографии)
Пряхин Г.В. (зам. главного редактора)
Разумовская З.М. (ред. международного отдела)
Санджиев Н.Д.
Трилисов А.И. (ред. отдела переводов)
Ходов К.З.
Хамхоев В.В.

Пелешенко Н.А. (ответ. секретарь)**Технический редактор**

Беляев В.И.

Над оформлением номера работали:

художники Арзуманов В.Н., Кондратенко Е.Ю.,
Эйзериков И.Б., Яковлев А.А.
компьютерная верстка – Сагинор Л.Г.
компьютерный набор – Сагинор Л.Г., Василенко Л.И.
корректор – Чернышенко О.В.

Адрес редакции: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78.

ОАО «Севкавгипроводхоз», альманах «Голос Кавказа».

Контактные телефоны: (8793) 39-34-08, 39-30-07. Факс (8793) 97-38-62, 33-90-64.

E-mail: skgvh@skgvh.ru

Международный отдел: erudit5@mail.ru

Альманах зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-26977 от 19.01.2007 г.

Подписано в печать 25.02.2013 г. Формат 72 x 104^{1/16}. Офсет.

Тираж 1000 экз. Заказ 19.

Отпечатано в типографии ООО «ПЕРЕСВЕТ».